ЛЕОНИД ЛЕОНОВ



ЛЕОНИД ЛЕОНОВ





ЛЕОНИД ЛЕОНОВ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДЕСЯТИ ТОМАХ

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕСЯТИ ТОМАХ

✿



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

✽

ТОМ ВОСЬМОЙ

ПОВЕСТИ

ВЗЯТИЕ ВЕЛИКОШУМСКА

EVGENIA IVANOVNA

БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-КИНЛИ

Киноповесть



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

Р2
Л 47

Примечания
ОЛЕГА МИХАЙЛОВА

Оформление художника
М. ШЛОСБЕРГА

Л $\frac{4702010200-372}{028(01)-83}$ подписное

ВЗЯТИЕ ВЕЛИКОШУМСКА

Повесть

1

К полночи зарево погасло, и оборвалось бессонное бормотанье битвы. Все замолкло, кроме шептанья падающего снега. Немощная зима снова пыталась запорошить бедную исковырянную землю. Близ рассвета лязг и грохот вступили в эту первозданную тишину. Два прожекторной силы луча пронизали пестрый мрак метели, где затерялась станция.

Она существовала лишь на картах да в благодарной памяти тех, кто, проездом на теплые черноморские берега, любовался из вагона на прославленные здешние сады. Из тьмы проступили столбы с пучками порванных проводов, обугленные стены привокзальных строений и, среди прочих останков растоптанной жизни, ряды платформ, ставших на разгрузку. Под брезентами угадывались большие угловатые тела. Вдруг неимоверная воля сдвинула с места это притаившееся железо. Разбуженный, задул ветерок, и когда начальник в высокой шапке вышел из виллиса, сразу, точно мокрой тряпкой, мазнуло начальника по лицу.

Скорей по привычке, чем из потребности, он вытер усы и пощурился в небо — хватит ли до утра нелетной погоды. Надежнее мотопехотных и зенитных сторожей она охраняла его танки от чужих глаз и авиации. Правое, с генеральским погоном, плечо его полушубка было залеплено снегом, и часовые признавали хозяина лишь по дерзости, с какой сопроводительные машины проскочили запретную черту оцепленья, да по усердию адъютанта, который, забегая сбоку, светил ему дорогу фонариком.

— Спрячьте ваше чудо науки и техники, капитан,— попросил генерал, потому что батарейка иссякла, а ноги все

равно по щиколку тонули в слякоти. — Лучше найдите нашего дежурного по штабу. Я недолго задержусь здесь.

Вместе с офицерами связи из подоспевшего броневичка он миновал груды металлической падали, не убранной после боя, паровозишко со вспоротой боковиной, обошел разбитые стояки переходного мостика, дважды пролез под платформами и двинулся прямиком на ближайшее световое пятно, рябое от падающего снега. Узловая станция допускала одновременную разгрузку нескольких эшелонов. В самом конце ее, разместясь по сторонам, два танка освещали длинные, из шпальных бревен, сходни, на которые робко, словно не веря в прочность саперной работы, ступали их железные товарищи. Тугой машинный ветер хлестал вдоль путей, уплотняя снегопад; огромные ромбические тени плыли по этому подрагивающему экрану.

Разгрузка происходила в торец. Танки следовали всей длиной состава, прежде чем коснуться земли, откуда им предстоял любой, на выбор, путь — либо вперед, на запад, либо назад, в мартен. Большинство состояло из новичков, мало обкатанных и еще не вкусивших звонкого, щемящего вдохновенья боя. Они ничего не умели, и люди помогали им, делясь остатками живого тепла, а взамен беря частицу их неуязвимого спокойствия. Люди действовали молча, голос растворялся в истошном скрипе дерева, в бешеной пальбе иззябших моторов, и это осатанелое молчанье было внушительней самой отчаянной боевой песни... Негде им было укрыться здесь от стужи, но шел третий год войны, и горькая злоба за простреленную молодость, за поруганную мечту грела их жарче костра и любой земной привязанности. И ни один ни разу не припечатал матюжком подлой пакости, что сыпалась сверху на погибель солдатской душе.

Так он шел, наблюдая хлопотню своих продрогших людей, не отдохнувших от долгой дороги. Вдоволь, в свое время, похлебав щец из походного котелка, он без затрудненья, как букварь, читал их затаенные думки. И, как обучил его когда-то старый учитель Кульков, генерал сохранил привычку читать это вслух, сердцем вникая в каждое слово.

— Простите, шумно... товарищ генерал,— посунулся было сбоку связист.

— Я говорю, грозен наш народ,— раздельно повторил генерал,— красив и грозен, когда война становится у него единственным делом жизни. Лестно принадлежать к такой семье...

Он собирался прибавить также, что хорошо, если родина обопрется о твое плечо и оно не сломится от исполинской тяжести доверья, что впервые у России на мир и на себя открылись удивленные очи, что народы надо изучать не на фестивалях пляски, а в часы военных испытаний, когда история вглядывается в лицо нации, вымеряя ее пригодность для своих высоких целей... Но офицер буркнул что-то невпопад с непривычки к отвлеченным суждениям, да кстати над самым ухом затрещал мотор; розовый снег, мешаясь с пламенем, завихрился у выхлопной трубы... К тому времени вьюга окончательно сравняла командира корпуса со всеми, кто не спал в эту простудную ночь.

Лишь в одном месте, привлеченный необычной тишиной, он замедлил шаг и вытянутой рукой преградил путь собеседнику; офицеры сопровождения остановились сами из-за узости прохода. Здесь кончался эшелон. Вереница машин, терявшаяся в летящей тьме, с выключенными моторами ждала очереди на разгрузку. И хотя тут, в слепящем луче танковой фары, снег висел плотный, как занавеска, сразу делалась ясна причина задержки. Бывалая, вся в рубцах неоднократных сварок, тридцатьчетверка упиралась левым ленивцем в междупутье, круто обвалившись со сходней. Задние траки громоздились на помосте, и водитель еще надеялся сползти на малых оборотах, но деревянная клетка трещала и щепилась, шпалы поднимались дыбом с другого конца, и самый танк зловеще кренился на сторону.

Генерал подошел как раз в минуту, когда лейтенантик в армейском кожухе и с вихром из-под ушанки метнулся к переднему люку.

— Стой, стой, говорю!.. — кричал лейтенант, в отчаянье поглядывая на шеренгу платформ, груз которых нависал над ним, как улитка. — Вылезай теперь, полюбуйся, что ты наделал... Вий полтавский!

Мотор заглох, и тем слышней стала сиплая, усталая брань соседних экипажей. Постепенно замолкла и она, едва поняли, что этим не спихнуть железной глыбы, застрявшей у них на пути. Паренек в матерчатом шлеме понуро стоял посреди, и все, сколько их там было, обступив кругом, смотрели на него с холодком осудительной жалости, как смотрят на погорельца, а насмотрясь, приступили к обсуждению. Они делали это обстоятельно и с удовольствием, видимо отдыхая от перенапряженья, и одни собирались вбивать какие-то железные ползуны

под траки, чтоб машина скольжением спустилась со сходней, и уже тащили швеллер от бывшего пакгауза, а другие, напротив, подавали совет приподнять вагой левый борт, а затем пустить его на волю божию. «И таким манерцем мы выйдем из положения!»

— Узнаю наших,— шепнул ближайшему спутнику генерал. — Любим, когда что-нибудь отрывает нас от работы... — Привыкнув из любой беды извлекать опыт, предохраняющий от повторных несчастий, он со спокойным любопытством вслушивался в ночные голоса.

Так и длилась бы эта мирная беседа, если бы лейтенанту не пришло в голову спустить застрявший танк на тяге. Умно расчалив свою тридцатьчетверку под прямым углом, а сбоку придерживая ее тросом за гусеницу, чтоб не повалилась набок, он махнул рукой, буксирные танки рванули, и корма аварийной машины плавно скользнула вниз, лишь раскрошив концы бревен. Десятки моторов приветственно взревели кругом, движение возобновилось. И пока проходили они мимо тридцатьчетверки, утерявшей свою очередь, лейтенант отчитывал виноватого паренька. Надсаженный голос звучал не обидно, с какой-то проникновенной человеческой горчинкой, но, значит, острей ножа и выговора был пареньку этот упрек старшего товарища. Не оправдываясь, не защищаясь, он только морщился, как от боли, и глядел в снег.

— Куда ж ты смотрел, чертова баба! На реке случилось бы, ведь ты бы нас утопил. Я уж не говорю о машине. Ведь это гнев твой, силища, а ты экую красавицу в грязищу завалил. А знаешь, сколько надо — такую махину смастерить? Старики да малые ребята на заводишках ночей не спят, варят ее, обряжают для нас с тобою... Да и то гаркнуть порою хочется: «Эй, на Урале... кто там закурить пошел?» А ты... Эх, а еще в мстители затесался!

— Хозяин... детей, верно, любит,— шепнул в сторону генерал, и кто-то поддакнул ему в голос: «Вот они, танкисты! Вот они мы!»

Точно учуяв тепло похвалы, лейтенант обернулся и враз опознал свидетеля своему приключению. Никого старше по званию вблизи не нашлось: он пометался, скомандовал тишину и в одно дыханье выпалил генералу, что на разгрузке тридцать седьмая бригада, что самому ему фамилия — Собольков и что именно его машина, номер двести три, только что вышла из столь беспомощного состояния.

— Вижу, все вижу... товарищ гвардии офицер,— подтвердил командир корпуса, глядя на не заправленную под погон портупею. — Не знал, что такие завелись у меня лихачи... на ровном месте спотыкаются.

Тотчас обнаружились сто причин, а сто первая заключалась в том, что сзади торопили, да тут еще трак скользнул по скобе настила и, как назло, изменил левый фрикцион, отчего машина поползла юзом и оступилась с метровой высоты. Судя по неуверенности тона, лейтенант и сам сознавал, что фрикцион — не сердце девичье, вещь вполне надежная, и у доброго воина повреждается, разве только когда от самого танка остается одна железная щепа. Это же отметил и генерал, прибавив сгоряча некоторые слова, от которых все вокруг приосанились, подтянулись и стояли еще смирнее.

— Значит, в пренебрежении у вас эти самые... ну, бортовые фрикционы, а зря... — заключил он, утихая. — Кто у вас этим делом занимается?

Тогда и пришлось Соболькову назвать виновника происшествия. Выяснилось, что механиком-водителем у него на двести третьей состоит новичок из пополнения, некий Литовченко, совсем молоденький и сам из здешних мест, а потому немца встречал вплотную и, видать, крепко на кого-то осерчал, раз добровольно прибежал в армию искать врага своего на громадном судилище войны. Последнее в особенности походило на правду: у каждого из них имелись личные счеты с Германией... Пока генерал прислушивался к чем-то взволнованной памяти, лейтенант незамедлительно перешел от обороны к наступлению. Так, он пошутил, что ущерба двести третьей от встряски не предвидится, машина испытанная: так ли еще маханула она, к примеру, в один овраг под Россошью, после того как вырвало кусок брони из лобовика и повалило прежнего водителя, предшественника Литовченки. Если только припомнит товарищ генерал, это случилось на исходе того дня, когда именно их корпус, зайдя от Валуек, нанес решающий удар по Италии и заставил ее смотаться из войны.

Две красные полоски были нашиты справа на груди лейтенанта. Генерал усмехнулся патриотическому красноречию своего танкиста; одновременно на лицах у всех в десятке вариантов повторилась его улыбка. Упоминанье о Россоши было всеми ими заслужено и в равной степени приятно для всех; если шепнуть это слово вовремя, на ухо обессилевшему

товарищу, оно удваивало отвагу, воскрешало, как глоток спирта, пароль круговой танкистской поруки.

Генерал поднял голову.

— Литовченко, Литовченко... — поискал он в памяти, и опять чем-то горячим пахнуло на него из этой ночи. — В школе со мной учился однофамилец мой, Денис Литовченко. Собачник был, целая орава дворняг так и бродила по его пятам... А ну, покажите, что у вас за *некий* Литовченко!

Тряхнув хохолком, не то седым, не то запушенным снежной пылью, Собольков крикнул это имя в летящий снег, и тотчас знакомый паренек вытянулся рядом с командиром танка. Луч от фары пришелся на него сбоку; кроме того, вернувшийся с офицером штаба адъютант подсветил ему мигалкой без опаски получить вторичное попошение науке и технике. Карие мальчишеские глаза чуть напуганно смотрели из-под густых, не по возрасту, бровей; левая, рассеченная при паденье, слегка кровоточила... Нет, это был не тот Литовченко, моложе, постатней и явно не Денискиной породы. Не зря Митрофан Платонович Кульков назвал того колобком при выпуске из школы: «Катись, колобку, в свит, та стережысь, щоб сирый вовк не зьив!»

— Что ж ты, тезка, плохо за машиной следишь? — заговорил генерал, смягчаясь воспоминаньями. — Танк не лошадь, не огрызнется, сахару с ладони не попросит... Ты его молча понимай, и дружба его тебя не обманет. А представь, такая же ночь и врагов тысяча... тут каждый болтик слезою омыл бы, да поздно.

Он говорил так, как если бы сын Денискин стоял перед ним, нуждаясь в отеческом наставленье, и всем очень понравилось, что он говорит с этим полумальчишкой, как с сыном.

— Машина исправна... товарищ гвардии генерал-лейтенант. Только я не той гусеницей тормознул второпях,— открыто признался механик; и опять всем кругом понравилось, что и этот не бежит вины, не ждет прощенья.

— За правду хвалю. У меня в корпусе не лгут... Кстати, как бàтька-то кличут?

— Батька Екимом звали,— отвечал Литовченко, и брови туже сдвинулись к переносью.

— Так. Немцы, что ль, убили?

— Сам помер... от старины.

— Вот оно что,— по-своему прочитал его интонацию генерал, и почему-то убавилось его огорченье, что хлопец этот

даже не родственник Дениске. — За что ж ты на немца обиделся?.. Дом спалили или девушку твою увели?

Литовченко медлил с ответом; коротко было бы ему не объяснить, а на длинное пояснение он не решался. И чтоб выручить товарища перед начальством, все заспешили к нему на помощь.

— Хлебанул беды крестьянской,— подсказал кто-то сверху с платформы. — Все мы ею дóсыта пропиталися.

— Сейчас только тот и без горя, кто воровски живет,— поддержал другой, и генералу показалось, что когда-то он довольно часто слышал этот голос.

— Такое дело... товарищ гвардии генерал-лейтенант... — начал третий. — Ганцы на селе у них стояли, и один мамашу его мертвой курой шарахнул...

— Каб ударил, не стоял бы я на этом месте... — угрюмо поправил Литовченко.

— Ничего не понимаю,— сказал генерал. — Ударил он ее или не ударил?

— Он у нас чудак, товарищ генерал,— пояснили со стороны.

— Какое же тут чудачество! Кто родную мать в обиду выдаст, тому и большая наша мать нипочем,— вступился генерал за паренька, с интересом глядя, как садятся и тают снежинки на его щеке, безволосой и чумазой, потому что водители обычно ехали под одним брезентом с печкой, которою и обогревали в походе свой танк. — И как же ты рассчитываешь поймать его в такой суматохе... врага своего?

— Легше нет,— насмешливо произнес тот же, охрипший от погоды, мучительно знакомый голос, и почему-то генералу вспомнилось, что еще не обедал за истекшие сутки. — Надоть его на перламутровую пуговицу.

— Это как же так... на пуговицу? — спросил генерал, единственно чтобы еще раз услышать голос.

— А как муху ловят. Взять простую пуговицу, от рубашки, скажем, о четырех дырочках... и обыкновенно крутить у мухи перед глазами, пока она не начнет вроде вянуть. А там берут осторожно за крылышки, чтоб не взбудить, и поступают по строгому закону... Так, что ль, милый Вася?

Шутка относилась, конечно, к маленькому Литовченке. Тот не отвечал: опустив голову, он уставился на руку свою, обмотанную тряпкой. Этим он как бы клал конец публичному обсужденью своей сокровенной обиды.

— Значит, гордый ты, тезка,— одобрительно засмеялся генерал. — Это хорошо. Мне и нужны такие, гордые и злые. Войну видал?

— Только в кино... товарищ гвардии генерал-лейтенант.

— Ну, скоро увидишь... Ладно, оставьте его. Посмотрим, что он за вояка!.. — И повернулся к подсказчику, чтоб удовлетворить возникшее любопытство.

Они стояли перед ним все одинакие, на одно лицо, в одеревенелых от мокроты шинелях и набухших водою сапогах. И все же человек этот, казавшийся старше других, заметно выделялся в их ряду; здесь опять пригодилась мигалка адъютанта. И хотя танкист был теперь в усах и к тому же немедленно опустил озороватые, себе на уме, глаза, сразу видно было, что личность эта вела образ жизни, навлекающий подозренье в смысле пристрастия к некоторым крепким напиткам... Нельзя было не узнать его, бывшего повара из штаба корпуса, который мог бы прославиться и во всеармейском масштабе, если бы не роковая любознательность к жидкостям. Она не только помешала ему продвигаться по служебным ступеням, но и удержаться на достигнутых высотах; падение случилось как раз после Россоши, когда кладовые штабной столовой значительно пополнились трофейным продовольствием. Итальянский вермут, французское шампанское, венгерский токай и даже тухлый немецкий ром принялись наперегонки сохнуть в его присутствии, а глазуньи, которыми он ограничил круг своей деятельности, приобрели столь броневые вкус и прочность, что офицеры диву давались, до чего можно довести обыкновенное куриное яйцо. Ему давали советы подкидывать эти злодейские яичницы неприятелю, чтоб калечились на них, но он не внял деликатным предупреждениям, и тогда пришлось откомандировать его вовсе из управления корпуса, что не вызвало ни ропота, ни удивления с его стороны.

— А ведь это ты, Обрядин,— вместо приветствия и весело сказал генерал. — Ну, кем воюешь, как живешь?

— Башнером на двести третьей... товарищ гвардии генерал-лейтенант. Вот прибаливаю маненько,— сиплым баском сообщил он, желая этим выразить степень своего раскаянья.

— Так... И болезнь все та же?

Обрядин не ответил и лишь облизал пышный ус, чтоб скрыть усмешку, какая была и у генерала.

— Что ж, выздоравливай,— пожелал генерал и уже собирался отойти, потому что не на одной только этой станции

происходила выгрузка его хозяйства. Да еще предстояло по пути в район сосредоточения заехать в штаб армии и, кроме того, расспросить кое о чем дежурного офицера из штаба. И тут бросилось ему в глаза странное, даже неуместное для солдата, шевеленье на обрядинском животе, чуть повыше поясного ремешка... Башнер стоял смирно, руки по швам и выпятив грудь так, чтобы по возможности натянулось на груди сукно шинели. Он даже попытался стать бочком к командиру корпуса, но в ту же минуту что-то живое выглянуло из-за борта обрядинской шинелишки.

— Ну-ка, посветите, капитан. Что это за живность у тебя, Обрядин?

— Это Кисо́... товарищ гвардии генерал-лейтенант,— виновато, упавшим голосом признался тот.

И вот решительно невозможно стало для начальства покинуть это место, не повидав старинного сослуживца. Не дожидаясь прямого приказания, Обрядин достал из-за пазухи свой секрет. Маленькое сероватое существо, ежась от холода и дремотно щурясь на свет, лежало в огромной правой ладони танкиста; левою он прикрывал его от простуды, так что хвост и ноги оставались под угревой мокрого обрядинского рукава.

— Ну, здравствуй, беглец. Что, разве плохо тебе жилось у меня? — тихо произнес генерал; и уж такой установился в штабе у них обычай — непременно, при каждой встрече, почесать у котенка за ухом. — А тощий он стал у тебя... верно, яичницами кормишь? Ишь, все ребра наперечет!

— От нервной жизни... товарищ гвардии генерал-лейтенант,— постарался оправдаться Обрядин. — Ведь все в боях да в боях...

...Гвардейский корпус Литовченки всегда ставили на главное направление армейского удара. Его молниеносный маневр и свирепые рейды по тылам врага изучались в академиях не только на его родине. Ветреная военная слава свила себе гнездо на пыльных или обрызганных кровью надкрылках его танков, а горячие головы, что имелись там в каждой роте, собирались помыть их в заграничной рейнской водице... Пятеро таких товарищей, на короткую минутку сойдясь в кружок, а остальные через их плечи — пристально глядели на домашнего зверька, который мигал и встряхивал головой, когда снежинка залетала в глаз. Вряд ли то была нежность к безответному спутнику героических скитаний; она давно истаяла горьким дымком из их огрубелых сердец,— даже не жалость! Но

именно на этом теплом комочке жизни, напоминавшем о покинутом доме, о милых в далеком тылу, на которых замахнулся Гитлер, сосредоточилась их глубокая солдатская человечность... Снег переставал, шерсть на котенке смокла, он становился похожим на ежа. Светало, и когда генерал взглянул на часы, он уже без помощи науки и техники разглядел стрелки.

— Ладно,— сказал он, и офицер связи побежал вперед предупредить, чтоб заводили машины. — Тезке выговор, чтоб помнил, какая правая и какая левая сторона. Через недельку надеюсь услышать о вас, товарищи. Всё.

Прижав подбородок к воротнику, он медленно, против ветра, двинулся назад. Штабной офицер, на котором лежала приемка эшелонов, докладывал в подробностях, когда прибывают очередные, кто именно, по фамилиям и должностям, срывает график движения и откуда должны подать недостающие паровозы... Посерело, когда они подошли к машинам.

Холодная влага с вечера проникла в хромовые генеральские сапоги, но он постоял еще здесь, прежде чем перелезть высокий, неудобный порог своего виллиса. Что привлекало его внимание в этой равнине, нынешнюю безотрадность которой не могли скрасить и причуды недавней метели?.. По белесому покрову полей проступали черные дороги; больше ничего там не было, кроме головешек от сожженных селений.

— Здравствуй, зазимок,— непонятно произнес Литовченко, и у всех, кто стоял поблизости, создалось впечатление, будто он поклонился тому, что лежало под белой простынею снега.

2

Офицеры имели основания приглядываться к своему генералу. Волнение, обычное при посещении старого, милого жилья, сопровождало его последние сутки. Оно не улеглось, когда машины, по радиатор ныряя в хляби, ринулись по дороге; оно усилилось, как только по сторонам развернулись виды, узнаваемые и все же не похожие на себя. Литовченко пытался думать о войне, но среди больших хозяйских планов все чаще, как сухие полевые цветы, попадались благословенные воспоминания, живые и трепетные до озноба и легкого холодка в пальцах.

Здесь прошло детство. Отца и мать он знал лишь по блеклой карточке над комодиком, среди пучков чернобыльника и

тимьяна. Первые четырнадцать лет безоблачно протекли под крылом у бабушки, прославленной великошумской лекарихи; сам Митрофан Платонович, просвещенный тамошний деятель, лечился ее тинктурами от ревматизма. В городке, среди вишневых джунглей, доживали век древние монастырьки; ручейки богомольцев тянулись к ним отовсюду. И кому не помогали их пышные святыни, те брели на окраину, к опрятной хатке старухи Литовченко. Безжалобная простонародная хвороба всегда сидела на ступеньках ее крыльца. Старуха не брала платы,— люди тайком оставляли посильные, зачастую щедрые приношенья: за цветы, даже сухие, надо платить вровень тому, сколько надежды или радости доставляют они душе.

Этой прямой и суховатой женщине с блестящими, без сединки, волосами принадлежало волшебное травное царство, раскинутое под ногами у всех и открытое немногим. Постоянный спутник странствий на сборы трав, мальчик помогал ей добывать скудный хлеб вдовьего существованья, и за это бабушка научила его слушать голоса родных полей и леса, за сутки вперед проникать в сокровенные замыслы природы, что сгодилось ему не раз в его военных предприятиях, и в скромном венчике любого придорожного цветка видеть ласковый, недремлющий, всегда присматривающий за тобою глазок родины, что также невредно знать солдату...

Босыми ногами он исходил великошумскую окрестность. Вот под тем коренастым дубком, который за его кудрявую красу пощадила война, они стояли однажды, застигнутые первовесеннею грозой. Первые капли уже пристреливались по лохматым листьям медвежьего уха, и веселый гром прокатывался в небе, словно перед обедней на великошумском клиросе прокашливались басы. А здесь, на развилке дорог, он навсегда простился с бабушкой, уходя в жизнь; и старая все наказывала надевать новые штаны лишь по праздникам и беречь сапоги деда, прослужившие тому полвека. И еще брала обещаньице слать ей письма о своем бытье, которые он и написал ей ровным счетом два... В час прощанья стояло безветренное утро. Было тихо в природе, и пели молодые петушки. Дымок паровоза уже белел вдалеке, гудела звонкая июльская земля. Мальчик помчался один, не оглянувшись на старую... Заскочить бы к ней сейчас, она напоила бы его густым, медовой крепости, липовым цветом, а потом закутаться бы в дедов кожух и забыться до сумерек, пока старая хлопочет внизу, сооружая богатырскую пищу. Он уже забывал несложную

и меткую знахарскую фармакопею, но из собственного опыта убеждался не однажды, что отвар обыкновенной капусты, в равных долях со свеклой и добрым украинским салом, оказывает целебное влияние на организм, ослабевший от бессонных ночей и сезонного солдатского нездоровья.

Лекариху сменил в городке фельдшерок, лечивший хоть и безуспешно, зато и без старинной поэтической чепухи. Бабушка умерла одна, тремя годами позже, когда внук, поскитавшись по ремеслам, поступил в учительскую семинарию. В семнадцать лет он еще не разумел обязанности хоть на часок примчаться в Великошумск, проводить старую на порог последнего жилища... И странно: давно обратилось ее сухое тело в цветы и травы, хозяйкой которых слыла, а голос растворился в шепоте капелей, листвы и ручьев, а дыханье ее влилось в громадный воздух родины, но владело им чувство, что она совсем рядом, радуется его свершеньям и слышит, как гремят в его честь московские салюты... Старуха Литовченко еще жила, только нельзя стало заехать к ней запросто, обнять за никогда не оплаченную заботку. И этот неотданный должок он с лихвой платил теперь своей земле, людям на ней и ее честной правде.

Он полуобернулся к адъютанту, который трясся позади на железном сиденье виллиса и подскакивал вроде камешка в погремушке.

— Знобит меня, капитан... и мысли все как-то вбок уклоняются... Осталось у нас что-нибудь во фляге?

Там едва плескалось на донышке; он отхлебнул ровно столько, чтобы не беспокоить посудину до конца пути... Дул сырой и теплый балканский ветер, почти весенний шум заполнял уши; начиналась оттепель, и не один танкист сейчас вот так же взирал со вздохом на эту непролазную распутицу... Нет, не похож стал великошумский край на тот, что он покинул тридцать годков назад. И уже не пели там юные, неумелые петушки.

Острая, почти колючая синева сияла из облачной промоины; в ней, журча, на бомбежку тылов прошли германские самолеты. Литовченко мысленно увидел свои танки, застигнутые в дороге... но вслед за тем проглянуло солнце, и тонкая колоколенка розовым видением вспрянула на горизонте, за бугром. Она стояла на рыночной площади Великошумска, которую, в пору детства, просекала тень трех знакомых рослых

тополей: тотчас за ними и ютился домик учителя Кулькова, самого милого из проживающих нынче на белом свете.

Это был неказистый, без возраста и личной жизни человек, безвестный сеятель народного знания. Только прежде чем бросить семя в почву, он прогревал его в ладони умным человеческим дыханьем. Его уроки никогда не укладывались в программу, но эти взволнованные отступления бывали самой лакомой пищей для его птенцов. Юноша Литовченко пошел бы тою же дорогой из одного подражанья этому честнейшему образцу, не призови его революция в солдаты... Старый учитель и учитель несостоявшийся не повидались ни разу; Митрофан Платонович только раз выезжал из Великошумска в Москву, за трудовой медалью. Случилось это осенью тридцать девятого года, когда подполковник Литовченко лечился от ран в иркутском госпитале и о награждении узнал из странички учительской газеты, в которой принесли полкило терпкого зеленого винограда. Рядом с краткой заметкой, куда уложились все сорок лет педагогического подвига, помещалась фотография серебряного старичка, стриженного под бобрик и в толстовке; сквозь очки с пытливым юморком глядели те же добрые, пристальные глаза... Весь день до сумерек подполковник мысленно бродил с ним по бедным, немощеным улицам родного городка, а утром напомнил Митрофану Платоновичу открыткой, как тридцать с лишним лет назад он уронил школьный глобус и помял на нем всю Европу от Вислы до самого Рейна...

И старик отыскал в памяти этот эпизод; в ответ пришло цветистое послание, исполненное затейным почерком, так как, кроме всех известных в учебном мире наук, Кульков преподавал также и чистописание. Он извещал, что живет хорошо и его даже выбрали заместителем председателя чего-то; что и Великошумска коснулись пятилетки, после того как под городом, за бывшим конским кладбищем с названием Едовище, обнаружились особые, всемирно полезные глины, какие, по слухам, еще имеются только в республике Эквадор, на реке Сангурима; что на подъеме у них народная жизнь и до полного счастья осталось не более семи шагов, а сам он молодеет с каждым годом, и если так продолжится, пожалуй, и женится он на какой-нибудь соответственной местной крале, чтобы было на кого ворчать в долгие зимние вечера. Кстати, он звал навестить — если не его самого, ворчуна Кулькова, то хоть помятый глобус, который еще жив и шлет поклон приятелю,— а вместе с тем и отдохнуть в родных привольях, тем более что

целое парковое кольцо защищает теперь Великошумск от убийственных степных пылей,— и вкусно соблазнял кавунами, которые в чудовищных размерах и на удивленье иностранных специалистов выращивает там совместно с ним некий Литовченко, но не тот Литовченко, который колобок, а другой, участник Сельскохозяйственной выставки от Украины. Горечью старческой обиды отзывали эти убористые строки: много он раскидал семян добра и правды в народную ниву, и хоть одно, разрастаясь в плодоносное дерево, кивнуло бы ему издалека своей могучей кроной!

Так возродилась их дружба. Теперь куда бы ни прибывал по служебным делам полковник Литовченко, отовсюду слал местную диковинку в адрес великошумского учителя,— даже из Риги, куда история также закинула однажды генерал-майора Литовченко; наверняка сыщется подарок старику и в немецком городе Берлине... Стесняясь вначале признаться, что не получился из него педагог, генерал не упомянул в переписке о своем военном поприще, а позже, чтоб уж не смущать его чинами, умолчал и о продвижении по службе. Пусть в памяти старика живет до поры некрасивый черноглазый мальчик, которому после поврежденья Центральной Европы на школьном глобусе он шутливо предсказал шумную военную будущность.

В тихий город Великошумск немцы вступили на третий месяц войны; переписка оборвалась сама собою. Страна узнала имя Литовченки сразу в звании генерал-лейтенанта, которого немцы к исходу второго года именовали уже ein grosser Panzermann [1]. Но как у всех на незаметном перекате к старости взор невольно обращается назад, к истокам жизни, чтоб подвести итоги перед решительным и последним рывком вперед, так и для Литовченки стало насущной потребностью посещение родного городка. И опять шла навстречу генералу его удачливая судьба. За час до того, как был получен приказ о переброске корпуса на Украинский фронт, стало известно о взятии Красной Армией Великошумска.

По существу, генерал так и ехал прямиком в гости к Митрофану Платоновичу. И теперь, щурясь от бокового ветра, он примеривался заранее, как вкатит на четырех машинах в тесный дворик на Шевченковской и войдет с обнаженной головой, во всех регалиях и славе, и, минуя обычные восклицанья, тут же, в темных сенцах, прижмет старенькую толстовку к олу-

---

[1] Великий танкист *(нем.)*.

беневшему сукну генеральской шинели. Не повредит и мальчишеское озорство такого внезапного появления: тем больше будет ликованье старика, когда узнает, что это тот самый Литовченко, чей газетный портрет прячут под подушками сиротки, у которых Гитлер убил отцов... Они сядут за стол и будут молчать, пока не обвыкнутся после разлуки, и, наверно, вся улица, прослышав о таком госте, соберется под окошками Кулькова, и хозяин станет спрашивать его о самом сокровенном человеческом на свете. А там, расположась на часок-другой, можно будет выжечь простуду из тела какой-нибудь ядовитой домашней настойкой... И вот началась и потекла долгожданная горячая беседа, и он сам сидел перед Литовченкой, добрый великошумский старик, подливая ему в тоненькую рюмочку. Тем более странно было, что у Кулькова вдруг оказалось лицо адъютанта... Ленивый струйчатый жар поднимался из мокрых хромовых сапог и подступал к подбородку.

— Василий Андреич,— уже настойчивей повторял капитан,— я так полагаю, стоило бы вам в хату заехать, переобуться, а то совсем свалитесь. Майору валенки из деревни прислали, а сухие подвертки где-нибудь на селе добудем. Тут везде наши части стоят. Завтра трудный день... похоже, гроза собирается!

Потребовалось еще некоторое время, чтоб совсем расстаться с великошумским миражем. Возрастающая, такая мирная издалека, в сознание просочилась канонада. Колоколенка давно пропала; на ее месте продолговатое, военного происхождения облако встало под горизонтом... Они ехали вдоль линии фронта, приближаясь к нему под малым углом. Пригревало солнце, грозя к ночи обратить все правобережье в сплошное месиво.

— Как же я в валенках к командующему заявлюсь! — сообразил наконец генерал. — Погоди, кончим войну, назначат меня смотрителем на маяк... тогда и заведу себе козловые сапоги со скрипом, а пока рано мне, капитан. — Возражение звучало неубедительно, и капитан упорствовал, решаясь использовать слабость противника до конца. — Ну-ну, там посмотрим. Что-то длинно мы едем, не сбиться бы с дороги. Вы следите за картой?

Адъютант расстегнул планшет и стал чертить ногтем по целлулоиду:

— Давеча Малый Грушевец проехали, та-ак. Нравятся мне здешние населенные пункты... товарищ генерал. Ласковый

кто-то прозванья им раздавал. Затем балочка, только что миновали, а за нею селение под именем Райское. — Он высунулся из машины, чтобы удостовериться. — Та-ак, похоже! — согласился он, различив уйму пеньков между пригорками багрового щебня и золы; две вороны, явно нездешние, транзитные, доставали себе скудный харч из-под снега. — А ведь во всяком домике по хозяйке имелось, девчатки из окон глазели, в каждой печи вареники... Знатная еда, говорят! В кои веки в гости зашел, а у них покойник в доме... Нет, едем мы правильно. — И так выходило по его словам, что сейчас будут Белые Коровичи, а оттуда двенадцать километров останется до Лытошина, где стоит штаб армии.

— Вот вы давеча, видать, сквозь сон про сердце танкиста обронили... товарищ гвардии генерал-лейтенант, — отозвался шофер, и капитан с неудовольствием покосился на него. — А только, извиняюсь, конечно, нет во мне теперь этого самого сердца. Не надейся и не спрашивай: нету. Нагляделся я раз всего под Кантемировкой, машину остановил, повалился в ромашки у дороги, плачу. И как отплакал свое, так и зажглось во мне враз, не могу себя погасить. Так и горю... Вот еду, а дым черным столбом надо мной идет!

Значит, и другие заметили его простуду: видимо, сочувствие к командиру располагало их к такому дружественному красноречию. Следовало заехать на часок в Коровичи для просушки и леченья. Вскоре показалось жилье, сперва — такая же битая скорлупа теплых мужицких гнезд, а потом, в отраду сердцу, явилась череда вовсе нетронутых домов, оазис средь пустыни. То и были Белые Коровичи. Пока офицеры бегали куда-то, генерал смотрел, расставив ноги, как молодая женщина доставала журавлем воду из колодца.

3

Он спросил ее о чем-то для первого знакомства, молодая ответила не сразу. Разминая застывшие плечи, генерал осведомился также, как живут они здесь, на безлюдье. «Хорошо», — отвечала молодая, без плеска ставя ведро на колоду. «Чего ж хорошего, даже собаки на незваных не лают. Пуганые, что ли?» Выяснилось, что собак немцы поморили всех, и даже сверчки на Украине перестали сверчать, но теперь возвращаются кое-где на обжитые места. Словом, когда вернулся

офицер связи, генералу стало уже известно, что немцев прогнали всего неделю, что в Коровичах стоит артиллерийский резервный полк, а дальнее крыло уплотнено вдобавок погорельцами: маются где придется — в клунях, чуланах и погребах.

Валенки оказались сибирскими пимками, чуть не до пояса и на кожаной подошве, такими осанистыми, что у генерала не нашлось возражений против столь вещественного довода.

— Пока обогреетесь, товарищ Крушинин,— уже по-фронтовому обратился к комкору адъютант,— хозяйка тем временем чайку смастерит. — Он подмигнул молоденькой, и та ответила спокойным взором таких красивых, с такой величавой, неисплаканной печалью, таких глубоких, как после болезни, глаз, что капитан невольно подтянулся и стал обдергивать на себе ремешки. — Как фамилия, царевна?

— Литовченко,— сказала женщина, поднимая коромысло на плечо.

— Ишь совпаденье какое. И мы все тоже Литовченки,— весело поддержал адъютант, потому что такой тон избавлял от расспросов и сразу создавал отношения старой дружбы. — Ну, веди нас к себе, посмотрим, что за дворец по такой красавице.

Узкая натоптанная тропка вела к глазастой хатке на пригорке, казавшейся благополучнее других. Початки кукурузы янтарными монистами свисали над окнами и покачивались в ветре на крыльце. Слегка сутулясь от тяжести, женщина пропустила гостей на ступеньки. Генерал вошел первым... Топилась печка. Ветер задувал дым из трубы; домовитый, уютный после холода, соломенный чад стлался по хате. Человек тридцать артиллеристов сидели на лавках вдоль стен и на низких дощатых полатях: иные приладились на чурочке у порога, а один свесил босые ноги с печки, обняв запухшего от сна мальчика, такого же красавца, как его мать. Все поднялись, кроме хозяйки. Старуха осталась сидеть перед печкой и не отвела глаз от огня, даже когда шестеро проезжих молодцов ввалились к ней на постой.

— Сидите, товарищи,— жестом предупредил общее движенье генерал. — Мы только посушиться, мимоездом. Нет, нет, ни в коем случае... — удержал он адъютанта, собравшегося очистить хату на время их стоянки, и выждал, пока все снова уселись в нерешительном смущении. — Продолжайте свои дела. Политзанятия, кажется?

— Никак нет, товарищ генерал. Седьмая батарея артполка находится на прочтении писем,— отвечал довольно тщедушного вида усач, быстро оправив на себе застиранную гимнастерку. — От хозяйкина сына письма, из неметчины. Тут у нас пополнение имеется... вводим, так сказать, в курс всеобщего дела. Красивым слогом написаны!

— Вот и отлично, и мы послушаем,— одобрил генерал, высвобождаясь из мокрой отяжелевшей шинели.

— Да уж почти все отчитали — эва, целую горочку! Последнее осталося,— пожалел сержант и кивнул на пачку писем посреди темного скобленого стола. — Только беда, поукраински весточки-то, товарищ генерал, а у меня больше вологодские да мордва... эва, даже один татарин есть, Алексей. Ишь, на приступочке сидит, согнулся... болеет. Лишний сила в бою давал! — И для приличья посмеялся жестяным, никому не обидным смешком. — Однако все понятно, слезой писано. Освободить место генералу! — повысил он голос, и скамья сразу опустела, точно полотенцем обмахнули для высокого гостя, но почему-то тесней в хате от этого не стало. — Читай, Куковеренков, не торопись, а то не выдам я тебе рекомендации в артисты.

Он был слишком суетлив для должности политрука, но что-то звенело — то струночкой, то набатно звенело в нем, заставляло вслушиваться с возрастающей тревогой и торопиться, опрометью торопиться куда-то. Обстановка не соответствовала его шутливому тону; прибаутками он хотел побороть смущенье собравшихся хотя бы и перед чужим начальством. Бледной зимней окраски бальзамины не совсем застилали свет в окнах. Все же стреляная противотанковая гильза, сплющенная сверху, снабженная бензином и фитилем, горела на столе, придавая особую, как в храме, торжественность собранью... Шоферы долго стелили салфетку на краешке стола, доставали припасы, выдавали молодке чай на заварку, пока генерал не прекратил их неуместную суетню.

— И кстати дайте конфеток мальчику, капитан... — сердясь и сквозь зубы приказал генерал. — Понимать надо... Сам же жалобился, что детей в эвакуации оставил! — И хотя это было сказано вполголоса, тень одобрительной улыбки поочередно прошла по всем лицам, кроме старухина. — От отца, что ли, открытки-то?

— Не́, то от дядьки, товарищ военный. А ба́тька у него нет. Никогда он сынка не приголубит. Вот все собирается

письмо написать... ба́тьку в могилку,— сказала по-украински женщина с закушенными губами, обернувшись к окну, как бы затем чтоб поправить занавеску.

— Не бойсь, махонький... ешь, сиротка. А немцу, что дружков твоих в колодец побросал да животиной дохлой сверху накрыл, чтоб не вылезали,— капут, капут немцу! Ешь, родной... в Германии еще добудем. Душу вытряхнем, а добудем... если начальство разрешит,— добавил сержант, испытующе покосясь на генерала, который с наслаждением вдыхал хмельной и сытный пар из стакана.

— Данке шен [1],— кротко, забито сказал мальчик.

— Слышали? — зловеще окликнул усач свое собрание, которое вдруг заежилось и недобро пошевелилось. — Приступай, Куковеренков!

Ближний, широкоскулый, с неподвижным лицом красноармеец уже держал в руке остатнее письмо. Как и прочие, то была стандартная открытка с печатным предупреждением писать в одну строку и без помарок. Вместо обратного адреса стоял квадратный лиловый штамп с указанием лагерного номера корреспондента. Чтец некоторое время как бы изучал почтовую марку, запоминая одутловатый, с прядью на лбу и выпуклыми жабьими глазами, профиль. Личность эту он видел не раз на плакатах в немецких землянках и не промахнулся бы при встрече, а теперь он просто выжидал, когда все придет в прежнюю стройность, перестанет хрустеть серебряная бумажка в сироткином кулачке и замолчит сверчок в подпечье. Слишком много слов было напихано как попало в это письмо; столько слов, что любой полдень затмить и опечалить хватило бы этой черноты. Указанное обстоятельство охранило письмо от немецкой цензуры, но оно же заставляло и Куковеренкова запинаться, тем более что он сразу переводил по-русски. Наконец сверчок пискнул еще раз и затих, также приготовясь слушать послание из неметчины.

— «Здравствуйте, родные, кто меня еще не забыл. Я жму твою праву ручку, мамо, и поклон всей милой, сколь глаза хватит, Украине. Сестрице Одарке мой скучный, далекокрайний привет. И братику Кузьме щиросердечный привет тоже. И спасибо, что послали сапоги, а то порвались чеботы мои, и работа мокрая, но только я не получал. Хоть дают мне двенадцать марок в месяц, но ничего не купишь, окроме ситра.

[1] Покорно благодарю *(нем.)*.

Я пишу тебе, мамо, что немножко запух весь и живу хорошо. И снилось мне два раза, что выстроили новую хату, и будто идут коровы из нашей улицы, стадо в поле идет. И тут все поле превратилось в гробовище. Ты стоишь одна, мамо, и ни травки кругом, ничего нет».

— Хорошим слогом писано,— взволнованно отметил генерал и повернул голову к молодке. — Это, значит, и есть дядька?.. Сколько ему лет, дядьке?

— Семнадцатый с Покрова,— отвечала молодая, по-бабьи подпершись рукой и внимая письму как новинке.

Черная струйка копоти вилась над гильзой, как и несложная нитка повествованья. Кашлянув и как бы подстроив сбившееся горло, Куковеренков ловко провел пальцем по огню, смахнул нагар и тем прибавил свету. Все молчало, только из рукомойника у двери размеренно капала вода. Сейчас все эти люди принадлежали к одной семье Литовченок: заезжие шоферы, генерал, перед которым стыли разогретые бобы со свининой, вологодские с суровыми лицами мужики, татарин Алексей, соломинкой в раздумье подметавший пол,— и самые боги, выглядывая из бумажного цветника,— силились вникнуть в эту протяжную, как песня, жалобу.

— «Живу, только и думаю про Украину,— писал дальше мальчик Литовченко. — А нельзя мне тут жить и гулять. Как вспомню все, и как братик Тимофей суму мою нес, и как мамку ударили, так и плачу. Тогда я побежал к вам, но меня поймали. Дали двадцать пять по голому телу, а потом морили голодом, но недолго, мамо. Я опять побежал, в темноте бежать хорошо; тогда поймали меня еще, а я ничего, только бы не убили. А как узнал я про смерть Тимофея, все продал с себя, купил ведро картошки и ситра ведро и пил, три дня лежал бесчувственно, поминал старшего братика Тимофея в городе Берлине. Меня палкой тычут, как зверя, чтоб на работу шел, а я лежу, не могу идти, плачу. А город Берлин разбит чисто, хуже Киева побит. И детей не видать, и людей мало».

Пока звучал этот вопль издалека, генерал допил чай, куда украдкой капитан долил на четверть рома. Да тут еще две девушки из полкового медсанбата принесли генералу сухие шерстяные подвертки, заказанные капитаном. Ногам стало легче и теплей, и на душе сделалось так, будто давно живет здесь; генералу казалось, например, что во всех мелочах знает этого усача, добровольного устроителя нынешнего чтения. Наверно, это был старый солдат, которому вторично в жизни

пришлось обороняться от немца; и смертно надоела ему вековая угроза, что придут и разорят дотла его достаток, и решил покончить с нею разом и, посетив дом врага, показать ему военное лихо во всей его страшной красе. Он затем и обращался то словом, то взглядом как бы за поддержкой к генералу, чтоб не упрекнуло его впоследствии в беспощадности строгое начальство.

— «Я жду от вас ответа, как соловей лета,— заканчивал тем временем Куковеренков. — Хоть пришлите четыре слова. Мне теперь номер дали, пятьсот тридцать, вы не спутайте. И марку наклейте, а то без марки письма не идут. Не давай плакать маме, братик Кузьма, мне тогда легче будет. Я буду жить, пока не забьют. А племяннику ленточку припас, хоть и не девочка, больше ничего нету. Привезу, как уцелею. Больше писать нечего. Писал ваш сын и брат на чужбине...»

— Это который же Кузьма-то? — спросил офицер связи, когда Куковеренков, сложив письмо поверх кучи, отодвинулся от стола.

— Средний, всего трое было... кроме Одарки. Он еще при немцах через фронт в Красную Армию убежал,— неохотно, потому что не впервые, объяснила молодка. — Опротивело ему со стариками в болоте сидеть. Уж их с овчарками искали, все норочки обшарили.

— Так-так,— ухватясь за слово, скороговорчато выступил усач. — С егерьками, значит, как на волчатину, охотились. В сундук железный спрячь письма-то, хозяюшка... не загорелась бы хатка твоя от них! Вот и поговорим, товарищи, пока каша варится. Выходит, мать, трое у тебя кормильцев-то?.. Богатая!

Старуха поворотила голову, и новоприезжие увидели, что годами она была не старше самого сержанта.

— Я богатая,— согласилась старуха.

— Итак, младшенького, а там и сестричку его в неметчину угнали. Средний к нам ушел. За что же немцы старшего-то сказнили?

— Старостой у них ходил,— с тем же неподвижным лицом ответила мать и поправила складку платья на колене.

Ответ смутил бы любого, но усач, и глазом не сморгнув, шел к правде своей напрямик, зная, что она его не обманет.

— Так-так!.. Тогда ему бы, наоборот, в кафе круглы сутки сидеть, немецким шнапсом совесть заливать. Староста у немцев первый человек. Это есть вроде как бы зубы, собственному

народу горло грызть... так кто же зубы себе беспричинно губить станет?

— Не трожь ее... Партизанам он помогал, затем и в старосты пошел,— сказала вместо старухи молодая и вдруг, глянув на мальчика, заговорила много, часто и жарко, точно полымя плеснулось в ней. — Корова у нас была, а старик один, сосед, и прельстился. Уж старый, шестидесяти осьми годов, на что ему корова?.. И выдал он Тимошку немцам за молочко. Мы вот так же ужинали... ввалились они, ухватились за Тимошку, семеро одного держат...

— Храбрые, значит, семеро одного не боятся! Давай, давай... и ты нам не общую картину описывай, а шаг за шагом иди. Мы судьи, вот мы кто! Нам все обстоятельственно знать надо...

Она стала рассказывать, как увели Тимофея и как она прокралась послушать мужнин крик, но все три часа не было крику из немецкой хаты, а только время от времени ровный и твердый, сквозь боль и стиснутые зубы, голос: «Красной Армии слава!» — и как водили его потом по селу, в кровище, с повыдолбанными глазами и с доской на груди, и как билась она затем в ногах у коменданта, чтобы выдали ей порубленное мужнино тело, потому что хороший был, и все село за него распишется, и ее снимали на карточку при этом, лежащую во прахе у чужих сапог, и как словили по приходе красных танков того одряхлевшего от страха Каина, и вдовы слезно молили, чтоб дали им хоть шильцем уколоть его по разочку... Тут уж и мать поднялась с табуретки. Она неторопливо прошла к простенку, где в дешевом багете висели фотографии обширной, за полвека, литовченковской родни. Там были дивчины с букетами и в пестрых домотканых юбках, молодые люди в матерчатых пиджаках, в обтяжку, на плечах непомерной широты, какой-то шахтер, снявшийся в полном подземном облачении, длинноусые хлеборобы, и еще — не по-нынешнему рослые, грудью навыкат — гренадеры прежних времен, сложившие голову за староотеческую славу, и сановитые дядьки прославленных запорожских куреней — только оселедцев им не хватало! — выставились из большой братской рамы поглазеть на нынешних хлопцев; и красовался там же вид с Владимирской горки на всеславянские святыни города Киева, и помещался сбоку зеркала треугольный осколок, чтобы каждый мог сравнить себя с этим отборным, зерно к зерну, племенем... А в левом верхнем углу, как заглавная буква к богатырской

родословной, находился совсем еще не старый, с бритым и мужественным лицом, потомок; из-под суровых, сведенных к переносью бровей застенчиво глядели почти девичьи, темные украинские очи. Рамочка висела, как по отвесу, прямо, но, значит, матери было виднее. И по тому, с какой строгой лаской старуха Литовченко коснулась ее кончиками пальцев, словно оправляла венчик на покойнике, все поняли, что это и есть ее старшенький, предколхоза, Тимофей Литовченко.

Генерал, поднявшийся было познакомиться с еще одним своим однофамильцем, отошел первым, и тут бросилось ему в глаза, как высокий артиллерист, стоя поодаль, усмехается и качает головой; и тем неуместней показалась такая усмешка генералу, что парень на полторы головы возвышался над прочими, видимых признаков ранений или нашивок не имел, был с красивым, чуть матовым лицом и, видимо, смертной силы.

— Чему же вы смеетесь, гражданин? — недружелюбно и нацелясь в его громадный сапог, спросил генерал. — Этот Тимофей... как его по отчеству-то, молодайка?.. Арефьич?.. — недоверчиво протянул он. — Этот Тимофей Арефьич, может быть, еще на площади в Киеве будет стоять, медный, рядом с нашим Тарасом. Мы-то с тобой друг за дружкой, как звенья танковой гусеницы, идем, а он умирал в одиночку, зная точно, что никто не поможет.

— Нечего и разъяснять, товарищ генерал... — смущенно заговорил артиллерист.

— Нечего и разъяснять. А знаешь, что на передовой сделали бы из тебя за такой смешок? — оборвал его, рванувшись от двери, кто-то из шоферов.

— Нет, уж дозвольте разъяснить тогда, товарищ генерал,— нахмурясь, повторил красноармеец. — Это я на Германию дивуюсь. У нас, на Ваге, ежели так с соседями обращаться, в одночасье изведут, уголечка на развод не оставят. Вот у меня, ребята смеются, кулак два кила весит... и то в будний день, пока не рассержусь! Я им медведя одновá наповал уложил...

— Стреляного! — подзадорил сбоку усач, и вид у него был такой, словно раздувал поднимающееся пламя.

— А хоть бы стреляного. Ты меня опробуй, как жить надоест! — И оглядел для проверки костистый, досиня сжатый кулак. — С чего ж они с нами так, товарищ генерал? Али пустыни непроходимые промеж нас лежат, али горы высокие... и те перешагнуть можно!.. Неосторожность какая...

— Ладно, помолчи, не волнуйся! — сказали со стороны.

— На меня теперь метра четыре земли насыпать надо, чтоб я успокоился,— забыв все, пуще расходился парень. — Я... — Слова так и летели с него, как брызги с точила, а усач пристально глядел ему в глаза, как бы закрепляя в памяти, чтоб напомнить потом в решительную минутку. Уже тянули великана сзади за рукав, стремясь остановить его дерзкую, неприличную при начальстве ярость, но он смолк, только когда офицер связи вбежал в хату с радиограммой из штаба армии. Командующий спешно разыскивал комкора Литовченко. Какие-то неизвестные и грозные обстоятельства меняли установившееся равновесие на этом фронте.

— Надо мне ехать. Желаю тебе, товарищ, чтоб не изгорела твоя сердитость па полдороге,— сказал на прощанье, уже в шинели, генерал, переглянувшись с усачом; оба поняли друг друга с полувзгляда. — А дорога нам еще долгая!

Сержант подал ему просохшую у печки шапку. Вдруг затрещал сверчок, благовествуя, что еще наладится жизнь и снизойдет былое счастье на четырежды осиротелую хату. Его заглушило урчанье заведенных машин. Дружным рокотом артиллеристы проводили гостей. Во дворе старая хозяйка набирала соломы из стожка. Генерал пощурился на ее полубосые ноги, на худые лопатки, охваченные знойким ветром, хотел сказать на прощанье, чтоб не убивалась о среднем своем сыне, который сидит теперь у него в танке, за надежной стеной, но усомнился в чем-то и, выйдя за ворота, подозвал своего капитана.

— Забыл, как у них среднего-то звали, что в армию ушел?

— Кузьма, товарищ гвардии генерал-лейтенант.

— Так. А того, что ночью танк чуть не завалил?

— Того Васей при нас называли...

Скоро иные мысли и совсем прочерневшие под солнцем поля охватили их. Когда минутой позже Литовченко выглянул в заднее окошко, ни деревца, ни дымка над трубой не осталось от Белых Коровичей. Зато другой, громадный и плоский, дым вставал на горизонте. Его было много, и ветру было из чего изваять длинную черную лисицу, вытянутую движеньем и на бегу распустившую хвост. Воздух двигался как раз оттуда, слышна была усердная работа артиллерийских батарей.

— А пожалуй, зря вы на Коровичи поплелись, капитан. Через Березно было бы нам ближе. Если не ошибаюсь, это Млечное полыхает?

— Нет, это Великошумск горит... товарищ гвардии генерал-лейтенант,— уверенно поправил его адъютант.

4

Из опасений, внушенных именно этим зрелищем час назад, адъютант избрал более длинную дорогу через Коровичи. Осторожность оправдалась в ближайшем селе, в Ставищах, также памятном генералу по каруселям и балаганам его трескучих ярмарок. Оно предстало сейчас с закрытыми ставнями, горелое не однажды, примолкшее, чтоб война не вернулась, хотя бы на детский плач, добить и разметать нищие останки. При подъеме в гору, у плотины, обсаженной раскорякими ветлами, танкистов остановила регулировщица. Она направляла их на проселок, выводивший к Житомирскому шоссе. Объезд означал пятнадцать километров крюку и, прежде всего, крутые перемены во фронтовой обстановке. Капитан поднялся наверх поискать хотя бы дорожного коменданта. И пока остальные дрогли здесь, у темной, загустелой воды, в узкую горловину мостка стали спускаться огромные, в грязи по кровлю, санитарные автобусы. Медленно, из внимания к своему хрупкому грузу, они проплывали мимо, почти впритирку к встречным машинам и на короткое время застилая в них свет. Он затемнился семнадцать раз сряду, и уже на первой трети все выбрались наружу, кроме генерала. Перестав крутить цигарки, шоферы провожали глазами этих первых вестников ночных происшествий под Великошумском, и один глядел дольше всех, пока ветер не выдул из-под пальцев половину табаку.

— Отвык от войны-то, черт гладкий? — пошутил сосед, когда последний автобус ушел на восток.

В Ставищах адъютант разведал не больше, чем знала со слов проезжающих эта кудреватая румяная девушка в коротенькой шинельке. Всю ночь, по ее словам, громыхали сквозь вьюгу пушки, и десятки осветительных ракет висели на горизонте; немцы проявляли усиленную деятельность. Она терпеливо растолковала все приметы объезда: как добраться до коневого совхоза и куда сворачивать от монастырских прудков,

чтоб без промаха попасть на переправу... и шумливым флажком показывала в ветреную, звенящую тревогой даль. Оттуда порывами доносилось машинное тарахтенье застрявшего грузовика; погудев и передохнув, он снова силился оторвать лапки от неодолимо клейкого листа дороги. Война услышала жалобу: понижаясь в тоне, просвистел воздух, и тощий из-за расстояния веер земли и дыма распустился среди поваленных телеграфных столбов.

— Вам как раз туда и надо ехать,— улыбнувшись, сказала девушка, и ямочки на щеках стали еще румяней от смущенья. — Все утро из дальнобоек щупают... впустую,— прибавила она успокоительно, для шоферов, которые уже приметили, что после разрыва тарахтенье грузовика прекратилось.

— Откуда сама-то? — спросил связист, топча недокуренную папироску.

— Воронежская...

— Ну, и сами мы все воронежские. Не задремли смотри, а то ганец подкрадется!

Так, подкопив силы, они нырнули в темно-рыжее месиво проселка, под некрашеный шлагбаум контрольного пункта. Здесь кончалась хорошая дорога. Два часа тащились они почти на первой скорости, и каждый давал зарок замостить после войны всякую лесную тропку клинкером: впрочем, обеты тотчас забывались, едва почва под колесами становилась тверже. Обстрел не повторялся, погода совсем разветрилась, и веселили по сторонам плакаты с наказом экономить горючее. Великошумск и его великая гарь сдвинулись в сторону, и даже мыслей не осталось о Великошумске, когда поднимались на шоссе.

Их сразу захватил деловитый поток фронтовой магистрали. Здесь ехало все, чтоб, растворясь в ничто, превратиться в победу. Ехали ящики с концентратами, бензин, зимняя стеганая одежда и металл, продолговатые пироги с толовой начинкой; ехали лекарства в гигантской таре, авиамоторы и то, чем их поражают наповал; валенки ехали пополам с гармоньями, а лазаретные кровати — целая трехтонка с железными скелетами — напрасно старались опередить тот желанный и праздничный груз; ехали толстые мешки с ядрицей, кислота в просторном зеленом стекле, ремонтные станки, буханки хлеба, которых хватило бы вымостить дорогу до самого Лытошина, книги, строительный лес, вино для живых и кровь для оживления уставших на поле боя, кипы сена, туши мяса и прочее,

чем питается в разгаре наступленье,— в бочках, топпах, тюках и десятках погонных километров. Все это тысячеименное богатство страны превращалось как бы в густую и вязкую жидкость; невидимое сердце проталкивало ее в узкую и гибкую артерию военной дороги... С однообразным рокотом, в несколько рядов мчались цистерны, заморские доджи с зенитными установками в кузовах, и серенькие наши зисы перегоняли их в стремительном беге к победе; степенно, обок со своими крановыми американскими собратьями, шли чумазые челябинские тягачи, чернорабочие танковых сражений, неслись ловкие противотанковые пушки, стальные осы, прицепленные к бронетранспортерам, и двигалась их страшная тяжеловесная родня, едва прикрытая раздувающимися чехлами; студебеккеры шлепали широкими лапищами по шоссе, и прятались за ними машины в брезентах неизвестного назначения, а рядом попрыгивала походная банька, русско-татарский рай на колесах, и добрый десяток веников приплясывал над кабинкой веселого, белозубого водителя.

Все это, забрызганное грязью и стократно повторенное, днем и ночью неукротимо двигалось в самое пекло великошумской битвы. По сторонам, среди опаленных буковых рощ, как предупрежденье судьбы, чернели остовы сожженных машин, битые германские танки, валялись дырявые, полные талой жижи чашки танковых башен, пучились трупы лошадей, подернутые снежком, и еще не стаяли на них ночные зловещие вороньи следки... но уже не действовало предупрежденье, и никакая сила в мире не могла задержать этот поток. Да еще по обочинам, насколько хватало кругозора, грохоча и с открытыми люками, по два в ряд катились танки, облепленные своими десантниками, как цыплятами наседка. Они служили как бы железными берегами для этой реки народного гнева, и только теперь становилось ясно, какую вековую дремучую силу разбудил вражеский удар.

— А ведь это из моих! — определил генерал, приглядываясь к новехоньким тридцатьчетверкам. — Не узнаю только, которая...

— Та самая, тридцать седьмая,— подсказал адъютант.

На броне ближней машины он различил свой корпусной опознавательный знак, а через мгновенье под белым, с крылышком, ромбиком он увидел и номер — двести три. Кидаясь грязью, она шла по всем правилам походного марша, соблюдая сорокаметровую дистанцию тормозного пути. Как и на про-

чих, среди привязанных бачков, походной печки, ящиков с боеприпасами сидели затаившиеся на заветной думке люди: может быть, они пели. И вдруг генерал живо вспомнил вихрастого лейтенанта. Это вместе с ним довелось ему повоевать однажды, когда сорок четвертая, летом прошлого года, напоролась на засаду Гудериана; с управленческого танка сбили ленивец, и первая машина, куда наугад вскочил командир бригады Литовченко, оказалась двести третьей. Сам он получил второе Красное Знамя за это бравое дело и уже не помнил, чем именно судьба, кроме седой прядки, наградила лейтенанта. Было грустно, что не обласкал Соболькова, не напомнил про тот жаркий денек, тем более что они как бы и породнились тогда, потому что оба вышли с легкими ранениями из боя. Он припомнил кстати, что, по слухам, это отличный мастер простонародной сказки, и тут же порешил непременно при случае послушать Соболькова — как ради поощрения таланта, так и из интереса, чем он потчует целую бригаду на отдыхе...

Ни метра не пустовало на шоссе, и всем находилось место. Вольным шагом двигалась пехота пополнения, наглядные примеры разноязычного нашего единства. Даже в такую мокрядь, которая еще больше однообразила их, чем серая шинель, казах отличался походкой от грузина, а украинец повадками от сибиряка. Эти последние хмуро покачивались на мохнатых коренастых лошадках, в особенности сердитые на немца, оторвавшего их от воистину государственных дел. Не было нужды расставлять плакаты по пути, чтоб возбудить в них воинскую решимость. Следы разрушения и гибели по сторонам дороги повелевали грознее всякого приказа... Шли и видели, как стынут связисты на столбах, починяя рваные провода; видели, как воронки от авиабомб заваливают щебнем разгромленного поселка и по кварталу умещается в каждую ямину; видели, как древний дед со внучкой пытаются набрать горелого мусора на зимний шалаш, а уж декабрь глядит из лесу; они также прикидывали на глазок, сколько гвоздей, топоров и пил получилось бы из этой железной, уже неузнаваемой падали, и переводили на трудодни стоимость того материального потока, который завтра сгрызет одна атака. Они шли, сосредоточенно глядя в смутную точку впереди, за чертой неба, где маячили мрачные призраки — дурацкие «мертвые головы», непонятные им р а й х и, в а л л о н и и и в и к и н г и и прочая, на устрашенье трусов выдуманная чертовня; они шли убить

их прочно и навсегда; они шли, и горькое море крестьянской беды плескалось у них под ногами.

В гуще потока возвращались беженцы на разоренные гнездовья. Тощие коровы со скорбными библейскими глазами волочили ветхие телеги, и старики сбоку помогали животинам дотянуться до дому. Выводки крестьянских ребяток, по четверо в одной дерюге, с безжалобной заискивающей улыбкой смотрели на матерей, которые со сжатыми губами шагали возле, не имея другой надежды на земле, кроме как на свои обвисшие вдоль тела руки. С упорством младости плелись старухи повидать на закате родимые могилки, знакомый на шляху тополек, и поспешало сзади некое существо, голодное и пуганое,— черный лохматый псишко, отвыкший лаять по чужим дворам. Увертываясь от огромных колес, он бежал и все принюхивался, искал подобного себе, чтоб поведать о своих собачьих горестях... но даже и мокрой шерсткой не пахну́ло ни разу из смрадной бензиновой реки кругом. Порой он принимался скакать на снежной обочине и лаять каким-то петушиным голосом, то ли от радости жизни, то ли из потребности показать войне, что и он тоже злой и кусачий... И еще восьмилетняя девочка, вся прогибаясь назад от непосильной ноши, тащила плетеную старушечью котомку за спиной, а в руке несла большую стеклянную бутыль на веревочке, жалкое крестьянское сокровище. Прижимаясь к берегам, эта человеческая щепа тоже плыла в реке войны, не догадываясь о ночных событиях под Великошумском.

И, как бы к сведению их, в воздухе появились германские самолеты. Усталые, они возвращались с бомбежки, на неуязвимой высоте, и лишь один стрелок, любитель мертвого тела, спустился из облаков, соблазняясь беспроигрышной мишенью. Он подобрался с тыла и подветренной стороны, и в ровный гул потока влился внезапный рев его авиамоторов. Его услышали все сразу, как бы судорога прошла по шоссе; большой штабной автобус с ходу ударил о передний д о д ж, поставив его поперек пути, и движенье замерло, как останавливается поезд у станции, с буферным лязгом и визгом тормозов. Насыпь была высока, и, прежде чем ринуться с нее врассыпную, все, в тысячи глаз, оглянулись назад. Черная птица падала, казалось, на то самое место, куда толкало самосохраненье; отраженное солнце сверкало в ее чуть наклоненном крыле. Прежде чем опасность достигла сознания, машина увеличилась вчетверо, потемки пронеслись над головами, и в ту же минуту летчик

дал пулеметную очередь. Звон стекла и вопль женщин — все поглотило урчанье смертоносца. Так ударяют полосой капли в начале проливня, но самого дождя не последовало. Зенитные пулеметы били вдогонку с запозданьем и без видимого успеха.

Пока они стояли так и воздух струился над перегретыми моторами, генерал вышел из машины приказать связисту ехать впереди, прокладывать путь его в и л л и с у.

«Этак мы до вечера тут проваландаемся!» — собрался сказать он и забыл, привлеченный подробностью, может быть самой ничтожной в его военных наблюденьях. Девочка стояла лицом в сторону, откуда нападал самолет; испаринка страха проступила в ее лице. Мать тормошила ее, припадала окровавленной щекой к ее щеке, белой и невинной, всплескивая руками и всхлипывая на ветер: «Обмерла, господи, обмерла...» А та, виновато улыбаясь, с недоверием косилась на свою вытянутую правую руку, где на веревочке висело одно горлышко без бутыли. И рядом, у тележного обода, на снегу валялось нечто черное, неподвижное, похожее на большую чернильную кляксу. Оно лежало, откинув голову, как все убитые, независимо от звания или породы; один глаз, открытый и чем-то уж слишком людской, глядел на генерала, как бы говоря: «Вот и не доехали... такие-то дела бывают, ваше человеческое превосходительство!» Наверно, то и был последний песшко на Украине.

Подошедший старик бесстрастно шевельнул его ногой и подтолкнул корову, чтобы шла. И как только в кузов передней машины втащили одного простреленного бойца и скинули под откос лошадь, бившуюся в постромках, шествие на запад возобновилось с удвоенной резвостью. Люди стремились наверстать время, хорошо зная, что веков рабства сто́ит иная, утраченная попусту минута.

— Ну, погоняй теперь,— приказал Литовченко шоферу, который, пользуясь остановкой, отполировал до блеска забрызганное стекло.

Они и без того были близки к цели путешествия. Командующий гвардейской танковой армией имел привычку устраиваться вблизи передовой. Легонько подрагивала земля, и, ощутимые телом, доносились артиллерийские перекаты. Времени хватило в обрез, чтоб сменить пимки на несколько подсохшие сапоги.

5

Шестеро нарядных гусей полутулузской породы дружным гортанным клекотом приветствовали прибытие гостей, да еще встретился знакомый полковник из разведки, он и повел приезжего в штаб армии. В баке кончилось горючее, они решили пойти пешком. Можно было обойтись без провожатого: лишь у одной хатки, прижавшись к стенке, торчали два броневичка, ходил важного обличья часовой, с крыльца то и дело сбегали озабоченные люди, и сюда отовсюду сходились толстые резиновые провода. И пока шли, выбирая, где посуше, через лазы в плетнях, мимо замаскированных управленческих танков и крестьянских бомбоубежищ, строенных из поленьев и кукурузной соломы, стали известны лытошинские новости. Ночью, в самую метель, немцы форсировали Криничку и снова заняли Великошумск.

Оживление обозначилось неделю назад, когда Манштейн попытался продавить нашу оборону под Озерянами, на юге. Наступила напряженная пора, и те, кому проездом на Черноморье доводилось лакомиться сладчайшей здешней вишней, никогда не подозревали стратегического значения Великошумска для победы. Трое суток сряду немцы бомбили передний край и потом неизменно к сумеркам, близ шестнадцати часов, кидали в это крошево танки — с намерением зацепиться ночью за раскисший противоположный берег речки. К переправам спускались тигры и фердинанды со всякой бронированной мелочью в их надежном полукольце; их встречали плотным огнем и уже положили много, в иные дни до полусотни подрывалось на минных полях, но они напирали вновь по инстинкту саранчи: задние достигнут цели!.. Защитники рубежа стояли крепко, они выходили в поединок с подвижными крепостями, они умирали, продолжая целиться из противотанковых ружей, артиллеристы повисали на своих пушках, и немецкие разведчики открытым кодом радировали с воздуха своим штабам: русские не отступают, русские никуда не отступают. Надо было выстоять и не состариться, пока продвигались другие братские фронты... Был там один знаменитейший, злой таежный охотник с Амура — «тигровая смерть» у себя на родине; он и здесь сохранил свое прозвище, но и его свалили. Происходило испытание само́й человеческой породы, и тут выяснилось, что прочнее сортовой стали смертная человеческая плоть. Буравя нашу оборону резервами, подтянутыми под

прикрытием нелетной погоды, противник за четверо суток продвинулся на восемь километров. — Все это гораздо короче, лаконичным штабным языком рассказал полковник.

— Вот этот самый ганец,— кивнул он на долговязого немецкого зенитчика, которого вели по улице,— сообщил со слов офицеров, что к исходу месяца Гитлер рассчитывает посетить Киев. Киевбургом собираются назвать! — Он усмешливо покачал головой и мимоходом заглянул в окно. — Командующий у себя... Я покину вас здесь, товарищ генерал.

Часовой по-ефрейторски откинул винтовку в сторону, и одновременно дверь пропела что-то складное и приветное домовитым бабьим голоском. Тесная, полутемная кухонька полна была военного народа. На скамье близ окошка занимался чтением сухощавый человек с костяным желтоватым профилем,— видимо, заезжий, в военной форме, артист. Трепаную — поминок от бежавших хозяев — книжку он держал в точеных чистых пальцах; судя по первой запевной строке главы, это был Гоголь... Два фронтовых майора также дожидались очереди на прием, и один натуго забивал махорку в трубочку, а другой, томясь бездельем, рассматривал иконы, заполнявшие угол и украшенные расшитыми рушниками. На нижней, освещенной тускнеющим солнцем и в дешевом золоченом киоте, безусая ангельская конница, численностью до полуэскадрона, гналась за пешими демонами, явно сконфуженными таким обстоятельством; впрочем, не атака привлекла внимание майора, а просто он пользовался стеклом как зеркалом. Ощутив взгляд на спине, он обернул молодое лицо и не очень естественно заметил что-то о плохой кавалерийской посадке ангелов.

— Ничего, юноша... все мы небритые сегодня,— усмехнулся артист к еще большему смущению офицера и, погладив желтоватый подбородок, перевернул страницу.

Три ординарца еще стояли у печки с подпухшими от бессонницы лицами. Ближний помог Литовченке отыскать свободный крючок на вешалке. В ту же минуту от командующего вышел длинный генерал, его помощник по технике. Соратники по началу кампании, они узнали друг друга.

— Вовремя, Василий Андреич. Хозяин ждет тебя. Укомплектован полностью?

— По штату. Слышал, большие дела у вас?

— Да... как говорится, бои местного значения. Третьи сутки не спим, лезут. На днях мы им такой натюрморт из двух

саксонских полков соорудили, что, кажется, следовало бы образумиться, а вот опять...

Они прислушались к двойному телефонному разговору за фанерной дверью. По академии Литовченко был двумя годами моложе командующего, вместе они еще не воевали, но он сразу различил этот глуховатый, чуть иронический голос. Пока начальник штаба, надрывая горло, кричал куда-то сквозь шумный оттепельный ветер, дозываясь какого-то Льва Толстого с левого фланга, командующий приказывал номеру 14.63, на правом, создать со второй половины дня ударную группировку и все тяжелые системы подготовить к вечернему спектаклю.

— Ну, ступай, Василий Андреич,— сказал армейский помпотех. — Сейчас он по телефону обходит свое хозяйство... Самое время знакомиться. Через часок начнется... тогда придется, пожалуй, и тебе тряхнуть своим добром!

Они условились, если посещение не затянется, встретиться в штабной столовой.

Был конец зимнего дня, когда Литовченко вошел к командующему. Не отрываясь от телефона, начальник штаба приветливо кивнул головой и, приговаривая Льву Толстому «так-так, так-так-так...», продолжал заносить в рабочую схему обстановку левого крыла на 15.00. Все насквозь пропиталось табачной гарью в этой небольшой, со следами былого зажитка комнате — дубовые столы, накрытые скатертями двухверсток, полевые телефоны шоколадной пластмассы, плохая копия униатской мадонны в углу и даже фикус, оставленный здесь, верно, для веселья, бодрости, здоровья и красоты. В щель приоткрытого окна еле струился к ногам мокрый холодок. Тонкий, уже остылый лучик солнца просекал стоялую сизую дымку и темным золотцем растворялся в стакане чая на столе у командующего... Сам он, в меховом жилете и откинувшись к спинке поповского малинового кресла, сидел вполоборота к окну; отраженные от плюша отблески лежали на его гладко выбритом и преждевременно постаревшем затылке.

Разговор подходил к концу. Как и вчера в то же время, обманчивое затишье наступило на участке 14.63. Командующий выразил сожаление, что не удалось уберечь от огня две тысячи тонн зерна, вздохнул о жителях, вынужденных вновь покидать родные очаги, не забыл подтвердить приказание о сборе стреляных гильз, распорядился узнать, в чьих руках хуторок Вышня, и позвонить ему через полчаса и в заключение

похвалил за взятые у немцев четыре грузовика подошвенной кожи. «А своей сколько оставил?.. на пятках-то цела?.. Ну, не серчай, я пошутил...» — смягчил он свой упрек за маленький вчерашний отход, и вдруг в суховатом тон его прозвучала неожиданная душевная нотка.

— Волнуешься? — спросил он, вполовину понизив голос. — Держись, я за тебя вчетверо переживаю. Что? Я и сам знаю, что немца много... — соглашался он и рисовал все тот же синий ромбик на карте перед собою, среди сложных пунктиров и цветных границ войсковых подразделений; уже бумага продавилась в этом месте, а он все чертил, подсознательно выражая этим тяжесть вражеских танков, навалившихся на 14.63. — Раз много, значит, мишень шире, это хорошо... а? Погоди, погоди, да ведь и ганец-то не тот пошел: устал, боится. Завтра его станут запросто резать финками на всех перекрестках Европы! Ну, рад за такую ясность твоей мысли... Танки, как раньше сказал, буду выдавать из расчета — сколько подобьешь, столько и получишь. Каждую минуту гляжу на тебя. С тобой всё! — Положив на подоконник трубку, он отставил туда же нетронутый стакан, а оранжевое пятнышко заката так и осталось лежать на карте.

— Трудно ему сейчас,— вслух подумал командующий. — Да еще одна, моторизованная, из Дании подошла...

Прежде чем повернуться к приезжему, он долю минуты, опершись локтями о карту, смотрел на квадратный кусок Украины, положенный перед ним на столе. Если бы не пальцы, разминавшие папиросу, можно было бы думать, что он задремал. Из личного опыта Литовченко знал то особое состояние человека на большой командной высоте, когда вдруг как бы оживают эти беззвучные иероглифы, значки и цифры, приходят в движение, ощутимо заполняя все извилины мозга. Тогда одновременно, как в магическом стекле и лишь в приуменьшенных дальностью масштабах, выступают самые мелкие подробности минутки перед вражеской атакой... Чавкая, ползут запоздалые бензиновые цистерны, и жжет их на шоссе вражеская авиация; со сдержанным чертыханьем вязнет по колено в грязи мотопехота; и самоходное орудие завалилось в трясину, проломив мост — никаким полиспастом не вытянешь его до ночи; в поту геркулесовых усилий люди тащат боевое питание своим машинам; ремонтники крадутся к подбитой вчера самоходке, прячась от минометов в тени тягача... А где-то рядом прокладывает трассу вечернего удара немец-

кая разведка, а фокке-вульфы, как комары в закате, толкутся над передним краем, и куда-то пропала полусотня разнокалиберных немецких танков, что час назад пробиралась вот этой лощиной, отмеченной синим карандашом; из них двадцать четыре зверя покрупнее завернули за рощу, в засаду, а мелочь с неизвестным намерением спустилась к разбитой переправе и рассеялась по осеннему туманцу в ничто. Тонны этого свежего германского хромоникеля давили на плечи командующего, отчего, казалось порой, легче было бы, если бы все они прошли через самое его тело.

— Сергей Семеныч... командир отдельного корпуса прибыл,— осторожно подсказал начальник штаба.

Командующий привстал навстречу, и Литовченко мог оценить по его несвежему лицу, чего стоила ему, победителю Днепра, оборона маленького Великошумска. На газетной фотографии, опубликованной по поводу присвоения ему звания Героя, был изображен нестарый человек недюжинной воинской зоркости и большого волевого нажима; этот был человечней и старше. По меньшей мере десять лет отделяли портрет от оригинала. Но с задорной хитринкой взглянули на Литовченку его светлые, низко срезанные веками глаза и читали, читали в нем все до последней, еще нынешним утром написанной строки.

— Я задержал вас, простите,— сказал он, когда Литовченко по форме представился новому начальнику. — Слышал о вас. Хорошо воевали под Кантемировкой. Мы с вами едва не встретились и на Халхин-Голе...

— Да, я командовал танковой бригадой,— уточнил Литовченко.

Их рукопожатье длилось дольше, чем требуется для обычного первого знакомства.

— Мой начальник штаба, знакомьтесь. Именинник сегодня, по этому случаю предвидится большая иллюминация в шестнадцать ноль-ноль... Что ж, подсоблять приехали? Хорошо. — Он показал на стул возле себя. — У вас красные глаза, генерал... простудились?

— Ветром надуло, товарищ командующий. Виллис!

— Тогда в порядке. Я и сам два дня с гриппом просидел... Сегодня ветрено. Ну, места тут красивые, жалко отдавать такие. Рощи, знаете, речки романтические. Например, река Слеза, пожалуйста... ваш район обороны! — И стукнул паль-

цем в голубую жилочку на карте, которую ни на мгновенье не выпускал из поля зрения.

— Мне знакомы эти места,— вставил Литовченко.

— Воевали здесь?

— Нет... но бывать приходилось.

— Отлично. Словом, не знаю, сколь приятные воспоминания связаны у вас с местностью, однако климат нынче здесь довольно жаркий...

Они посмеялись, все трое, давая время окрепнуть завязавшейся боевой дружбе. Неожиданно суховато командующий осведомился, как прошла разгрузка, кто состоит начальником штаба в корпусе и, прежде всего, много ли стариков в бригаде. Литовченко отвечал по порядку, что последние эшелоны прибыли в четырнадцать десять, о чем узнал в Коровичах, что начальник штаба — его соратник по Кантемировке, и когда говорил о стариках корпуса, мысленно видел перед собой Собольскова.

— Приятно,— откликнулся командующий и помолчал, прикидывая сроки прибытия корпуса в район сосредоточения. — Ехали через Коровичи, значит, все поняли. Напирают!.. Дорога без приключений?.. Впечатления обычные?

Оба вопроса не требовали ответа и служили лишь переходом к большому разговору, но в памяти Литовченки мелькнули письма из неметчины, девочка с бутылью, опустошенные селенья. Вместе с воспоминаниями опять смутный жар вхлынул в голову и руки, и стало невозможно не подвести беглые итоги наблюдениям дня. Что-то располагало к беседе в этой чистой хатке, похожей на домик учителя Кулькова, на исходе дня и на пороге событий. Верилось, они начнутся, едва лучик переползет с края стола на фикус и потеряется в его вислой зелени.

— Горя много причинили они нам, товарищ командующий. За пальбой как-то не примечаешь его, а как зачерпнешь в ладонь да рассмотришь одну такую гориночку... — Он сконфуженно запнулся на догадке, что никто не слушает его.

— Минуточку,— перебил командующий, коснувшись его руки, и жестом обратился к начальнику штаба: — Прикажите дать мне стотысячную карту и еще артиллерийскую, по новым ориентирам. И, кроме того, схемы всех минных полей. Вообще, я нахожу наше минирование неудовлетворительным. Разучились стоять в обороне! Я спрашиваю, как... как могла эта полусотня пройти мимо Дедовщины?.. Простите, я слушаю

вас, о чем вы начали? — вернулся он к приезжему. — Ах да, про горе. В основном это, конечно, правильное и довольно ценное наблюдение, но... А здорово вас прохватило, генерал. Вам бы спирту теперь с кайенским перцем. Знатная, едучая штука, медный таз в сито превращает... ребята у одного местного фюрера достали. Вы еще не обедали? Тогда займемся пока действительностью, а там и пообедаем вместе, если не полезут. Что-то наши кулинары при мне давеча имениннику карасями хвалились...

Он надел очки. Стало тихо, будто и не война. Из комнаты по соседству сочился ворчливый басок: уединясь, член Военного совета отчитывал одного из прибывших майоров, видимо оступившегося хозяйственника. Потом над самой кровлей протрещал самолетный винт, и прохожий мессершмитт выбросил наугад кассету мелких бомб. Одна упала рядом на огороде, все легонько дрогнуло, а лампа синего стекла двинулась на подоконнике, точно собралась ринуться вон из хаты. Командующий с укоризной взглянул на нее поверх очков и снова склонился над Украиной.

— ...следите за мной, генерал? Здесь у них шесть танковых дивизий; правда, трепаных. Скоро довоюются до сумы, битого туза по десять раз в игру кидают. Я сам эту валлонию раза три по морде хлестал... Но на днях одну перекантовали с севера, да вот, оказывается, свежая из Дании подошла. Этих предоставляю вам, лакомьтесь, генерал. Заметьте, отличная самоходная на левом фланге! Все это нацеливается... — Красный карандаш пробежал от Житомира до великой водной преграды, указывая предполагаемое направление главного немецкого удара; недосказанное Литовченко сам читал на карте из-за плеча командующего. — Вчера натиском необыкновенной плотности, в две танковых дивизии на километр фронта, им удалось...

Повторялся рассказ подполковника, но уже в точной схеме всех оперативных обстоятельств.

Итак, преследуя Германию, отходящую на юго-запад, наши передовые части задержались для перегруппировки и подтягивания тылов. Иссякала сила в железном кулаке, раздробившем киевский узел немецкой обороны, и противник стремился теперь обратить в выгоду себе эту вынужденную приостановку советского наступления. Здесь он решил огрызнуться, на рубеже неглубокой речки, внучки старого Днепра. На том этапе войны, когда явственно обозначился перевес

Красной Армии, это было отчаянье пополам с авантюрой, теперь и скромный успех окрылил бы щипаного германского орла и доставил бы ему временную возможность маневра на советские вторые эшелоны. Данные разведки, показания пленных и немецкие листовки сходились в одном: черная птица собиралась доклевывать свою жертву. Гвардейская танковая армия медленно пятилась на восток, и это походило на то, как замахивается бичом пастух, когда рукоятка еще отводится назад, а злое и гибкое жало его уже поднимается из пыли для броска вперед.

— Итак, задача вашего корпуса в том, чтобы задержать противника на этом рубеже, а когда он надпорет себе брюхо о ваше железо...

Ветер совсем стих. В природе наступила почти весенняя тишина, пронизанная спокойным желтоватым светом. Хотелось, чтобы длился вечно этот вечер, тихий и благостный дар, улыбка родины солдату, уходящему в бой. Но таяло его очарование, вдруг повеяло холодом, пора стало прикрыть окно. Лучик погас, и тотчас же, все четыре и вперебой, зазвонили телефоны. Начальник штаба взял сразу две трубки, четвертая досталась члену Военного совета, который появился следом за майором, шедшим на цыпочках и красным, как после бани.

Некоторое время все говорили — «да, да, да», отмечая передвижения противника, и видно было, как старели карты. Лев Толстой доносил справа о начале германской атаки. Семьдесят танков и около трех батальонов пьяной пехоты выдвинулись на Хомянку с намерением работать на север и северо-восток. 14.63 сообщал одновременно, что двенадцать тигров в сопровождении зверья помельче смяли минометный полк и распространяются вдоль реки. Шквальный артиллерийский огонь в центре также следовало считать предвестием удара. В целях отвлечения внимания от основного замысла вражеский нажим производился по всему фронту. Дольше всех держал трубку командующий.

— Так, понял. Сбить переднюю шеренгу танков, а пехотку накрыть легонько эрэсами. Это хорошо трезвит... Что-о?.. Трезвит, говорю,— резко повысил он голос и, рассмеявшись, дважды произнес нет и четыре раза хорошо. — Изготовить восемнадцать семьдесят и предупредить... кто у тебя, кстати, прикрывает южное направление?.. кто, кто? — Но, то ли залило провод водою, то ли раздавил его на камне броневик, слышимость становилась хуже. Приходилось криком пропихивать

приказания через оголенную, расплющенную медь,— сетка голубых жилок проступила на залысинах его лба. Потом ввязалась чья-то посторонняя речь, и командующий со сдержанной вежливостью попросил телефониста убрать всех с линии к чертовой матери. — Кто?.. Так вот, намекни твоему Литовцеву, что я его помню. Это он, кажется, удирал из-под Вязьмы?

— Нет, он из-под Ржева удирал,— вполголоса поправил начальник штаба, не отрываясь от карты.

— Виноват... из-под Ржева! Известный спринтер. Скажи ему: что́ бы он ни делал, вижу его. Итак, договорились; с тобой всё. — Он бросил трубку, хотя еще бурчал в ней голос, и зевнул широко, по-солдатски, набираясь сил еще на одну бессонную ночь.

— Что-то рано начали они сегодня,— заметил начальник штаба, справившись с часами.

— Зима. Дни идут на убыль. Немецкая аккуратность,— солидно, логической цепью пояснил член Военного совета и пошел к окну взглянуть, не морозит ли к ночи.

На улице было сыро и пусто. Синела вода в колеях. Петух с хвостом вроде бенгальского огня проследовал со своей дамской оравой на ночлег. Телефоны молчали, но ухо различало в тишине и льющийся скрежет гусениц, и задержанное дыхание стрелка, приникшего к противотанковому ружью. Литовченко успел передать через связиста в Млечное, где отныне помещался его штакор, чтобы ждали его в 18.00 и держали под присмотром левофланговый стык с пехотой его полутезки Литовцева. Немцы продолжали давление, и вот район обороны корпуса становился районом сосредоточения, чтобы завтра же превратиться в его исходные позиции.

— Так и не дали нам вместе пообедать, генерал,— сказал на прощанье командующий. — Им сегодня непременно нужно уложить очередные две тысячи своих солдат... педанты! Да и караси, верно, пережарились. Отложим это дело до Румынии. Как она там именуется, эта рыбешка, что хвалил вчерашний корреспондент?.. — Но член Военного совета промолчал: у него было своих забот достаточно, чтобы помнить названье румынской форели. — Отправляйтесь... буду звонить вам, возможно, сегодня же. — И опять чуть дольше задержал руку Литовченки. — Вы считаете выполнимой мою наметку... при таких флангах и в свете установившейся танковой тактики?

Сумерки густели быстро; вдруг, точно карликовое солнце, над столом засияла переносная лампа, знаменуя наступление

ночи. В свете ее все, включая и читателя Гоголя, оказавшегося армейским прокурором, ревниво глядели теперь на командира, вступающего в их боевое содружество.

— Я полагаю,— сказал Литовченко,— что точной науки о танках еще нет, как и во времена Камбре и Сомма. Это мы пишем ее с вами. Такой она и войдет в академические лекции. Но первые главы, на мой взгляд, составлены советскими танкистами довольно толково.

— Это верно... под Бродами, например, участь танкового сражения решили пятьдесят машин!

— Да... когда было уничтожено по полторы тысячи с каждой стороны.

— Зачем же брать немецкий пример? — возразил Литовченко. — У меня в корпусе имеются такие доценты, которые пятьюдесятью танками и без предварительной подготовки сдерживали тысячу... — И опять вихрастый лейтенант встал у него перед глазами. — Разумеется, дело это довольно суетливое... Итак, разрешите приступить к следующей главе, товарищ командующий?

Судорожно зазвонил телефон. Немецкая демонстрация отвлечения продолжалась, и хотя правофланговая атака приняла ясные очертания главного направления, внезапно на сцену появился хуторок Вышня, не имевший существенного значения в начавшейся битве. Тут и обнаружилась припрятанная противником танковая мелочь. Уже одеваясь, Литовченко слышал заключение командующего: «Нахалы... контратаковать и выбросить, исполнение немедленное». И, как отголосок приказа, раскатистый пушечный разговор возник в ясной тьме перед крыльцом, где наготове ждали машины.

6

Мерцала над горизонтом вечерняя звезда, но сотни беспокойных земных светил оспаривали сейчас ее первенство. Цветные ракеты подымались в небо, высокие пристрельные журавли шрапнелей перемежались с пунктирами светящихся снарядов, рябили небо вспышки гвардейских минометов, и вот звезда блекла, терялась в смутной пелене дыма, потому что война уже зажгла свои дикие ночные костры. Шоферы наблюдали от машин за этим пестрым фейерверком. Генерал подошел сзади. Ближний безучастным голосом доводил до сведе-

ния остальных, как хозяин вон той, наискосок, хаточки, едва придвинулась канонада, порубил своих гусей, готовясь уходить от немца... и как они лежали на пороге, все шестеро, пышные и безголовые, те самые, что криком и крыльями встречали их на селе... и как стояли молча над ними хозяйские дети.

— О гусях потом,— сказал Литовченко, открывая дверцу. — До́темна Ставищи проскочить, опасный отрезок... Показывай, шофер, свою работу!

Офицер доложил последнее сообщение рации: за исключением тридцать седьмой, размещение корпуса закончилось. Это означало, что квартирьеры развели роты по домам, если только не зимний лес стал местом их временного пристанища; ложатся в грязь все шестьдесят километров корпусного провода для связи с бригадами и соседями, варится побатальонная каша, бродят по карте карандаши и циркули, прощупывает разведка, где противник, сколько его, каково состояние его духа, готовности, оружия и сапог; то были первые обороты новой шестерни в большом армейском механизме. Машины прогрелись и вот поднырнули в сизый падымок туманца. Дорогу прихватило холодком, ехать было хорошо.

На сиденье рядом обнаружился плотный пакет, в нем мясо и бутылка какого-то трофейного напитка; так и не вспомнил Литовченко, чтобы командующий в его присутствии отдавал распоряжение об этом свертке. На обстоятельное ознакомление с ним ушло в среднем полчаса, и когда генерал выкидывал за борт бумагу, там плескалась и текла река ночи. Струились поля, уставленные куполами вроде казацких шапок — ометы бурачной ботвы, мелькал нестаявший снежок во впадинках поглубже, изредка с удвоенной скоростью проносились одноглазые грузовички с белым облачком над радиатором, потом длинные руины, руины, и вдруг душевный огонечек в уцелевшем окне, и, наконец,— встречный лесок, такой неотвязчивый, долго и вприпрыжку бежал наперегонки с машиной. В мутном слякотном стекле, вставленном в фанерную прорезь, все это сливалось в нескончаемую ленту, и начинало представляться, что уже много километров тянется стена великошумского монастырька, высокая, под небеса, с полубойницами вместо окон. Начавшийся жар и однообразное качанье преувеличивали размеры видений, еще более властных, чем днем.

«Кажется, заболеваю... не вовремя!» — впервые за сутки сознался себе Литовченко, закрывая глаза и откидываясь на заднюю стенку виллиса.

Собор кончился, а то, что вначале прикидывалось только снежком, на поверку оказалось фасадами глинобитных строений. Внутренний сумеречный свет, какой внезапно озаряет мрак усталому путнику, помог теперь и генералу различить безлюдную и как бы недосказанную окраину Великошумска. Три тополя прошумели над головой, и стал виден уютный, такой прохладный даже в нынешнюю июльскую жару домик учителя Кулькова.

«Приехали...» — вяло подумал Литовченко.

Все сбывалось немножко не так, как предсказывала утренняя догадка. Митрофан Платонович встретил гостя во дворике, в той вышитой рубахе, в какой навсегда простился с Литовченкой тридцать лет назад. Совпадение не удивляло: с годами люди научаются беречь испытанную дружбу вещей. Дворик стал пошире, и нарядней обычного распушились в нем цветастые мальвы. Друзья обнялись, но не радость, а как бы нездоровый озноб доставило Литовченке это объятие. Хозяин пошел впереди, и огорчило гостя, что ничем не напомнил о былом, не пошутил о глобусе, даже не подивился чудесным превращениям в судьбе бывшего ученика. Не было ни рассказов о прошедшем житье-бытье, ни обещанных кавунов, и в окошке ничего не было, будто в пустоте висел учительский домик.

Они сидели молча, великий вопрос читался в молчанье старика: «Чем возместит история неоплатную человеческую муку, причиненную войной? Чем вознаградит она труд современников, одетых в изорванные смертью шинели? Что там, за издержками века, за горными хребтами, на которые поднимались мы столько веков? Или ближе станет солнце к тем, кто доберется до их снеговой и все-таки земной вершины?»

И Литовченко отвечал с волнением, точно это был урок, заданный тридцать лет назад; и он знал, что старику мало только пространного отчета о материальных благодеяниях или перечисления параграфов еще не полностью осуществленной программы.

«Слушай, милый мой старик. Завтра бой, а нынче мое время — минутка. Простоим ее благоговейно у главных врат, которых мы достигли. Взгляни в звездный проем этой вечной арки, окинь глазом принадлежащие тебе пространства... Не

зарождается ли в тебе богоподобная способность реять над безднами, где ползали твои пращуры? Простор — отец крыльев. И уже не отречется от своего знания человек, как невозможно ему забыть колесо, или рычаг, или винт Архимеда, поднявшие его с четверенек».

«Я слышал это и раньше»,— сказал Кульков.

«От кого? От самого себя!.. Оглянись, трудно жили наши отцы. Даже когда плясал, бывало, под хмельком дед мой Фадеич, мне представлялось, что это он пудовыми сапогами отбивается от горя. Но никогда не покидала народ вера в правду, что постучится однажды в окошко мира. Мы решили помочь истории и сократить срок сказки... Смотри, грозные силы состоят служанками при людях, и уже протянута рука за ключиком от сокровенных тайн материи и жизни. Значит, надо спешить, пока они не стали достоянием злых, готовых ее созидательный потенциал обратить на разрушенье. Судьбу прогресса мы, как птенца, держим в наших огрубелых ладонях. Оказалось, никому она так не дорога, как нам. Преданность идее мерится готовностью на усилия и жертвы».

«Цена должна соответствовать товару»,— сказал учитель Кульков.

«Учась ходить на двух, человек ушибался больнее, но страдание не вернуло его назад, в пещеру. Кто отправляется далеко, тот обрекает себя и на лишения. Терпение — посох подвига, который награждает время... По чередованию событий трудно представить вечность, как слепому постигнуть море по соленым брызгам на губах; смертному, слабому мнится, что он живет на краю времени; боль застилает ему взор в будущее. Но когда мой танкист покуривает свою махорочку перед атакой, он смотрит вперед и как бы держит ее в руках, газетку двадцать первого века, полную великих новостей! В том и заключено бессмертие советского солдата».

«Искать друзей в будущем — удел одиночества»,— сказал Кульков.

«Нет!.. потому что никто, кроме нас, не смеет глядеть в будущее без боязни. Неодолимые резервы движутся оттуда нам навстречу. Ни с посланиями, ни с жалобами мы не обращаемся к ним. Они и без того до последней кровинки — наши. С непокрытой головой они посетят скелеты наших городов, они раскопают известковые карьеры братских могил, святая и умная печаль отуманит их сердце. Кто свалит их или прельстит соблазном скотского существования, где наука изо-

бретала душегубки, а насилие и грабеж были заповедью древних государств? Поняв все, они восславят наши горести и грубоватые песни, бедность одежды и суровый обычай времени, увенчанный победой...»

«Ты против войны!» — сказал Кульков.

«Я не собирался быть солдатом, но раз коснулись меня огнем — горе им, кто обнажил меч неправедной и неразумной войны. Нам, которые голыми руками разворотили свою темницу и вырвались на простор Океана, ничто не страшно. Что фашизм! Мы пройдем сквозь него, как сквозь дым последнего дикарского костра. Наше железо будет становиться лишь острей от ударов врага, пока не поймут, насколько оно безопасней в наших плугах и станках, чем в образе наших танков».

Больше Литовченко не слышал Кулькова. Толчок рванул его с сиденья и заставил открыть глаза. По ветлам вокруг черной воды можно было узнать Ставищи. Свет фар доставал до шлагбаума, преградившего путь. Остановка произошла в том же месте, что и утром, шагах в ста от бывшего контрольного пункта. Бешеная дрожь мотора передавалась телу; чужие не стучали поблизости, некого стало спросить — отстали или проскочили вперед. За смотровым стеклом стоял немецкий верзила, переодетый в красноармейскую шинель. Он почти не отличался от обычного регулировщика; всего их там было трое. Остальные выжидали во тьме, на краю плотины, не сводя автоматов с проезжих. У них был свой план. Никто не произнес ни слова.

Левый флажком отсигналил приказ стать к обочине. Шофер повиновался; волнуясь и рискуя сжечь сцепление, он стал делать это на больших оборотах и с пробуксовкой. Вдруг резким броском — скорее хитрости, чем даже радиатора — он спихнул двух в жидкую черноту позади, где, верно, уже лежала на дне та давешняя, воронежская, с ямочками на щеках. На мгновенье колесо повисло над бездной; в последующее, вывернувшись и выжав газ до конца, он с ходу пустил машину на опущенный шлагбаум... Никто не помнил впоследствии, гаркнул ли он при этом *ложись* или сама передалась им спасительная догадка. Последовал треск, будто с маху полоснули дубиной по фанере; звонкий холод пополам со стеклом обрушился на спины пассажиров. Их выручила накатанная в этом месте дорога... Когда шофер разогнулся на сиденье, машина вскачь неслась по краю глубокой балки, и впечатленьице было посильнее, чем самая встреча с передовым немецким

патрулем. Полкилометра все молчали, привыкая к жгучему ветру и слушая фанерный дребезг позади. Они так и не дождались автоматных очередей вдогонку; это служило добрым признаком, что немецкое купанье еще не закончилось.

— Эх, теперь совсем простудитесь без шапки,— сокрушенно прокричал шофер, удостоверясь в сохранности седоков. — Стекло в грязи, ни дьявола не видно. Зато теперь поспособней будет, круговой обзор! — И помахал рукавичкой впереди себя.

— Не дразни счастья,— проворчал капитан, обирая битое стекло с шинели и в предчувствии крупного разговора с начальством. — Второй раз оно дураку не улыбается!

— Точно,— согласился тот и плавно остановил машину. — Придется вас слегка побеспокоить... товарищ гвардии генерал-лейтенант!

Проверив на ощупь, не отвязались ли запасные бачки, он не без видимого удовольствия принялся срывать остатки фанерного короба. Делал он это со словоохотливой присказкой, понятной после встряски, но, может быть, ему и в самом деле нравилось, что и для них наконец после долгого перерыва началась война. По скату спускались качающиеся огни отставших виллисов.

— Торопятся... ничего, проскочат. Теперь ганцы сушиться в село поднялись. Нонешние воды, ой, ядовитые. Прямо скажем, иностранному телу они ни к чему.

Холод ослабел, едва движение прекратилось. Беззвездная ночь освещалась лишь заревом, которое теперь неотступно следовало за генералом. Если не считать шоферской возни да привычного в небе гудения какого-то связного шмеля с фонариком, было совсем тихо. Тем слышней доходил до сердца далекий звук, похожий на ворчанье, с каким зверь ворочает и рвет безгласное поверженное тело. Литовченке припомнились глаза старухи из Коровичей, девочка с бутылью, черная клякса на обочине шоссе, старенькая книжка в руке прокурора. Летящая гоголевская фраза вошла в него как стрела, и острие обломилось в памяти, чтобы остаться там навеки: «Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи...»

Грузный, понижающийся лай дважды пронесся над головой в ту сторону, куда в облегченном виде и двинулся головной виллис. Литовченко читал эти дорожные мелочи, как ноты с листа, завершая ознакомление с обстановкой. Германские дивизии выходили к железной дороге; назад, в Лытоши-

но, было бы теперь, пожалуй, и не проехать. Вскоре поземка побежала по полям; она превратилась в пеструю и крутую, как вчера, изморозь, когда машины вступили в расположение корпуса.

Множественный след гусениц сводил с дороги влево, во мглу горелой сосновой рощи. Деревья стояли в дряблом вислом снегу, как древние озябшие хвощи. По несмолкающему треску древесины и бормотне моторов можно было заключить, какая уйма железа размещалась там на ночлег.

Наступил поздний по военному времени час. Люди еще не спали.

7

Тридцать седьмая бригада пришла на место затемно: нараставшие события удлинили намеченный маршрут, посдвинув ее на крайнее левое крыло армии. Сразу по прибытии экипажам выдали неприкосновенный запас, а ротных командиров вызвали в батальон. Пока они на ночь глядя лазили со штабным начальством по артиллерийскому бурелому на опушке и спускались в окрестные поля, откуда ждали немца, поступило приказание закопать машины. Еще основательней этих явных признаков подсказывало старым танкистам особое обостренное чутье, что утро застанет бригаду в огне. Их невольная озабоченность, происходившая от перерыва в боевой практике, передавалась и новичкам. На марше тридцать седьмая попала под бомбежку, которую еще нельзя было считать боевым крещеньем. Прямых попаданий не было — бригада увеличила дистанцию и скорость. Кроме заклиненной осколком башни да разбитого баяна, привязанного с барахлишком снаружи, повреждений на всю часть не оказалось. На минутку в открытом люке мелькнули немецкие штурмовики, и младшему Литовченке верилось — все целились в него одного!

Смущенья от этой первой встречи он не испытал, а только боялся, что само тело дрогнет и выдаст товарищам его понятное волненье. Ему помогло одно из собольковских наставлений, какими не первый год тот воспитывал новичков: мысленно, с предельной живостью представить себе данного конкретного врага, как бы раздеть его из фальшивой славы, а затем и крушить в полную силу русской оплеухи. Литовченко

так и поступил, и опасенье, что не удастся ему довести задуманное до конца, рассеялось, и он увидел за штурвалом белесое, помятое злобой и бессонницей лицо летчика, бескостное и гнусное, точь-в-точь как у сверчка по выходе из личинки где-нибудь на гнилой картошке. И, заглянув так в его черные, расширенные движением зрачки, он понял, что этот человек умрет, не достигнув цели... Так и было. Танк слегка шелохнуло, обдало горячим ветром и глиной, и у всех было торжественное ощущение, будто война напутствовала их дружеским шлепком по броне, как рекрута бывалый солдат, принимая в свое кровное братство. Ей немедленно отсалютовали крупнокалиберные зенитные установки. Литовченко впервые видел вблизи, как самолет врылся в землю, стремясь закопать в нее свой огромный и шумный огонь... Местность позволила быстро рассредоточить колонну, ранние сумерки помешали вражеской авиации повторить заход.

Когда капонир был готов, лейтенант лично опробовал боевые механизмы; Обрядин светил ему переноской. Все находилось в исправности, не считая лопнувшего ролика ведущего колеса, но это означало лишь, что экипаж получасом позже отправится на отдых. К особой удаче для тридцать седьмой, в лесу обнаружились добротные землянки немецкой работы, построенные в начале войны, когда Германия рассматривала поход в Россию как увеселительную прогулку по славянским заповедникам. Послушав мотор, пока двести третья спускалась на дно земляного стойла, Собольков отметил, что тот работает как часы и незачем ковыряться в нем больше.

— Какое число у нас сегодня? — вспомнил он вдруг, не обращаясь ни к кому.

— Двадцать первое кончается,— ответил из потемок радист и поднес лампу к его лицу, различив незнакомую нотку в голосе лейтенанта. — Не обедали нынче... вот он тебе и показался за неделю, нынешний денек... а что?

Лейтенант раздумчиво улыбнулся, с такой недоверчивой пристальностью вглядываясь в глубину леса, что и радист невольно оглянулся туда же.

— Нет... это хорошо,— неопределенно сказал Собольков и прибавил обычным тоном, что, кроме радиста, который после ужина вернется сюда с автоматом, все смогут выспаться до рассвета; охрану нес моторизованный батальон, но лейтенант всегда считал, что предосторожность — старшая сестра отваги.

Сам он ушел от машины последним. Она стояла в земле, в уровень с основанием башни; ходовые чернорабочие части были скрыты брезентом, и снежок, процеженный сквозь ветви, уже округлял впадины на нем. Ничего нельзя было разобрать во тьме, но Собольков видел ее всю, двести третью, как в полдень. Сейчас она лишь отдаленно напоминала ту, что два месяца назад уходила в тыл, на поправку. Та была старая; перед тем семь летних месяцев, когда жара и пыль вдвое изнашивают цилиндры, она не выходила из боя. Нельзя было понять из формуляра, сколько пробежал этот железный воин по пути к победе: паспорт танка в его холщовом мешке был одновременно с командиром пробит осколком. Кашель слышался в моторе, вонючий черноватый дым валил из сапуна, стучали выношенные подшипники коленчатого вала. После каждой ездки жирная горячая испарина покрывала стенки выхлопной трубы, потому что сработались и поршневые кольца, едва хватало силы довести стрелку масляного манометра до двух атмосфер. Сдавало танковое сердце, расшатанное приключениями жаркой бранной жизни. В ту пору ничего грозного не оставалось в двести третьей, кроме надписи мелом по башне — смерть фашизму. На осмотре перед уходом в тыл кто-то выразился в том смысле, что полудохлый этот танк годится если не на переплавку, то лишь под долговременную огневую точку. Экипаж встретил обещание помпотеха выдать новую взамен таким угрюмым молчаньем, что никто не решился разлучить этих людей с их машиной. Двести третья осталась в строю.

Биография танка была написана на его броневой шкуре. Прежде чем приступить к починке, старики завода долго и почтительно читали эту краткую родословную корпуса, где каждая битва оставила свой неистовый и неизгладимый росчерк. И один, сам бывший солдат и отец трех танкистов, молча сдернул шапку с лысой головы при этом. То была высшая награда танку... Так, вмятина на башне была получена под Орлом, а сквозная, от болванки, рана в обе боковые плоскости — тотчас за Валуйками, а пушку почти на локоть обрезали на Днепре, когда противотанковая пуля вырубила ее нарезку, но, и культяпая, машина ухитрялась приставлять ее вплотную, как пистолет, ко вражескому виску... Двести третьей доводилось также возвращаться на буксире у тягача или даже вовсе без ленивца, выкинув лишние траки и закрепив гусеницу через каток... Эти пробоины, зашитые электрокузнецом из ремонтного

батальона, выглядели как ордена и медали на груди ветерана; их было девять. «Пускай добирает до десятка!» — решило начальство.

Такая привязанность экипажа к своему временному жилищу объяснялась не только воинским тщеславием. Броневая кровля, вторично пройденная по швам электросваркой в ПРБ, казалась хозяевам надежней иной новехонькой, изготовленной в серийной спешке военного времени. Даже теплилась в них уверенность, хоть и не признались бы в ней, что война уже заприметила их машину и в дальнейшем пощадит ее, со всех боков исковырянную танковой смертью. Вдобавок лейтенант обещал лично присмотреть за ремонтом, который, к слову, производили тоже очень злые на немца люди. Новая пушка грозно выглянула из бойницы, свежий мотор мог без устали носить ее по становищам врага. Кроме орудия и мотора, они заменили рацию и коробку перемены передач, и Собольков дважды опробовал машину на заводском танкодроме, прежде чем вернулся с нею в часть. Так началась вторая молодость двести третьей.

К бою за родные горы, родившие ее металл, за счастье своих создателей двести третья была готова. И если человеческий инструмент, каким добывается независимость поколений, заслуживает такого слова, то была последняя ее спокойная ночь перед рывком в бессмертие. Ей уже не довелось показать свои почтенные раны на Большом параде по окончании войны; все же ее удел был счастливей, чем у тех, чьи распиленные тела отдали огню на переплавку, как прах героев возвращают в материнское чрево земли. Советскому танкисту некогда было заботиться об отдельном куске даже качественной стали, хотя бы он весил и двадцать восемь с половиной тонн. Но, будь время обдумать заранее, как умнее обозначить в веках победу, он сохранил бы это дырявое железо как образчик вещества, из которого творится истинная слава. Он поставил бы эту тридцатьчетверку на высоком уральском мраморе, черную и страшную, как она стала выглядеть через двое суток, с развороченным лобовиком, с листами брони, порванной на бортах, и раскинутыми, как крылья, точно и мертвая она собиралась лететь в одиночку на полчища врага...

Похвала танку означает похвалу его экипажу и, в первую очередь, его командиру. Войну Собольков начал водителем на двести третьей. Тогда в бой с ним ходили другие; полностью их имена мог теперь перечислить только он один, и

как хотелось ему порою попировать с ними когда-нибудь потом за дружеским пол-литром! У него как-то вышутилось не без горечи однажды, что жизнь выбрала его мишенью для своей иронии. И правда, желания его исполнялись, но всегда в несколько исправленном виде. К примеру, он обожал сады, и в любой его сказке, какими он коротал и без того малый досуг танкиста, непременно и под разными предлогами осыпался яблоневый цвет. Судьба же два года водила его мимо чужих и горелых садов; даже выпал такой вечер в прошлом году, когда двести третья на полном газу и стреляя прошла по цветущим плодовым деревьям, и вихрь боя не сдул с нее налипших кое-где к мазуту лепестков. И когда на торжественных собраниях части он с блестящими глазами и как бы с вызовом начинал речь привычным словесным завитком: «Мы, танкисты, особый народ, бензинщики... и не зря нам завидует пехотка, хоть и не обожает стоять рядом, когда нас бомбят»,— люди верили, будто он затем и родился под солнышком, чтобы век гулять в газолевом чаду. Собольков обучался на агронома, но стать им не смог по причинам семейных обстоятельств...

В каждой сказке у него появлялось юное светловолосое существо всевозможных достоинств и не тронутое даже нескромным взором; а жениться ему довелось на одной пышной огневолосой вдове с целым выводком чужих и рыжих племянников. Семья жила на Алтае, куда он и отсылал целиком свой денежный аттестат. Взамен и изредка приходили треугольные писульки с детскими каракулями; заметили, что разбирать их лейтенанту нравилось наедине и вслух и чтобы, по возможности, листва шумела над головой при этом. Конверты бывали склеены из синей тетрадочной обложки; он прочитывал все подряд, вплоть до таблицы умножения, напечатанной на обороте... Кроме непреклонной храбрости, этот суровый, в свои тридцать лет, советский воин владел еще удивительным даром русской сказки; истоки ее терялись, верно, в таежном дымке еще ермаковского костерка. Повествуя, он обычно глядел в огонь походного очага, и у всех создавалось впечатление, что рассказывает ее не им, а в розовое ушко кому-то пятому — там, у далеких алтайских предгорий. Этот человек заслужил уважение товарищей, которое на войне труднее заработать, чем приятельство или даже любовь.

Когда Литовченко пришел сюда из танковой школы, Обрядин отвел его после первого ознакомленья в уголок.

— Как зовут тебя, парень?

— Васильем,— отвечал Литовченко.

— Вася, значит? Так вот, милый ты мой Вася,— сказал Обрядин и показал глазами на лейтенанта, который правил бритву на ремешке,— тянись и уважай этого дя́дька, парень. Он два раза горел на своей железной квартере... понятно? Про него, погоди, еще песню составят... и твои детки будут ее на Первое мая петь тоненьким голосишечком. Он этих самых ганцев массью погубил! Из кремня сделан, но имеются в нем розовые прожилочки...

Всегда себе на уме и насмешливый даже в опасную минуту, он произнес это с редкой для него серьезностью. Товарищеская оценка соответствовала воинским качествам Собольскова. Обрядин потому и принял свое паденье без обиды на судьбу и начальство, что честному человеку роль башнера на двести третьей должна была представляться повышением в его человеческой должности. Старший в экипаже по возрасту, Обрядин имел немалый опыт для суждения о ближних. Службу кулинарному искусству он начал поваренком с двенадцати лет; последующие двадцать пять лет он проплавал как бы в сладостной кухонной дреме на больших волжских пароходах, с каждым годом совершенствуясь как в добродетелях, так и в пороках,— с незначительным уклоном в последние. На вопросы простодушных, почему у него к твердой пище нет такого пристрастия, как к некоторым видам жидкой, Обрядин сокрушенно отвечал, что ею он лечит одно коварное заболевание, под названием малярия, происшедшее от долгого местонахождения у воды; малярия в нем сидела на редкость прочная, и борьбе с нею он беззаветно посвятил всю свою жизнь. Все обрядинские меню носили резко выраженный антималярийный характер, причем иное блюдо способно было одним запахом отогнать на выстрел вредного комара... Бывший повар любил вспоминать былые достижения, и члены экипажа охотно внимали ему, потому что и бахвальство развлекает во фронтовых буднях, если достаточно цветисто и не направлено в ущерб или поношение другу.

— Загибаешь ты, Сергей Тимофеич,— говаривал при этом Алешка Галышев, неизменно веселый и добродушный, тот самый, кого сменил Литовченко на посту водителя двести третьей; не затем говаривал, чтобы попридержать размахавшегося артиста, а чтобы подзадорить на дальнейшее.— Это все

красноречие твое. Кто ж поверит, что у тебя волчатину от куропатки не отличишь!

Обрядин лишь головой покачивал, горько усмехаясь на его преступное неверие.

— Разве ж я виноват, что таким красноречивым зародился? Ведь я кто!.. Я мастер-художник, и все у меня крутится. Ты мне налима дай... не теперешнего дай, у зимнего-то у него тело самое хорошее. Ты мне летнего дай, когда он в норе сидит, млеет... и он у меня будет плавать в собственном масле и смеяться. Я товарищу Семенову Н. П. живых гусей к столу подавал... понятно? Я... — Он залпом перечислял свои изобретения, и если некоторые из них не были художественным преувеличением, значит, целебный волжский воздух помогал пассажирам выносить их без вреда для здоровья. — И я могу сготовить из любого любое. А спроси меня — почему, я отвечу. Я всегда пою, когда готовлю... и весь пароход слушает меня. — Он обводил глазами затихшую землянку. — Это верно, голос у меня немножко сильный... запою — лампа в каюте гаснет, но пою я хорошо.

— Поешь ты — ровно яичница скворчит на сковороде, вот как ты поешь! — позже, через год, прерывал его Андрей Дыбок, новый радист на двести третьей. — Тебе только в печку петь... и то, как в Германию взойдем, для острастки населения. Свои же могут слушать тебя только под хлороформом. Протрезвись, милый русский человек!

Поглаживая небритые щеки, Обрядин подолгу глядел в грязный, затоптанный пол, прежде чем поднять глаза на обидчика.

— Эх, парень... гроб и тот серебром оклеивают, а тут сердце с тоскою перед тобою лежит... Соври, укрась, непонятливый! Вот и красивый ты, а холодный — не погреешься о тебя. И слова твои жесткие, колючие... из них только настойку от клопов делать!

Разговор таким образом упирался в отвлеченные темы, и тогда, чтобы не плодить разногласий, вмешивался Собольков.

— Ладно, хватит тебе, Обрядин. А ну... скажи з а ж и г а л к а!

— Ну... ж и ж и г а л к а, — старательно и сначала сосредоточась, чтобы не промахнуться, выговаривал башнер, и это служило верным признаком, что уже завелась у него очередная приятельница в окрестности, мастерица хмельного зелья.

Как всегда, Собольков пророчил в этом месте, что еще доведется Обрядину поразвлечь пехотку своими приключениями, и беседа мирно возвращалась в прежнее русло: какова должна быть плотность электролита в аккумуляторе при морозе, больше или меньше сорокà, или — что за вещество такое в нынешних снарядах, от которых свеженькие танки разваливаются в железную щепу.

Обрядин любил песню, но слушать его полагалось в землянке в ненастный вечерок и желательно в канун большого военного дня; поэтому и невозможно было ему прославиться пением, равно как игрой на трофейном, с перламутровыми пуговицами, полбаяне, разбитом при бомбежке. Сей незадачливый повар знал много песен, шуточных и сиротских, украинских, татарских, даже башкирских, в особенности часто доставалось от него грузинке Сулико,— и все получались у него на один манер, во всех одинаково поскрипывала старинная русская рябинушка. Голоса ему было отпущено достаточно, даже больше положенного по норме, но репертуар свой он выполнял с такой натужной и щемящей хрипотцой, что всякий раз приходилось заново привыкать ко вступленью. То бывало не менее трудно, чем выйти из теплого дома за околицу и отдаться на милость мокрого осеннего ветра. Зато, привыкнув, уже нельзя было оторваться от обрядинской песни, где каждый слышал свое, одному ему желанное.

Когда Сергей Тимофеич заводил ее, полузакрыв глаза, укрепя локоть на колене и зачем-то кончиками пальцев держась за мочку уха, чудилось всем — какой-то иной, прекрасный голос вторит певцу от своей беспокойной силищи, которой нипочем любой всемирный подвиг. Иностранец ни черта не понял бы в этой тайне — откуда оно берется, влекущее и странное очарование русской песни, потому что не в звуках тут дело и не в словах; к тому же их без зазренья совести всегда перевирал Обрядин. Нет, например, и не было такой песни на свете —

...в низенькой светелочке огонек горит,
молоденькая пряха за столом сидит,
а ветер занавесочку тихонько шевелит... —

как равно и припева к ней — «лодка да сети, сети да лодка», в рамку которого он неизменно заключал начало и конец. Но неспроста однажды после такого концерта обронил с затуманенным взором Собольков, что Россию следует любить именно

в непогоду, а при ясном-то солнышке она и всякому мила! Плотный, плечистый, щекастый, Сергей Тимофеич всегда уставал от песни.

Будучи женат, но по условиям деятельности находясь в разъездах, Обрядин постоянного местожительства не имел,— и все же в любом климатическом поясе мог бы он обрести верное пристанище под старость. Из всех больших и малых населенных пунктов, где случалась хоть трехдневная стоянка, наперебой приходили к нему тихие и благодарные бабьи послапьица без упреков или напрасных надежд. Зная наперед их содержание, Обрядин их не хранил и, кажется, даже не читал: сердечные свои дела он считал нестоящими пустяками. Про жену он говорил со сдержанной жалостью, что она еще подождет его лет двадцать, а потом умоет проплаканные глазыньки и еще лет десять подождет.

Хотя он секретами ни с кем не делился, догадывались, что сердце женское он брал именно на песню, как уточку на манок: жертвам его нравилось, что про грустное поет, а сам улыбается... Каждый член экипажа мог в подробности рассказать жизнеописание соседа: в танке рождается особая братская связь, которой даже оскорбительна была бы неосторожная посторонняя похвала. Поэтому повар и не любил передавать в подробностях, как целых три километра тащил из боя Алешку Галышева и как добило Алешку осколком мины у него, у Обрядина, на спине.

Стало все известно и про Андрея Дыбка, хотя и слыл выдающимся молчальником; шутили, что даже в школе он избегал отвечать устно, а стремился — письменно. В корпус он пришел из артиллерии, где потерял мизинец на левой руке. Думали, что этот изъян, нанесенный его стройному, гибкому телу, и является причиной его особой ненависти к немцам, одетым в военную форму. На самом деле молчание вошло в него несколько раньше, когда оккупанты растерзали на Кубани его сестренку, студентку архитектурного вуза, и умер от горя его отец... Сблизился он только с покойным Алешкой, и то — как выяснилось, что тому известен адресок сестры, в переулке у Савеловского вокзала, куда неоднократно провожал ее после театра. Галышев узнал невесту по фотографии, наклеенной в танке возле листа с позывными и рядом с одной необыкновенной красоткой из американского журнала. Судя по хрупкости сложения, эта маленькая киноактриска квартировала, верно, в какой-нибудь апельсинной роще посреди

Флориды, совместно с заграничными мотыльками, неживучими в наших русских снегах. Товарищи терпели помянутую картинку, ежели она помогала их стрелку-радисту в бою. Только раз, дивясь такому постоянству в привязанностях, попрекнул его мимоходом Обрядин:

— Эх, нашел себе... влюбился в статуеточку. У ей же головка глиняная. А доверился бы ты мне, Андрюша... выбрал бы я тебе заволжскую королевну. Засмеется — пар из-под мышек идет... понятно?

— Пар из-под мышек не может идти. Этого не бывает,— разумно и жестко возразил Дыбок,— если только ты не на русской печке хочешь меня женить.

С той поры экипаж примирился на мысли, что если бы эта американская, сливочно-волшебная штучка узнала про выбор русского танкиста, про высокую честь находиться в советской тридцатьчетверке, пела бы втрое лучше свои песенки и человечной тревогой наполнились бы ее праздничные глаза, беспечальные ее ночи.

С гибелью друга стала еще заметней замкнутость Дыбка. Все считали его старше двадцати шести лет. Врага он разил по-прежнему и как-то очень спокойно, но не по равнодушию, невозможному при его горячности, а потому, что это умножало меткость его руки. За полгода дружбы Галышев выцедил, однако, из Дыбка, что побывал он и столяром, и слесарем-инструментальщиком, причем добился шестого разряда; пробуя силы в сельском хозяйстве, скосил однажды двумя комбайнами сто два гектара и, наконец, в качестве мозаичника выложил знаменитый пол на консервном заводе у себя в Крымской: только в валенках по нему ходить, из опасения попортить или оскользнуться. Семьи у него не было, он не торопился, он пока только примеривался к жизни, и все почтительно понимали, что этот аккуратный, всегда такой чистый и как бы со стиснутыми зубами человек успеет совершить на своем веку все ему положенное, отомстить за мертвых, запомниться живым, размножиться в потомстве, да еще останется время подвести итоги.

— Орел, казацких кровей... я таких знавал,— говаривал Обрядин при Дыбке. — Вижу тебя, как ты в Кремль по ковровой лестнице поднимаешься. Я к тебе тогда в гости приду, Андрюша... и пусть твоя дочка мне сто грамм на серебряном подносе вынесет. Не прогонишь?

— Приходи,— совсем серьезно отвечал Дыбок.

Всё это были вполне обыкновенные люди, и Литовченке лишь потому представлялись особенными, что он их разглядывал вблизи, как бы через увеличительное стекло. Он пришел сюда простоватым пареньком, таким молодым, что еще помнил наперечет все прочитанные им книжки. Так и ждал бы он у себя на деревне часа, когда по приходе Красной Армии вызовут его повесткой в военкомат, если бы не происшествие с куренком, о котором в ночь разгрузки рассказал генералу Обрядин. Ударь немецкий офицер его мать, паренек убил бы его сзади, без раздумий, как падает камень с горы, и все закончилось бы на протяженье вечера. Но тот лишь замахнулся, и мать так странно, точно хватаясь за соломинку, взглянула на сына, который с топором стоял у калитки и деревянно улыбался. Только через час внезапная ярость на свое постыдное бездействие вытолкнула его, дрожащего, из дому. Он не мог простить себе минутки неуместного молчанья, он искал обидчика и плакал от злости при этом. Удачливая звезда увела того из деревни. Это была самая длинная ночь в жизни Литовченки. Поочередно, то белесый и стриженый немецкий затылок, то боязливые глаза матери — не за себя, а за последнего своего хлопца! — плыли перед ним в тумане. Близ рассвета попался ему на опушке свежий, похожий на затылок немца, белесый пенек; Литовченко всадил в него по обушок свой топоришко и, может быть, ждал, что тот застонет... Так из полудетского стыда и муки родились решимость воина и достоинство человека. Он не вернулся к матери на печку. Но еще целый месяц дразнила его война, заставляя без выстрела валяться в партизанских дозорах, пока не послали с поручением на линию фронта. Специальность тракториста определила его дальнейшую судьбу. Танк и раньше привлекал его мальчишеское любопытство; танк показался ему чудом, едва он понял, что этим комбайном можно собрать десятикратный урожай мщенья.

Новая его семья так и не поняла, в чем тут дело; на войне некогда решать сложные душевные уравненья. Его крайняя молодость заставляла сомневаться в стойкости новичка, имевшего всего десять часов самостоятельного танковождения. Да и представился он этим обстоятельным, требовательным людям словами — «сержант Литовченко прибыл», упустив положенное — «для продолжения службы». Дыбок даже проворчал что-то про пупсиков, которые норовят потом завести танк в трущобинку, чтобы отсидеться от боя. К счастью для

него, Литовченко не понял. И только Собольков, рассмотревший злую искорку в его зрачке, оценил человеческую добротность этого юного паренька с румянцем и бровями девушки. На досуге тыловой стоянки он терпеливо делился с ним всем, что познает мастер в долговременном общении с материалом. Здесь были не только проверенные танковые истины, вроде тех, что танк с плохим башнером — железная телега, а при плохом водителе — мишень с пушкой, или что в танке гореть не страшно, если метко стрелять до последнего огонька. Командир научил Литовченку искать большой политический смысл в самой малой порученной ему задаче. И лишь после усвоения всех танковых основ он подарил ему, как брату, главный секрет победы, который усталому мускулу придает хромоникелевую прочность.

— Считай то место, Вася, где ты находишься, за самую главную точку на земном шаре... а все остальное — только прилежащие окрестности. И думай, что нет тебя важней во всемирной истории, которая тебе это самое дело поручила. Потому что история, милейший Вася, это тоже танк... держи крепче руки на рычагах!

Остальное — как натянуть сбитую гусеницу в бою или отремонтировать сцепление — Литовченко знал и сам. Все же, для проверки, Собольков в первый же день приказал ему завести мотор на двести третьей, только что вышедшей из ремонта, и провести машину через заранее намеченные препятствия... Танк плавно поднялся из капонира, слегка встав на дыбки, как бы учуяв волю нового хозяина, и все отметили, что водитель не помял вишенки при этом, стоявшей по левому борту. «Ничего, подходяще... действуй так!» — одобрительно молвил Обрядин, словно Литовченко мог слышать что-нибудь за гулом своего железа. С высокой церковной паперти экипаж следил, как, перевалив канаву, танк вошел в поле, спустился в указанную балочку, пропал на минуту, и когда все решили, что заглох у него мотор, с дельной сноровкой принялся карабкаться вверх по крутой и вязкой глинке; утром прошел дождь, всюду солнце сверкало в лужах... Обратная дорога была прямая; согласно условию, Литовченко дал полный газ. В сущности, испытание закончилось, Обрядин полез за табачком. Покачивая пушкой, не сбавляя скорости даже в виду села, машина неслась обратно, когда одно непредвиденное обстоятельство заставило умолкнуть всех, даже

ребятишек, собравшихся в изобилии насладиться зрелищем гонки.

Улицу переходил котенок. Никто не обратил внимания, как он появился на пути танка. Осторожно, стараясь не запачкать лапок, он перебирался через изрезанную колеями дорогу. Грохот приближался, но котенок не ускорял походки; состоя в коротком знакомстве со всей бригадой, он чувствовал себя в доброй безопасности; хромота на левую заднюю ногу также замедляла его путешествие. Зверь был явно нестоящий, его и разглядеть трудно было за пластами глины, а водитель торопился завоевать доверие экипажа. Стало поздно спасать котенка или хотя бы кинуть щепкой, если бы нашлась поблизости. На мгновенье все как бы выросли на вершок, и тогда Литовченко, сработав рычагами, ловко, как пулю, провел свои двадцать восемь тонн в узкий промежуток между ветхим колодцем и дурашливым существом, невозмутимо продолжавшим прогулку... Это и был Кисо̀, пятый, сверхштатный, член экипажа.

Если бы не война, где особо ценят всякое проявление жизни, Кисо̀ не сделал бы такой карьеры. Был он головаст, кошачьей грацией или подхалимством не обладал и вдобавок отличался крайне непрактичной бело-рыжей мастью. За ухом у него образовалось несмываемое пятно от ласкательных прикосновений танкистских пальцев. В штаб корпуса эта смешная фигура пришла из сожженной деревни, где еще дымились головешки,— ее последний житель, вышедший приветствовать освободителей! Нельзя было немцам ни сожрать его, ни угнать на каторгу, и, видимо, убийца пожалел на него патрона. Кто-то сунул зверя за пазуху, скорее для забавы, чем из милосердия; через неделю ему подбили ногу при бомбежке на Кромской операции, а фронтовики умеют окружать незаметной и трогательной заботкой всякого, кто делит с ними опасности военного существования. По-видимому, новое его имя было образовано из слова К а ц о — друг. Кисо̀ быстро сдружился со всеми и если не дремал на кухне, обдумывая очередные мероприятия по борьбе с мышами, от которых в том году приходилось даже окапывать землянки, то изучал окрестность, навещал в непогоду часовых или запросто заходил в штаб посидеть у главного хозяина на карте. Лично ему больше всего нравилось, чтобы член Военного совета гладил его своей пятерней, способной привести в замешательство любого нибелунга. Однако после того как Кисо̀, решив поделиться с хозяином добычей, разло-

жил у него рядком на байковом одеяле шесть штук безжизненных мышей, его постиг гремучий гнев богов. Случилось это ровно через сутки после обрядинского падения: они как-то снюхались в тот горестный вечер, и оба решили, что штабная работа не соответствует их деятельным натурам. К сожалению, Кисо̀ малярией не болел и с негодованием отверг те пять капель обрядинского лекарства, которые башнер якобы пытался влить в горло приятелю. Впрочем, иные шутники по-другому объясняли происхождение царапин на обрядинском лбу: Обрядин покидал на селе двух красоток разом.

С тех пор Кисо̀ поселился на боеукладке, в пушистой шубе одного немаловажного итальянского чина, сбиравшегося присоединить к Италии Сибирь. Не загадывая наперед, кто приютит его, хромого и безродного, по окончании войны, Кисо̀ участвовал во всех операциях корпуса и через Днепр переправлялся сквозь такой шквал огня, что танкисты предполагали выдать ему голубую ленту на хвост... До него в любимцах двести третьей состоял медвежонок, оказавшийся непортативным в условиях походного существования. Его целую неделю с успехом заменял один беспризорный гусь, Петр Григорьич, но, как на грех, тут подоспело празднование по поводу вручения гвардейского знамени, а дружба человека с гусем всегда носит несколько односторонний характер; к тому же Петр Григорьич был ужасный крикун... Кисо̀ содержал в себе достоинства, отсутствие которых в такой степени повредило его предшественникам. Вдобавок, будучи философом, он разбирался и в людях; так, он не одобрял порывистых замашек стрелка-радиста, зато очень ценил в механике-водителе его склонность к раздумьям, позволявшую подолгу сидеть на его теплом, удобном колене... И в ту ночь, в канун последнего боя двести третьей, едва Обрядин ушел наверх сменить Дыбка, Кисо̀ немедленно перебрался под шинель к Литовченке.

Тот спал неспокойным сном. Вереница людей в чужой зеленоватой одежде уходила от него в обратную сторону; он видел ее из танка с расстояния, как раз необходимого для разгона. Сердце немело от ненависти, а нога судорожно выжимала полный газ, но никакая сила не могла сдвинуть пристывшего к месту железа... Обветшалый накат землянки, источенный мышами, пропускал влагу. С вечера никто не заметил капели. Вещевой мешок под головою просырел с одной стороны. Литовченко открыл глаза и сел на нарах. Рядом неслышно спал Дыбок, такой же подтянутый и статный, словно и во сне взбирался

по ступеням большой жизни. Тягостный мглистый свет утра пробивался в продолговатую щель окошка, окаймленного снежком. Освещение было недостаточным, и горела свеча. Огарок стоял между квадратным зеркальцем и лицом Сболькова, который брился. Он совершал это старательно и не спеша, следуя правилу: любое дело исполнять так, как если бы в ту минуту оно было самое важное на свете. Он слегка улыбался при этом, словно видел что-то дополнительно в стекле, тесном даже для его собственной щеки. Как всегда, он поднялся раньше всех, и уже посвистывал чайничек на печке, сооруженной из немецкого бензобака.

— ...пора?

Сбольков ответил не сразу, а может быть, просто голос его должен был просечь какие-то необозримые пространства, прежде чем достиг Литовченки.

— Теперь скоро начнется,— отвечал лейтенант, возвращаясь, но улыбку оставил там, где-то в предгорьях Алтая. — Здорово ты бился во сне... испугался чего-нибудь?

— Бык меня бодал. — Ложь ему далась легко, тем более что до события с куренком это детское приключеньице оставалось самым страшным из его снов.

— Так вот, ничего не бойся, Василий,— сказал Сбольков, намыливая другую щеку. — Страх, это... как бы тебе сказать, тоже вроде уважения,— только пополам с ненавистью. А фашиста уважать не за что, проверенную правду тебе говорю.

— Ничего не боюсь,— твердо, как в клятве, сказал Литовченко.

— Не зарекайся,— продолжал Сбольков и брился начисто, точно на смотр отправлялся или свататься к невесте. — Я и сам этак-то в первом бою!.. а как зачали огоньком по стенкам стучать, чую... лицо у меня нехорошее стало, низменное сделалось у меня лицо. И тогда стало мне так смешно на себя: для каких еще дел, важнее, мне себя беречь! И тут второе правило: как нахлынет на тебя это самое, т е л е с н о е, ищи кругом смешного... война любит иной раз крепко посмеяться!.. К примеру, теперь уже можно сказать, очень я у себя, на Алтае, этим манером итальянцев уважал. Немца-то хоть на Волге видал,— ничего особенного, только окурков наземь не кидают,— а этих еще не доводилось. Было время, весь мир под себя подмяли... Правда, мир тогда невелик был, в пол-Сибири!.. И вот, как посекли в тот раз Италию русские тан-

кисты, взяли мы в плен трех ихних генералов... в Венделеевке, под Валуйками. Там еще конница Соколова из шестого корпуса действовала, только ее мало было...

— Ну-ну... генералы-то! — жарко, как всегда слушают новички, напомнил Литовченко, придвинулся ближе и машинально погладил голый подбородок.

— Куда!.. Тащились они, бедняги, пехом сто километров, подзябли, конечно. Младшенькому из них пятьдесят четыре годика. Ну, привели, выдали им по сто грамм... Усы гладят, оттаивают помаленьку, очень были довольны. «Мы, в Италии, говорят, не любим, когда холод». — «А пес его любит, отвечаем, с непривычки-то!..» И каждый записал себе на бумажке, кто его в плен взял, на память. И меня тоже записал один...: страшенный такой, лицо вовнутрь продавлено, и оттуда волос жесткий, как из дивана. Говорит мне по-своему: хорошо, дескать, воюешь. «Ничего, отвечаю, если потребуется, еще раз в плен возьму... пожалуйста! Что рано отвоевались, спрашиваю, мы только в разгар входим?» Молчи-ит, стесняется... — Собольков встал и погасил свечу. — Вот она какая, война-то!

Свету в окошке прибавилось. Время не торопилось. Собольков успел вытереть лицо и, завернув старенькую бритву вместе с огарком в тряпочку, спрятать их на дно походной сумки, когда вошел Обрядин. Он принес с собой лишь одно слово, но сразу все от него пришло в движение; Дыбок был уже на ногах, точно только и ждал тревоги. Литовченко обвел всех щуркими вопросительными глазами: ему казалось, что это начинается иначе. Он слышал, будто в последнюю минуту перед боем обычно пишут письма на родину или заявления в партию, и даже заготовил для колхозных подростков, с которыми недавно гонял голубей, прощальную фразу, полюбившуюся ему за красоту: «А больше писать нечего, идем в бой». Второпях он поискал взглядом, с кем бы обменяться адресками, чтобы сообщили родным, если чтò... но каждый заканчивал свои личные дела без признака волнения даже, только стали на минутку суровее, как перед дальнею дорогой, и он понял: именно здесь глубже всего понимают жизнь и даже мысленно не называют имени ее могучей соперницы... Все были готовы, и еще осталось маленькое время на вопрос, возникший у Литовченки при пробуждении. Ему заранее хотелось узнать, слышно ли из танка, когда гусеница наезжает на человеческое тело, хотя помнил из рассказов, что железо станковых пулеметов беззвучно гнется и сплющивается при этом.

Вместо лейтенанта, который застегивал шлем у подбородка, утолить его любознательность вызвался Обрядин.

— А это смотря по тому, милый ты мой Вася, кто и в каком чине тебе попадет,— с видом опытного знатока таких дел пояснил он. — Мелкий, например, фашист попискивает, деликатно так пищит; покрупнее — тот уже похрустывает... Понятно? Что касается самых важных, надутых — те под тобою только лопаются, подобно как рыбий пузырь... Приходилось тебе большую рыбину потрошить?

Насмешливые и только чуть более обычного блестящие глаза смотрели отовсюду на Литовченку. Все по-разному и неправильно оценили его смущение. Собольков дружественно коснулся его плеча:

— Ничего, это сейчас пройдет. Это и есть телесное. А ну... по машинам!

Дыбок пихнул дверь ногой, серенькое утро охватило их пронзительной сыростью. Литовченко услышал знакомый, как бы утолщающийся свист, и хотя кто-то пригнул его вниз, воздух с маху ударил ему в уши и по глазам. Когда он снова открыл их, земля уже оседала; длинная жердистая сосна, треща и сбивая сучья с соседей, падала прямо на него. Вершина ее с нахлестом легла на мокрый снег, но оказалось далеко, и брызги не долетели.

— Чего, война, кланяешься? Уж виделись... — сквозь зубы сказал Обрядин и, потянув носом воздух, озабоченно вгляделся в глубину леса. — Щами пахнет. А ведь это, пожалуй, щи погибли, товарищи. — Потом лицо его прояснилось. — Нет, то не щи... при щах Иван Ермолаич состоит, а ему ворожейка нагадала сто лет жить да сто на карачках проползать... Ворожейкам веришь, лейтенант?

— Не трепись,— сухо сказал Собольков.

Иван Ермолаич был батальонный повар, который, вскоре после появления нового башнера в бригаде, стал страдать приступами неизвестной болезни. Наверно, то была малярия, как верная собака бродившая по следам Обрядина.

8

Противник стремился прощупать границы расположения корпуса.

Слабое и множественное гуденье висело над лесом. Невысокая облачность мешала разведке спуститься ниже. Изред-

ка между деревьями вставали тугие жгуты как бы из железных опилок, скрученные свирепой магнитной силой, но в узкой щели перед собою Литовченко не видел ничего, кроме угла землянки, где провели ночь, да приникшей вплотную ветки лесной калины с красными, водянистыми от заморозка ягодами. Моторы работали на малых оборотах, зенитки молчали. Экипажи наготове сидели в машинах, только командиры поглядывали из башенных люков. Время от времени, заслышав свист, Собольков оповещал своих: «Держись, хлопцы!» — и опускал стальную вьюшку над головой. Следовал гулкий раскат пополам с древесным треском; всякий раз после того чуточку светлело, как всегда бывает на лесосеках. Летчик бомбил вслепую. Унизительное, даже подлое самочувствие мишени зарождалось от вынужденного бездействия; было томительно наблюдать из дрожащего от нетерпенья танка, как пешком тащится время.

Чтоб побороть гнетущее чувство холода и неизвестности, Собольков вторично и в деталях разъяснил боевую задачу: вместе с первым эшелоном прорваться сквозь пятиминутный заградительный огонь к переправе в направлении геодезической вышки, видимой отовсюду, и ждать второго сигнала в низинке у речки Стрыпи, где изгиб русла и обрывистые берега надежно укрывали от обстрела. Позже надлежало взять на броню мотопехоту, чтоб по красной ракете совместно ринуться на передний край врага,— передовая проходила в двух километрах оттуда... Так ждали они знака к выходу, но его не было. Самолеты ушли, в танк сочилась разноголосая, похожая на шепот, перекличка инструментов войны. Уже раздумывали, как скоротать время, пока приказ от верхнего Литовченки докатится до Литовченки, находящегося внизу. Вдруг два беззвучных от внезапности смерча поднялись по сторонам ночной землянки и, ухватив ее с подмышек, вышвырнули наверх со всем деревянным пожитком. Как бы понукая к действию, воздушная волна толкнула двести третью, мотор заглох, и та же как бы ухмыляющаяся сила раздавила ягоды калины о триплекс; было видно, как розовые звездочки текли, пересекая смотровую щель. Дальнейшая стоянка делалась опасней самого боя. Собольков увидел комбрига, который бежал вдоль капониров, махал рукой и кричал: «Пошли, пошли...» Тотчас же, взревев и давя пеньки, штук тридцать приземистых тел стали вылезать на поверхность.

Успокоенье пришло, как только покинули свои ямы. Танк до краев налился металлическим звуком, все пропиталось им

до последнего болта; Литовченке казалось, что и сам он начинает звучать в ноту со своим железом. И стало совсем легко, когда еще не заслеженное поле открылось за опушкой. Далеко впереди маячил сквозной удлиненный треугольник вышки, куда шли, но ближайшим ориентиром движенья был пока разрушенный домик, который на карте числился цветущей, в яблонях, усадьбой. Иные недолговечные деревья, сменившие их, изредка возникали теперь в слепящем, после лесных сумерек, утреннем пространстве; было что-то собачье в том, как они с громовым лаем перебегали с места на место, потрясая черной, неистовой листвой. Количество их удесятерилось, едва последние танки первой очереди покинули лес. Одно выросло как раз по левому борту, самое гривастое. Большой осколок с близкой дистанции ударил двести третью в лобовик над водительским люком; она шатнулась, сразу отемнились все смотровые щели. Отбитая покраска пополам с искрами, как показалось Литовченке, больно стегнула по лицу. Танк продолжал свой бег, и Собольков уже не сомневался в водителе; он не знал, что за мгновенье перед тем новичок сорвал кровяную мозоль о рычаг правого фрикциона, и эта маленькая боль в ладони спасла его от неминуемого шока... Двести третья извернулась, нырнула в кромешный мрак, и в момент разворота, сквозь падающую землю, Литовченко увидел всю шеренгу своего эшелона.

Она весело мчалась по бескрайной пойме, в проходах среди минных полей, заранее обозначенных хворостинками; пестрый вал метели оставался позади. Они мчались, поминутно меняя курс и словно издеваясь над неточным боковым обстрелом, почти в ровном строю, кроме нескольких машин, что несли на себе груз саперного леса; одна, самая быстрая, уже пылала, но ускоряла бег, как бы в надежде сбить пламя ветром... Мчались, покачивая пушки и пока без единого выстрела, потому что ничего не было впереди, а только серенький предзимний пейзаж с рваными, еще дымящимися проталинами да еще высокий противоположный берег с висящими над ним дымками. Передние уже вступали под его укрытие, и, как бывает иногда в начале боя, обстановка и местный замысел командования стали до мельчайшего штриха понятны самому неопытному солдату, но не разумом пока, а каким-то первичным физическим ощущением.

За ночь немцы форсировали Стрыню дополнительно и на южном участке, пробив еще километр в нашей обороне.

Сплошная завеса заградительного огня сдерживала их левофланговый напор, и не стоило гадать, что случится, если устанут пушки или приостановится поток боепитания. Крохотный плацдарм оставался за советской пехотой на том берегу, все стреляло там. Под прикрытием ее смертной доблести и готовила свой маневр тридцать седьмая. Таким образом, получалось центробежное вращенье двух полярных воль, где осью служил домик садовода и где запоздавший обрекался на окружение и гибель. Именно в это место на карте и смотрел сейчас большой Литовченко на своем КП... Там, наверху, уже начался военный день, а здесь, под обрывом, было еще тихо, «как в раю во время землетрясения», по определению Обрядина, когда экипаж вышел из танка помочь саперам. Сложив оружье в сторонку, мотопехота совместно с ними прорубала крутую дорогу сквозь нависшую осыпь или подтаскивала к мосту многометровые тесаные брусья; они представлялись лучинками в присутствии самоходных орудий, тридцатьчетверок и танкеток, что в просторечии войны зовутся малютками,— встревоженное стадо, сбившееся у водопоя. В обступившем артиллерийском грохоте не было слышно ни дробного стука топоров, ни шума незаглушенных моторов; те, наверху, могли подумать, что товарищи просто отсиживаются от бури, не торопятся, стремясь насладиться терпким запахом смолевого дерева, прежде чем войти в горячий смрад машинного боя; но они торопились, так как немецкий наблюдатель должен был когда-нибудь разгадать значение щепы в медлительном зеркале Стрыни... Тут пошел снег.

И опять железное войско ждало своей ракеты, пока танкисты яростными жестами бранились с саперным капитаном и все показывали на обрыв, откуда при каждом сотрясенье струился мелкий, еще не намокший песок; более нетерпеливые и злые спустились в реку и шарили брод по пояс в воде... Уходя к своим на подкрепленье, Собольков не забыл взглянуть на приборы водительского щитка. Температура масла достигала 105°,— судя по запаху, главный фрикцион был перегрет, для воды оставалось лишь три деленья на циферблате. Не столько тяжкий путь по пашне был причиной такой перегрузки, сколько волнение водителя, который с непривычки к огню явно задергал танковое сердце. И лейтенант мельком порешил дать при случае полную волю Литовченке, чтобы тот упоеньем танкового могущества исцелился от ребячьей и такой понятной нерешительности. В эту минуту Собольков и

разглядел Кисо̀ в потемках танка. Неизвестно, когда зверь успел забраться в свою походную квартиру, и представлялось уже несправедливостью выкидывать теперь за борт этого вполне заслуженного ветерана. Таким образом, на операцию экипаж уходил в полном составе.

Литовченко видел через люк, как лейтенант поднял котенка и, прищурясь, заглянул ему в глаза.

— Что ж, воюй, Кисо̀, зарабатывай себе место под солнышком,— сказал Собольков и, поймав на себе взгляд Литовченки, стал выбираться из танка. — Вот, посмотрим, что она означает... тихая и грозная судьба человека,— добавил он совсем непонятно, глядя на высокий берег с вихрами седой и мокрой, трясущейся травы. — Только помни, Вася... судьба не тех любит, кто хочет жить, а тех, кто победить хочет! — Голос был не прежний, собольковский, да и поучение относилось скорее к самому себе, чем к этому простодушному пареньку,— как следствие собственного минутного замешательства, нехотенья чего-то или от горечи внезапного открытия, что и жизни сам он жаждал не меньше, чем победы.

Литовченко зарделся, ему стало неловко от непривычной командирской откровенности, хотя, в сущности, ничего стыдного не случилось; кроме того, он еще не знал, что означает взрослое городское слово *судьба* и что полагается отвечать в таких случаях. Он поднял на лейтенанта прямые ясные глаза, и тогда, смутясь, тот ушел поспешно, запретив водителю далеко отлучаться от машины.

При самом беглом взгляде на окрестность делалось понятным запоздание с переправой. Судя по незаконченным окопчикам, еще недавно здесь пыталась закрепиться горстка немецких автоматчиков и ее вышибали отсюда врукопашную, ценою потерь с обеих сторон. Литовченко обошел место схватки, всматриваясь в лица павших. Хотя *это* сглаживает различия, их легко было распознать издали,— немцам не успели выдать в срок маскировочные халаты. Враги лежали рядом, иные почти в обнимку, как бы продолжая сражаться и теперь. Наших было меньше; один — рябоватый, смуглый и скуластый — лежал на спине, грудью навыкат и с закинутой под голову рукой, как спят богатыри. Глаза были открыты, губы растянула полуулыбка, словно среди пасмурного неба встало вдруг над ним жаркое казахское солнце. Снежинка упала в его округленный покоем зрачок и не таяла. Литовченко отвел взгляд к артиллерийской воронке, которой не заметил внача-

ле... На дне ее скопилась подпочвенная вода. Там валялся обыкновенный, весь целый, гитлеровский солдат. Ноги тонули в ледяной жиже, а руки были широко раскинуты, будто обхватить хотел ее всю, украсть, унести с собою — чужую землю вместе с ее сокровищами, святынями и этим тоскливым хлюпающим снежком... но оказалась тяжела, и не хватило объятий, и он поник тут, пугало Европы, бессильный даже отряхнуть снег с былинок, торчавших меж его разведенных пальцев.

Он мог бы рассказать много, этот солдат,— как росла, крепла и потом сокрушилась германская мечта о самородном русском золотишке в распадах сибирских гор, о тучных рыбных стаях в тесноте полноводных рек, о волшебных куполах, всегда манивших немецкое око, о самом солнце, что нисходит на землю в этом государстве в обличии нефти, хлопка, пшеницы и вина; он мог бы похвастаться, как началось бредовое шествие железных пауков по чужим столицам, этим начальным ступенькам к синим хребтам, за которыми раскинулись блаженные страны Азии, земной рай с даровым шнапсом, где закуска растет на деревьях, где гурий можно брать на гробницах непобедимых царей Востока, где дозволено, наконец, утолить темное зверство, прикрытое веками германской дисциплины. Это была бы длинная повесть, как они отправлялись в поход, провожаемые криками женщин: «Убивайте их, убивайте в Америке и Азии, убивайте везде... мы отмоем ваши руки!» — и как их встретила непогодная пучина России, где поржавело их железо и обвяла душа, и как они, огрызаясь, ползли назад с распоротым брюхом, и каждый камень рвал им внутренности, и каждый куст стрелял вдогонку. Он знал много, но мертвые — плохие рассказчики. И хотя украинский тракторист не умел проникать в знаменья истории, он догадывался, над чем улыбается невдалеке спокойный и чуть иронический казах.

Завоеватель лежал в позе вора, стремящегося уползти, с подогнутым коленом и уткнувшись лицом в борт ямы. Белобрысый затылок напомнил Литовченке минуту, шрамом оставшуюся в памяти. Рядом, затоптанные в снег, валялись улики — автомат, походная шарнирная лопатка и еще какой-то неузнаваемый утиль войны. Литовченко увидел опрокинутую каску. Он пошевелил ее носком сапога. Талая вода кривой струйкой, как из чайника, полилась из пробоины. Дыра приходилась над самым надбровьем, с лучами трещинок, как кокарда; прицел русского стрелка был хорош. Кто-то встал

рядом с Литовченкой, но он не пошевелился, как зачарованный следя за струйкой.

— Не тот, что на мамку замахивался? — спросил голос над самым ухом, когда каска опустела.

Это был Дыбок. Не насмешка, а лишь нетерпение читалось в его заметно похудевшем лице; ему хотелось скорее исполнить всю черную работу: с того и начиналась его большая и умная житейская дорога.

— Не-ет... тот постарше и с плешинкой был, вот тут, — нехотя протянул Литовченко и показал на затылок; но даже не в плешинке было различие, а в том, что не доставило душе сытости созерцание этого застигнутого на месте вора.

— Ищи его, парень... крепко ищи! Не только врага, но с е б я прежде всего ищешь... — с особым значением сказал Дыбок.

— Где-то рядом ходит, всякую минуту чую его близ себя... — начал было Литовченко и вдруг побежал к машине: уже падало над лесом алое яблочко сигнальной ракеты.

Дорога вверх была открыта, но одна дружная батарея без труда истребила бы здесь, в проходе, целый корпус, по мере того как он стал бы выбираться из низины. Какой-то чудак в пылу усердия раскидал дымовые шашки вдоль берега, не загадывая, что из того получится, и теперь немецкая артиллерия перенесла огонь по этой подозрительной клочковатой тьме, что, подобно чернилам в воде, распускалась во все стороны. Она клубами стекала с обрыва, ее рвали смерчи разрывов, в нее, как в туннель, незримые и незрячие, уходили облепленные десантниками танки. Одновременно немцы разглядели обрезки теса в реке. Десяток тяжелых мин с большим перелетом упал на пойму. Если бы Собольков вскочил в свой люк мгновеньем позже, он увидел бы, как, пошатываясь и с раскинутыми руками, с земли поднимались мертвецы, точно возобновляя рукопашную схватку, и это нестерпимое зрелище стало бы заключительным в его жизни... Советские батареи открыли ответный огонь.

С полуоткрытыми люками, чтобы не протаранить соседа и не свалиться с обрыва, танки распространялись в чернильной ночи перед броском в атаку. Еще до того, как вышли из завесы, Дыбок принял по радио хриплую команду о д и н н а д ц а т ь, что, по условию, означало: р а з в е р н и с ь, и следом за тем — с о р о к д в а. Больше приказов не поступало: у двести третьей осколком сбило штырь антенны. Не сразу пришло в память, чего требовала последняя команда — захо-

дить углом слева или увеличить скорость; Собольков приказал и то и другое... Все смешалось и загремело. И оттого, что каждый раз в бою надо приспособляться к обстановке и даже смиряться с чем-то, все пока молчали, кроме лейтенанта. Три души, три человеческих педали находились подле него, и он жал на них словом, шуткой и авторитетом, доводя отвагу до уровня самозабвенного ликования,— без этого немыслимо преодоление животных инстинктов, которыми жизнь вслепую обороняется от гибели. Казалось, провода переговорного устройства приникали к самому мозгу, и туда до боли громко кричал что-то Собольков в похвалу двести третьей, ее прочности и резвости, а Литовченко односложно откликался, всем телом вслушиваясь в ровное машинное биенье за спиной. Ему то чудился подозрительный звон в трансмиссии, то мешал четкий и частый стук о броню, точно кто-то просился войти снаружи; ни разу не побывав под крупнокалиберным пулеметом, он с отчаяньем принимал эти звуки за прощальные сигналы десантников, вдруг ставших ему ближе всякой родни.

Те еще держались, хотя огненный ветер обстрела сдувал все постороннее с брони. Танки приближались к переднему краю. По существу, до этого места курс двести третьей зависел скорее от удачи да еще от того, с какой стороны возникала глыбистая падающая тьма,— чем от уменья водителя. Только теперь Литовченко привык к скачкам смотровой прорези,— она то надвигалась, то уносилась вдаль, то становилась почти вертикально, когда хлестала бортовая волна. Сперва он различил лесок впереди и перед ним бугристое поле, где метались разрывы; затем он увидел стрелковую цепь, частично залегшую в чистом поле и местами уже выбитую из обороны. Тяжкий минометный огонь шествовал по черте окопов, и еще шустрые вихорьки сверлили посеревший снежок. Здесь можно было оценить черный и страшный труд пехотинца. И одни, не оглядываясь и слегка подымая винтовки, указывали проходы своим танкам, другие же лежали как-то слишком смирно, точно внимали ласковому и последнему напутствию родной земли, которую защищали.

— Вот она, наша мотошомпольная,— смешливо и резко крикнул Обрядин, когда на мгновенье заглох мотор, точно испугавшись черной тени, с грохотом прошедшей мимо.— Заметь, обожаемый Вася, лежат, как львы, и непримиримо смотрят в сторону врага!

Его с маху оборвал Дыбок:

— Это всё земляки и братья твои лежат, черт усатый. Полежал бы сам на мокром пузе... и полежишь еще у меня! — заключил он, точно он-то и был командиром.

Обрядин был умней своей шутки, которую придумал единственно для ободрения водителя. Как раз перед тем болванка прочертила, как полозом, путь перед двести третьей, а гусеница дрогнула, точно наехала на камень, и была опасность, что Литовченко сожжет диски сцепления. Собольков понял это с запозданьем и сразу забыл, потому что именно тут и увидел зайца.

То было единственное живое во всем поле, не имевшее отношения к войне. Обезумев от рева и пламени боя, он мчался наугад, весь белый, ясно различимый на темной исковырянной пашне. Иногда он останавливался, вскинув уши, приподнимая удлиненное страхом тело, и смотрел, все еще невредимый, как рушатся громады огня и воющего праха, и исчезал, припадая к снегу, чтобы снова превратиться в не уловимый глазом белый пунктир. Должно быть, заячий бог хранил до поры и, как перышко, нес его пушистую, невесомую от ужаса шкурку; по неисповедимому заячьему провидению он мчал ее прямо на немецкие траншеи. Он заведомо хитрил, сбивая с толку, показывая зверька одновременно в десятке мест по фронту атаки, и получалось, что именно за ним, повторяя его зигзаги, разя с ходу орудийным огнем, гнались шесть неистовых тридцатьчетверок, как если бы он-то и был призом в этой беспримерной охоте. Они настигали, он метнулся, угол курса резко изменился... Застылая, накрепившаяся жижа блеснула под танками на дне окопа, и в нем, с поднятыми руками, стояли недвижные, как на фотоснимке, какие-то зеленые, — значит, не русские люди; иные как будто падали и всё не могли упасть. Теперь уж и собственной стрельбы не слышал экипаж, и верилось: одной силой гнева и взгляда своего роняет их Собольков. Тогда-то, каким-то образом разглядев из своей неудобной щели, Обрядин и доложил лейтенанту, что противотанковая пушка справа, у кустов, тоже настоятельно просит своего пайка. Только он выразил это в одном каком-то неистовом, неповторимом слове, действия стали короче, чем их словесные определения, и приказания отдавала сама мысль.

Они увидели пушку: радист скорее догадался о ней. Это ее снаряд прошумел по башне и огненной вишенкой рикошета ушел в небо; это она била в упор по собольковскому танку. Ее мишень сделалась невыразимо огромной и такой близкой,

когда промах следует считать чудом, но живое белое пятно, которое перепуганный заячий бог швырнул из снегопада под ноги орудийному командиру, отвлекло на миг внимание расчета, и это решило его жалкую участь. Собольков крикнул д а в и, когда сорванный ствол наполовину углубился в землю через живот наводчика под натиском двести третьей, когда Обрядин заряжал пушку для следующей цели. Ни шороха, ни стона не дошло до Литовченки; нет, не такого удовлетворения искал он в ту первую свою, бездомную ночь!.. А уже немецкие танки выходили на огневой рубеж, обтекая поле боя, и наши ускорили свой бег им навстречу. Так началось это грозное соревнование снаряда и брони, техники и воли, начальных скоростей и скрытой энергии взрывчатого вещества, а прежде всего — людей двух миров, расстояние между которыми не измеримо земною мерой.

Тут можно было видеть, как наши пятнистые громадины обминали края немецкого окопа, облегчая подход отставшим из второго эшелона, а по полю, кидаясь дымками, вливалась в прорыв мотопехота; как советский танк, забравшись во вражескую гущу, стоял без башни и дымные космы подымались из страшной дыры, а стальной шишак богатыря валялся рядом, и четыре врага факельно горели по сторонам, как бы почетный эскорт, сопровождающий героя в небытие; как осатанелые люди со звездочками на ушанках вступали в поединок с глыбой крупповской стали, и та никла, дымилась, крутилась на порванной гусенице, как дьявол от магического заклинания. И если только не ветер преждевременной ночи,— значит, беззвучные всадники в бурках мелькнули вдалеке, где жарко пылали подожженные стога...

Литовченко заметил на развороте лишь часть этого стройного в своей беспорядочности движенья тел, металла и огня, но и это малое вызвало в нем знакомое по детским снам чувство полета через бездну. Ритм схватки усилился; все ожило, кричало, взрывалось; убивал самый воздух; предельно напрягались скрученные дымовые волокна его мышц, и мертвые уже не попадались на глаза живым, чтобы не ослаблять их броска к победе. То была мускулистая, могучая жизнь битвы; смерть, подобно собаке, тыкалась в ногах у бессмертных, чтобы урвать крохи с их великанского пиршества. И все это представлялось танкисту воздухом для гордой и яростной нации, которая, восстав для великих дел, хочет жить вечно и глядеть на солнце орлиными очами!

Опять события опережали ленивое, неточное слово. Рука, отшибленная при откате казенника, с трудом закладывала очередной патрон, но Обрядин пока не чувствовал боли. Собольков еще ждал, когда догонят его отставшие танки, а они уже далеко вправо и впереди ломали и мололи вражескую оборону... Там двухметровая гряда, род естественного эскарпа, пересекала поле вдоль реки. На длинную и, казалось, последнюю ступеньку перед славой хлынула теперь тридцать седьмая, чтобы, восстановив утраченный строй, ринуться на штурм Ставища; вкруг него и решалась судьба Великошумска. Село виднелось как на цитадели, за сбившимся в кучку леском, откуда били тяжелые немецкие батареи. И если туда передвинулось теперь самое главное этого кромешного дня,— значит, неправду утверждал Собольков, будто судьба боя решается там, где находится двести третья!.. Временно укрытая от обстрела, бригада как бы взрывалась сейчас, распространяясь в обе стороны и давя дзоты, размещенные по скату. Их было там насовано, как ласточкиных гнезд в речном обрыве; звук был такой, точно и впрямь яйца хрустели под тяжелой поступью бригады. Один из них, в особенности хлеставшийся огнем, достался на долю двести третьей; пулеметы царапали ее триплексы, в предсмертном ожесточении стремясь хотя бы ослепить машину, но она уже вошла в гнездо, как поршень, бельмастая и неотвратимая, и накренилась, вгрызаясь левой гусеницей, и вдруг осела,— и это полуметровое падение также напомнило чем-то Литовченке пробужденье от детского сна. Все обстояло хорошо, если не считать временной слепоты танка да обрядинского ушиба. Рука плохо сгибалась в локте, но какое-то дополнительное злое озорство зарождалось из тупой, неотвязной боли; кстати, Обрядин никогда подолгу не таил в себе обиды.

— Дозвольте обратиться к водителю, товарищ стрелок-радист,— перекричал он мотор, пользуясь маленькой остановкой для последующего маневра, и, не дожидаясь позволенья, осведомился у Литовченки, что он испытывает теперь, глубокоуважаемый Вася. — Не укачивает тебя маненько, не беспокоит, не трясет?

— Щекотно будто... — жарко и с придыханьем ответил тот, задним ходом выводя машину из крошева.

Этот дзот был последним. Пользуясь передышкой, водитель выбросил левый триплекс, где ни на сантиметр не оставалось прозрачности. Стало видно, как необыкновенно круп-

ный, ватными клоками, валил снег. Смеркалось,— все же Литовченко разглядел кровь на куске плексигласа. То была его собственная, так что вовсе не от пота прилипала к рукоятке фрикциона его растертая ладонь. Пришлось замотать руку тряпкой, Дыбок впервые выступал в роли санитара,— это также заняло щепотку времени. Обрядин успел, кроме того, дать наставление водителю, чтобы теперь в особенности берег лицо от пулевых брызг, и даже начать рассказ, как угостил однажды того же бессменного товарища Семенова Н. П. зайчатиной, вымоченной в коньяке, чем и ввел свою жертву в глубокое поэтическое ошеломление. Случай пришел в память от неосознанного пока убеждения, что только заяц и спас их от прямого вражеского попадания. Он оборвал повесть на том месте, когда помянутый Семенов лично пожаловал на кухню показать московским гостям этого невероятного художника пищи; он оборвал, чтобы коснуться пальцев лейтенанта, лежавших на штурвале орудия.

— Ты чего... чего замолк, Соболек? — пронзительно, в самую душу заглянул он. — Хочешь, у меня во фляге есть... непочатая. Одна хозяйка домашнего к в а с к у на прощанье налила... понятно? — И он прищелкнул языком для обозначения обжигающих достоинств напитка.

Он и с женщинами не бывал так настойчив и нежен, но ответа ему не последовало. Высунувшись из люка, Собольков сделал вид, что вглядывается в сумеречное поле; оно приходилось на уровне головы. Двести третья оказалась левофланговой. Бригада ушла вправо, по лощине, куда перекинулся и грохот битвы. Прямо перед Собольковым подковкой лежал бугорок, и в неглубокой впадинке ее, подобно мотыльку, сновала взад и вперед еще какая-то тридцатьчетверка, в суматохе боя вырвавшаяся наверх. Три больших немецких машины, прикрываясь снегопадом, двигались в обхват этого места, изредка стреляя, в намерении выпугнуть жертву из норы. Загонщики заходили на большом радиусе, ближняя находилась в створе со своей будущей добычей; вступать отсюда во фронтальный поединок с ними было для двести третьей вполне рискованно. Видимо, по неисправности орудия тридцатьчетверка не отвечала на огонь, и ей уже нельзя было бежать, не подставив корму под прицел охотников.

Собольков признал их скорее по калибру грузного лаистого звука, чем по контурам, источенным снежной мигающей мглой.

— Тигры! Смотри, ребятки: тигры! — твердил он, словно и остальным был доступен такой же круговой обзор, как из командирской башни. — Сволочи, губители... ну, сейчас мазнет... — И, уже не понимая нелепости своего решенья, бессознательно прикидывал, успеет ли добежать туда один, с противотанковой гранатой.

Не было бы ему лютее муки — смотреть из безопасности, как станут расстреливать безоружного товарища; сперва расколют ему железный череп и разорвут бока, потом в три длинных клюва будут долбить костер, пахнущий газолем и горелой кожей. Представлялось неразумным отвлекать огонь на себя, но, как часто случается в бою, доводы разума пересилились стихийным побуждением сердца. Собольков дал выстрел по правому, дальнему тигру; он и сам не понял, что произошло... Такой удачей не дарит война даже прославленных танковых асов. То была не меткость — скорее совпадение, стоявшее на грани несбыточного. Так, значит, победить он хотел все-таки больше, чем жить в желанном послевоенном яблоневом саду!.. Он попал в самый ствол тигра, в черноту его орудийного зрачка; 76 хорошо разместилось в 88; двести третья как бы заткнула ему пасть куском своего железа, и та огненно распалась: короткий обрубок торчал теперь из шароустановки немецкого танка. В эту минуту Собольков и принял решение. Здесь его не остановили бы даже минные поля, слишком возможные в этом подозрительно чистом и девственно не топтанном снегу, потому что подвиг и есть пренебрежение собой ради величайшей цели. Вдруг какое-то исковерканное несуществующее слово, означавшее даже не полет, а стремглавое орлиное паденье на добычу, вырвалось у него сквозь зубы. Только Обрядин, больше всех понимавший лейтенантское сердце, сумел перевести это на язык военной команды.

— А ну, дай копоти, сынок! — гаркнул он Литовченке; хорошо осведомленный, чем кого угощают в разных случаях жизни, он не требовал у командира, чтобы тот заблаговременно заказывал ему артиллерийское меню.

Весь дрожа, на самом малом газочке, Литовченко бережно стронул машину. И время стало маленькое, время молнии, в которое она успевает родиться, ослепить вселенную, ужаснуть живое и погаснуть. На счастье, не пришлось и разворачивать танк: он и без того смотрел пушкой влево — туда, откуда выгодней всего представлялось контрнападенье. Литовченко вы-

жал газ почти до конца, так что даже хрустнуло в колене. Двести третья пошла на предельной скорости и с легкостью, порождавшей недоверчивую улыбку. Было что-то живое в том, как свистел мотор и просил еще ходу. Видимость почти пропала: чем быстрей движенье, тем темнее ночь. Вьюга крутилась в танке — шли с открытым люком. Снег залеплял лицо водителя, но тот все забыл, забыл даже, что где-то поблизости находится крутой речной обрыв, забыл боль, самое тело свое забыл, лишь бы не терять из виду скачущей ленты чернобыльника, обозначавшей правый скат эскарпа. Рычаги ему выламывали руки, ветер гонки срывал односложные восклицания с закушенных губ, а лейтенант все давил ему ногой в плечо, словно в водительской воле было вырастить крылья у танка... Обратная дорога домой, на Алтай, кратчайшая и единственная, проходила лишь через победу, и дочурка не упрекнула бы Соболькова, что плохо к ней торопился Собольков!

Поворота вправо не попадалось, гонка становилась бегством от цели. В эти считанные мгновенья и могло произойти убийство наверху. И опять судьба зловеще улыбалась Соболькову, прежде чем отчаянье остановило его лютый бег. Она разрезала лощинку пополам и правый ее рукав под острым углом вывела на поверхность, в заросли густого кустарника, красноватого даже во мгле... Точно секундомер лежал в руке судьбы: охота еще не кончилась, только метания застигнутой тридцатьчетверки стали суматошней и короче, так как сократился сектор ее укрытия. Вовсе не поломкой орудийного механизма объяснялось ее бездействие, а просто, израсходовав боезапас, она сберегала свой заключительный выстрел, последний из ста пяти, чтобы жалить наверняка. Значит, дождалась она своей минутки, и если только не дьявол, длинный и на раскинутых ногах, стоял на правом фланге — и огненные мышцы просвечивались сквозь черные струйчатые сапоги! — так это подбитый ею немец исходил серым смертным дымом. Зато два других, увеличив радиус нападения и, по существу, уже без риска подступали к ней лобовиками вперед, а она вертелась всяко посреди все новых и черных ям. Как змей, вертелась она, лишь бы стать лицом к врагу, лишь бы умереть не спиною к полю боя!.. Слышно было, как задыхался ее мотор, как сипло кричал ее командир, и как ветер выл в пустом стволе, и даже как сердце билось у товарищей — тоже

было слышно на двести третьей... Все это, разумеется, не было вполне достоверно, но то, что глазом и ухом не различал Собольков, ему безошибочно подсказывала танкистская душа; именно так, в равных условиях, поступал бы он сам.

9

Маневр получал блистательное оправдание; даже стоило устрашиться в иное время, не слишком ли судьба баловала Соболькова. П а н т е р а, а вовсе не т и г р, как оказалось, проходила всего в ста метрах, да и ощущение этих ста следовало наполовину отнести за счет метели и потемок; она проходила в профиль, дразня широким, граненым задом вскинутое на подъеме жало двести третьей. Собольков ударил ее еще раньше, чем Литовченко вогнал машину в кусты; он ударил ее дважды — аккумулятивным снарядом и тотчас же, не меняя прицела, подкалиберным в живую мякоть у подмышки, над вторым сзади катком, где кожа п а н т е р ы утончалась до 45 миллиметров. Это было все.

Он испытал слабую ноющую усталость в руке, как если бы лично поразил коротким толстым ножом и повернул его в спине зверя. Двести третья стояла с открытыми люками, вся на виду, и потому экипаж мог в подробностях наблюдать это, недоступное ни на одном полигоне мира... Невыразимый полдень шумно рванулся из щелей п а н т е р ы, неправдоподобных, дырчатых и косых, а плита командирской башни отлетела, чтобы запертое солнце могло выйти наружу. Литовченко сменил место не потому, что слепительный свет превращал самое двести третью в мишень, а из желания укрыться от огненной измороси, от которой горел даже снег. Сам Дыбок — холодный, рассудительный Дыбок — поддался колдовскому очарованию зрелища.

— Хлебни русского кваску!.. Вот он, эликсир жизни, пусть напьется досыта,— запальчиво шептал он, но какое-то гордое достоинство мешало ему еще и еще бить из пулемета по пламени, хотя и чудилось, враг еще полз на одной гусенице и с вулканом в брюхе: так вихрился оранжевый пар вокруг него. — Выпей русского кваску... пей!

— Культурно сделано, Соболек,— похвалил и Обрядин сквозь зубы, срывающимся голосом, точно заправдашняя малярия трясла его. Поглядела бы одна из его бабенок на ны-

пешнего Обрядина — он был как мальчишка, пропала вся хваленая его степенность. Высунувшись из люка, он выставлял лицо в этот неистовый свет: душу, ознобленную близостью гибели, ласковей солнышка греет жар горящего врага. — Эй... пол-литра с тебя, товарищ! — гаркнул он вослед громадной тени спасенной тридцатьчетверки, шмыгнувшей через самое место их недавней стоянки. — Натерпелись, болезные... — сочувственно проводил он ее, когда как бы рассосалось в снежной тьме самое ее вещество.

— Похоже, мы у них тут целый зверинец разбудили. Смотри, еще один прется,— сказал потом Дыбок, когда остыла первая радость удачи. — Так оно и есть... Не люблю я в ночное время фердинандов, товарищ лейтенант! — То было тяжелое самоходное орудие, германская новинка того года, прозванная так, по объяснению Дыбка, за сходство с профилем носатого болгарского царя, которого довелось ему видеть в старой Ниве.

Фердинандом оказался тот, что двигался в центре облавы. Он засветил фару; судя по перемещению светового эллипса на снегу, он разворачивал свое неуклюжее тело, идя на сближение. Два звука слились попарно; кроме того, двести третья стреляла еще в промежутке,— были напрасны все пять залпов. В такой непроглядный вьюжный вечер успех решался не тем, кто железней или метче, а удачливей кто. Двести третья пятилась назад, и тогда случилось то, уже совсем невероятное, о чем до поздней старости обожал живописать внучатам ветеран великой кампании, Василий Екимович Литовченко. «Волос на мне дыбочком встал,— рассказывал он, гладя лысину, и ему верили не больше, чем Рудому Паньку, знаменитому его земляку. — Думаю-думаю, как же мне поступить при такой бисовой оказии...» Но если бы это «думаю-думаю» длилось у него в тот раз дольше секунды, никогда бы не узнали про этот случай маленькие, затихшие в страхе украинцы. Фердинандов стало два, потом сразу четыре зажженных луча пронизали взвихренную метельную неразбериху, да еще какой-то блудливый, так и не разгаданный огонек добавочно запетлял и заюлил в поле. Верно, они плодились там, ночные твари, вылезая друг из дружки, и действительно, замогильная чертовщинка миргородского пасечника представлялась, в сравненье с этим, поэтической выдумкой, навеянной шелестом вишен в благодатную южную ночь... Пользуясь даровым освещеньем от собрата, пылавшего, как солома, дьяволы разили

из всех своих жерл, и двести третья поступила по меньшей мере правильно, заблаговременно и без выстрела спустясь назад, в низинку.

Бежать отсюда было хорошо, горящая пантера служила достаточным ориентиром, пока не взорвался ее боеприпас. Она исчезла с ловкостью привидения, оставив по себе глухое эхо, дырку в снегу, дождь железных клочьев и вспышку, как от адского магния... Двести третья мчалась, петляя и на бога, потому что любое на свете было лучше прямого полупудового клевка в корму,— мчалась, заведомо углубляясь в расположение противника, мчалась, пока не отстала погоня. Последние выстрелы легли далеко в стороне, все погасло, самое окошко люка потерялось во мраке. Возбуждение успеха охладилось, на смену пришли озноб и голод; Обрядин, кроме того, вспомнил про разбитый локоть... Литовченко промолчал на вопрос лейтенанта, видно ли ему хоть что-нибудь на дороге; промолчал из боязни выдать голосом щемящую тоску, меньше всего происходившую от метельной неизвестности ночи. Следовало убавить ход до самого малого; так и сделали, но было поздно. Центр тяжести вполне ощутимо, шарообразно перевалился вперед, инструменты гремуче двигались по дну танка. Горный тормоз не остановил скольжения. Все одновременно ощутили, как пучина дохнула на них холодом.

«Вот оно, то самое, двадцать второе число...» — со странной вялостью подумал Собольков, клонясь на пушку. Машина весом сползала вниз, с заметным уклоном влево. Обрушилась левая гусеница, Литовченко вслепую и немедля выправил движение, и стоило отметить выдержку новичка, хотя нигде его не обучали, как падать в реку с наименьшим повреждением. Теперь танк полувисел на месте. И опять опоздало тело; команду стой Собольков подал, когда был включен уже и задний ход. Не жалея ничего, водитель до бешенства разогнал мотор, но оно не могло длиться долго — единоборство хотя бы и пятисот лошадиных сил с законом тяготенья. Земля одолевала, она стаскивала людей с сиденья, и это было пострашней поединка с фердинандом.

— Спокойствие, лейтенант, спокойствие... — чудовищно ровным голосом крикнул Дыбок в микрофон, точно ему принадлежала власть в танке, точно знал, что, пока сам он здесь, товарищам не грозит несчастье.

В передний люк хлынула вода. Упираясь рукой в американскую картинку, Дыбок включил аварийный свет на пла-

фоне рации; он увидел неподвижное от натуги, откинутое назад и в снежной маске лицо соседа. Шустрая пена, бурля и заполняя щели, впилась вкруг колен. Вдруг свет погас, пора было кричать: Вылезай, топимся,— но все молчали, неживая сила придавила их волю. Дальше пояса вода не поднималась... Кое-как оторвавшись от танка, Обрядин выскочил наружу. Прошла вечность и, может быть, две вечности сряду, когда он появился опять, невредимый, сухой, даже веселый.

— Глуши мотор, Вася... кажется, приехали,— оповестил он сперва собольковским голосом, потому что мотор еще работал, с поминутным кашлем и во весь мах своих двенадцати цилиндров; загляни сюда тигр, он мог бы спокойной лапой добивать двести третью до последнего пламенного вздоха, целясь на выхлоп. И когда Литовченко стащил с педали онемевшую ногу, Обрядин прибавил уже собственным в раздирающей уши тишине: — Приехали к теще в гости. Эва, на горочке с блинцами стоит. Выгружайтесь, граждане, помаленьку!

В сухом верхнем кармане гимнастерки у Дыбка нашлись спички. Их было семь. Головки с шипением отлетали, норовя в глаз; на коробочной этикетке было напечатано, как вести себя советскому гражданину во время войны. Зажглась четвертая, и, пока не притушил ее хлопок снега, главное успело отпечатлеться в зрачке. Танк держался на скате стандартного немецкого рва, кормой вверх и с перевесом левого борта,— как в ночь разгрузки, когда комкор читал наставление новичку; машина опрокинулась бы на большей скорости. Вода достигала третьего катка; две широкие колеи, прорытые гусеницами, круто уводили в черноту, смолянисто блеснувшую при вспышке. Собольков не успел различить стрелок на часах,— было скорее пять минут девятого, чем без четверти час, но и в первом случае событий явно недоставало на такую уйму протекшего времени. В суматохе дня, видимо, проскочили еще какие-то происшествия, не оставившие в памяти следа. По сходству с собственным их нынешним положением Собольков припомнил только, как они вытаскивали из воронки одну завалившуюся шестидесятку, но эпизод тотчас поблек и как бы тинкой затянулся.

— Я уж думал, нас в подводную лодку за заслуги произвели,— пошутил Дыбок, но все не шибко поверили, что ему веселей, чем прочим.

Так они стояли, трое, молча и бездельно, без мыслей и усталые до степени равнодушия к тому, что случится с ними на рассвете, когда найдет и распорядится их жизнью мимоходный немецкий броневичок. Вдруг, опустившись прямо на снег, Дыбок принялся снимать сапоги; натекшая вода могла повредить его здоровью, необходимому для великих будущих дел.

— Не разберу... морозит или это малость озяб я? — спросил он ни у кого и зевая нарочито громко, словно это могло подбодрить товарищей.

Значит, не все еще кончилось здесь, у жирной итоговой черты в безвестном поле. Собольков поднял голову.

— Вася, — позвал он негромко, потому что теперь стало можно говорить и негромко. — Чего ж тебя не слышно, Вася?.. Ты где, чудак, а? — говорил он, обходя громаду танка.

Снег падал реже, чуть посветлело. Черно было сейчас на земле, и вот, в утешение, выдали ей где-то за бетонными облаками скупой и тонкий ломтик луны. Лейтенант увидел своего механика-водителя. Литовченко стоял с обратной стороны, прижавшись к гусенице, вздыбленной над его головой. Он весь дрожал, когда Собольков коснулся его лица, он так дрожал, что именно это ощутил сначала лейтенант и лишь потом — живую горячую влажность на кончиках своих онемевших пальцев.

— Вася, ты о чем?.. Остыл, что ли? Да нет, погоди, не отворачивайся. Ты толком объясни, в чем дело? — шептал он в самое ухо, заслоняя от товарищей; тем временем подошли и остальные.

— Машину жалко... — всхлипывая, признался Литовченко и ребячливо, мокрой тряпкой, размотавшейся в ладони, тер свои безволосые щеки. — Я же знал, куда мы катимся... вот и запорол!

И вдруг новый приступ горя потряс паренька; сорвав шлем, плача и весь подавшись вперед, он закричал товарищам, что стрелять его надо за это, именно так, как делали немцы с детьми:

— В рот, в рот мне за это надо стрелять!..

На войне нет ничего страшнее плачущего солдата, и не надо его останавливать, пока не выгорит отчаянье до конца. Экипаж молчал: они тоже были однажды новичками, как и этот чумазый хлопец — такой чумазый, что и вековухи отво-

рачивались от него на стоянках. Зато платок любимой девушки можно было уронить на дно трансмиссионного отделения в его танке и, незамаранный, спрятать назад в кармашек. Им нравилась скрытная мальчишеская гордость Литовченки, когда ему доверили шрамистую, прославленную двести третью, и, верно, до его крестьянского сознания достигла ужасная, совершенная в глазах современников целеустремленная красота советской тридцатьчетверки... Кроме того, эти люди понимали, что только настоящий человек может требовать справедливости и подвигу своему, и оплошности.

— Сердечко не выдержало... — сочувственно буркнул Обрядин, толкнув локтем командира и держа наготове бачок для питьевой воды, налитый на этот раз лекарством от малярии. — Нежную душу и снежинка царапает. Знаю, сам имею такую же!

Литовченко приходил в себя. Он поднял голову и виновато усмехнулся, стыдясь товарищеского внимания. Тогда они подошли ближе, заговорили наперебой, и не различить было, кто и что произносил в той жаркой словесной толчее; даже Дыбок испытал ту особую волнительную размягченность чувств, какой опасался больше всех болезней на свете.

— Эх ты, вояка полтавская! А мы тебя женить после войны собрались. Она ж целая: смотри — ее черт рогом колупал, да скис. Ее до Берлина хватит пока, а там, коли потребуется, еще моторишко попросим... У меня земляк закудышный на заводе имеется, замдиректор, тоже художник своего дела... Только малярия его гложет, вроде меня. А танкисты, брат, особый народ... и не зря им завидует пехотка! — Последнее чуть ироническое замечание принадлежало Дыбку и так откровенно, хоть и не злостно, было направлено в лейтенанта, что Собольков, нащурясь, даже покосился на него.

Полдела было сделано, водитель возвращался в строй; по степени важности теперь оставалась меньшая половина — выйти к сроку из немецкой мышеловки. Обрядин поднял шлем и, отряхнув от снега, надел на голову товарища.

— Посушить бы теперь парнишку, лейтенант,— заметил он при этом.

Дыбок с хозяйской властностью заставил водителя сесть на снег и повторить все, что проделал сам незадолго перед этим.

— Ладно, теперь другую ножку,— шутил он. — Выжми, выжми ее потуже. Ишь сколько воды набрал... куда ее тебе столько! Теперь лезь наверх, погрей ноги на моторе...

— Не холодно мне,— оборонялся Литовченко и вдруг вспомнил, что и Дыбок рядом с ним принимал ледяную купель. — А сам, сам?!

— Э, мне эта штука нипочем. Я телу моему хозяин строгий,— с жестокостью, исключавшей и тень похвальбы, бросил Дыбок; все же озноб мешал ему выразить мысль короче, чем полагалось по его характеру. — Я от тела моего много требую... а то ведь и расчет дам. Оно меня боится! — пригрозил он вслух, чтоб прониклось его волей продрогшее солдатское тело; Собольков подумал даже, что если убьют его, Соболькова, то именно Андрею Дыбку надлежит стать капитаном двести третьей.

— Греться изнутри надо... ну-ка! — осторожно вставил Обрядин, поднося флягу Литовченке. — Та-ак, еще отпей на рупь семьдесят. Хватит! Эх ты, девушка!.. Ей бы пройтись маненько, покружиться теперь в вихре вальса, товарищ Собольков!

— Верно... — как-то поспешно согласился тот; он руководился тем соображением, что после происшедшего следовало поднагрузить паренька каким-нибудь заданием. — Ну-ка, пройдись, посмотри место на ближнем радиусе.

— Нельзя посылать водителя, лейтенант!.. — тихо, под руку, возразил Дыбок.

И оттого, что Дыбок был тысячу раз прав, всегда прав, этот удачник, Собольков посмотрел на него с каким-то пристальным и ожесточенным интересом, как если бы видел его из последующих суток. Он недобро усмехнулся: вот уже и самая правда становилась на сторону его преемника! Глаза встретились, одна и та же мысль ранила обоих. Дыбок смущенно отвернулся, едва прочел, что содержалось в этом взгляде, и тогда Собольков медлительными словами повторил то, что сказали раньше его глаза:

— Не рано примеряешься, Андрюша? Потерпи, я еще живой. — И подтолкнул Литовченку. — Иди, ничего пока не будет... Я тебе велю. Иди!

Ни на один факт не могла опереться догадка: собственные их следы уже замело, и хоть бы зарево или выстрел в пустоте! Жгла и жалила мучительная надежда, что в это самое время тридцать седьмая вступает в Великошумск. Только од-

на двести третья засела в трущобинке крайнего левого фланга; ей предоставлялось воевать в одиночку, в меру разумения и солдатской совести.

Прежнее ощущение беспомощности постепенно замещалось решимостью на предстоящий, долгий и тяжкий труд. Нужно было передохнуть, поесть, подкопить сил, а там, глядишь, сами собою прояснятся обстановка и мысли!

Они взобрались на танк. Горячий воздух обильно поднимался сквозь жалюзи мотора. Обрядин слазил за едой. Соскучась в одиночестве, замяукал Кисо́, и всем стало немножко веселей от сознания, что количество их умножилось на единицу. Ему также выдали полагающийся рацион, и он довольно усердно занялся его поглощением.

— Давай думать, лейтенант,— сухо и тихо сказал Дыбок.

— Успеем, отдохни... Не торопи войну, Андрюша! Пять минут всего прошло, как сели,— ответил Собольков и снова занялся котенком. — Что, Кисо́, хвост-то намок? Ничего, на войне это и есть главное: будни. А сражение — это уж праздничный день, гуляй, душа! Ешь, ешь... Тебе бы щец со свининкой? Я твою натуру знаю. Не хочешь щец? Ну, врешь, хищный зверь, притворяешься. Ладно, вот закопаем Гитлера, поедем с тобой на Алтай. Новая хозяйка у тебя будет, маленькая и добрая. Все глупые — добрые, вот почему и умный у нас Дыбок. Небось злится на меня, памятливый... А ты скажи ему, Кисо́, чтоб не серчал. От этого дру́жба вянет, волос лезет, здоровье портится. Сказал?.. Ну, что он тебе ответил?

Дыбок промолчал на этот шаг к примиренью. И верно, злость в какой-то степени помогала бороться со стужей, ломавшей ему кости. Обильный пар стал подниматься от ног, начавших согреваться, и он хорошо знал, что зато потом будет хуже, но нечто неодолимое, *телесное*, мешало ему сдвинуть ноги с горячей решетки. Так, злясь на все кругом, он злился в первую очередь на свое затихшее тело... Обрядин пытался сгладить неловкость деликатным посторонним разговором.

— Меню рояль, что означает: королевский харч! — сказал Обрядин, смачно надкусывая какую-то особо прочную колбасу. — Что-то мой товарищ Семенов Н. П. нынче поделывает? В артиллерии был... Нет, друзья, я вам так скажу: лучше зима, чем беда... Лучше беда, чем война,— а тут все три разом навалились!

— Ты прямо рудник, Сергей Тимофеич,— тотчас заметил Дыбок, аккуратно надрезая ножичком ту же колбасу.

Заведомый капкан таился в этом загадочном замечании, но Обрядин безобидно ступил в него, лишь бы облегчить сердце товарища.

— Всем я бывал у тебя, Андрюша, а вот рудником еще ни разу. Откройся, чем же я рудник, глубокоуважаемый товарищ?

— Я к тому, что... глыбы на редкость ценной мысли в тебе содержатся. Ты бы записывал, чтоб не забыть. Можешь прославиться, как выдающийся светоч человечества. По Волге будет ходить нефтяная баржа под названием Светоч Обрядин. Как мыслитель ты в особенности для баржи хорош.

Обрядин со вздохом взялся за флягу.

— Этак скрутят они тебя, злость и холод, Андрюша,— спокойно сказал он,— нельзя. Ну-ка, отпей еще грамм на триста... разом, разом! Не согреет, так дух повеселит.

И Дыбок пил пороховую жидкость, отзывавшую сырцом, а сам безотрывно глядел в хитрую, с дружеской ухмылкой, такую милую ему вдруг рожу Обрядина, который все причмокивал и облизывал губы, спрашивая — хорош ли, не горит ли на языке, гладко ли проходит в нутро этот жидкий огонь, из которого, видать, и наварила ему того кваску одна скромная, богобоязненная женщина на расставанье. «Пей, пей сколько хочешь, дружок...» — приговаривал он, бескорыстно радуясь за товарища, хотя сам ни глотка не отпробовал с самого прибытия на место. Теперь уже почти совсем не плескалось на донышке. И что-то случилось с Дыбком; он положил руку на колено Соболькову, точно в тисках зажал, и сами сорвались с губ эти слова, каких в иное время и пыткою не выжать бы из Дыбка:

— Эх, лейтенант... — и что-то дрогнуло в его голосе,— хороший народ проживает на моей земле, мой народ. Семь раз сряду жизнь за него отдам. Потом отдохну немножко... и еще раз отдам. А только... Вот ты, Обрядин, всему честному миру друг, а ведь ты бы у лодырей королем был!

— Большие реки не торопятся. В океан текут,— как-то неожиданно серьезно и важно ответил Обрядин, хоть и смотрел с прежней хитрой приглядкой его прищуренный глазок.

— Вот, вот,— с горечью сказал Дыбок,— узнаю! Души

океан, а спички не зажигаются... Стыну я, лейтенант, валит меня, свалюсь. Пора начинать,— заключил он, поднимаясь, и без команды, сам, полез через верхний люк за лопатой.

Лопата, лом, гранаты — все соскользнуло в переднюю, полную воды, часть танка. Дыбку пришлось как бы нырять туда и шарить в ней на ощупь.

— Лом-то намок, ровно губка... а еще железный,— шутил Обрядин сверху, принимая от него инструмент. — Не утонешь, Андрюша?

— Тут мелко. В Днепре глубже было,— как-то в растяжку, застылыми словами отзывался тот.

Он потешной шуткой извинялся перед Кисó, которому чуть замочил его палаццо, и не забывал пояснить товарищам, что палаццо есть жилплощадь итальянского феодала; он шутливо осведомлялся, протекает ли в такой же степени снаряжение у настоящих водолазов. Щемило сердце это сдержанное, на звенящей волевой струнке, балагурство. Вот он был каков, Андрей Дыбок с Кубани! Людям следовало знакомиться с ним впервые даже не в бою, когда отвага сама родится из недр разгоряченного сердца, а здесь, минуткой позже, пока он молча стоял, раскинув руки, и темные талые дырья рождались вокруг него на снегу.

— Эх... отожми водицы сколько можно со спины,— попросил он потом лейтенанта. — Повозиться бы теперь с каким-нибудь ганцем... я б ему ребра в кашу стер. А ну, тронь, тронь меня побольней! — стеклянно крикнул он подходящему Литовченке и вполсилы толкнул его в плечо.

Благоразумно отступив на шажок, тот доложил Соболькову, что и следа немецкого присутствия не обнаружил поблизости, кроме прокинутой мимо стога телефонной линии, которую на свой риск и порезал ножом; метров шесть провода висело у него на руке. Подумав, Собольков решил, что это, пожалуй, правильно, так как война для них еще не кончилась, а на поверку линии выйдут теперь немецкие связисты, и от одного из них можно будет добиться приблизительной ориентировки. Следовало быстро накидать план действий и расставить людей. Лейтенант исправил давешнюю ошибку, на этот раз оставив водителя у танка; Обрядин же, как мыслитель, в особенности годился для земляных работ,— кстати, это ему принадлежало глубокое замечание, что подкопку надо начи-

нать изнутри, чтоб машина не села днищем. Собольков решил взять с собой в засаду Дыбка, который навострился за войну в немецкой речи; ему, таким образом, представлялась возможность погреться в рукопашной.

— Ну, лезь, Сергей Тимофеич,— сказал Собольков Обрядину. — Береги лопату, чтобы не защемило. И помни, выберемся — будем живы!

— Сейчас, дай с духом собраться. Вот она, главная-то малярия! — с прискорбием заметил тот, глядя в темное месиво под танком; он раздумывал при этом: стоит или нет признаться экипажу, что почти не сгибается в локте разбитая рука; и выяснил, что неправильно, не по-товарищески будет это.

Было еще время и помедлить; какая-то живая стрелка в них с точностью отсчитывала время, потребное на то, чтобы немцы обнаружили поврежденье связи, и доложились начальству, и снарядились в путь.

— А не любишь ты воды, Сергей Тимофеич... зря! Прохладная, она закаляет организм. Это тебе надо знать как ходоку по женской части,— сказал наконец Дыбок. — Полеза-ай!

Обрядин безропотно отправился под танк, отметив вскользь, что уже не Собольков, а как бы Дыбок становится командующим танковыми силами на данном отрезке фронта. В темноте слышно стало чавканье жижи да металлические удары по тракам. Глина детскими горстками выкидывалась наружу, танк стоял недвижен, хотя и Литовченко давно уже в полный мах мотыжил землю по скату рва, вдоль гусеницы. Уходя, Собольков прикинул в уме, что работы хватит часов на пять, если не прервет ее какая-либо внезапность.

10

Он взял с собою провод на случай, если придется вязать языка. До стога было не больше метров семидесяти. Уже с полдороги корма танка расплылась в подобие куста. Идя по следу Литовченки, который, к счастью, возвращался из обхода не по прямой, лейтенант отыскал конец провода и показал Дыбку... Раскидав снег, они вырыли норки в соломе и разместились на стогу плечом к плечу и ухом к уху. Сперва молчали, привыкая к месту.

— Ну как, Андрюша... загораешь?

— Теперь хорошо, мягко,— неопределенно сказал Дыбок.

— Слушай... хочешь, сапогами поменяемся? Все-таки посуше.

— Не надо, не хочу,— упрямо сказал тот. — Сейчас придут, смотри.

Опять стало темно, месяц убрали до следующего раза, чтоб не износился. Временами Собольков поднимался, вслушиваясь, не идут ли; никогда такой шумной не была солома. Кажется, приморaживало... Представлялось несбыточным, чтобы цветы, птицы и синее небо могли когда-нибудь явиться здесь, и хотелось впоследствии, по окончании войны, непременно посетить это место в летние месяцы и полежать в этом самом стогу — если уцелеют и стог, и он сам. Нескончаемо длились сутки, до отказа начиненные событиями. Кстати, Собольков открыл, что между людьми возможен разговор без единого звука. Так, он мысленно спросил Дыбка, доводилось ли ему проводить ночь в свежем сене, и чтоб кузнечики при этом. И тот отвечал сразу, что доводилось — мальчишкой, только тогда светили звезды...

— Знаешь, как придут — тихо надо, холодным способом,— сказал Собольков несколько спустя. — Я с одним управлюсь, а ты своего сбереги... не зашиби только.

— Да,— согласился Дыбок неохотно, точно ему в чем-то помешали. — Ты молчи. Сейчас придут.

А нельзя было молчать, хоть и в дозоре. Делались всё односложней ответы Дыбка, недвижимей его тело. Его усыпляла стужа, ему стало все равно, только бы спать дали. Он хотел спать, тело становилось сильнее воли... Из знакомства с сухими алтайскими буранами Соболькову было известно, как происходит это.

— Я слушаю, я услышу... А знаешь, Андрей, ты прав был давеча. Хорошие мы люди. Очень!

— Будем хорошие... потом. Ты к чему это?

— На что мы только не пускаемся для них, для деток... для всемирных деток. Сами в гать стелемся, лишь бы они туфелек своих в сукровице не замочили. Веришь, всю дрянь жизни выпил бы одним духом, чтоб уж им ни капельки не осталось. А может, и не поймут?

— И не надо им понимать. У них свое. — Он догадывался, для чего Соболькову нужен был этот разговор; а тот уже и сам сбился — из душевной потребности начал его или из хитрой уловки расшевелить товарища. И хотя слова, вязкие и сты-

лые, застревали во рту, Дыбок по дружбе шел к нему навстречу. — Что ж, говори, расскажи мне про нее... большая у тебя дочка?

— Восемь,— тихо, как тайну, доверил тот. И с этой минуты точно и не было размолвки между ними. — Знаешь, у нее там беда стряслась, смешная. Пишет, даже к бабе Мане в гости перестала ходить. Понимаешь, котенок у ней пропал... любимец, только черный. Верно, жена закинула... не любит кошек.

— Мачеха? — издалека откликнулся Дыбок.

— Хуже, злодейка жизни моей. Второпях как-то это у меня случилось... а вот все тянет к ней, как к вину... как к зеленому вину, Дыбок! Двадцать два годика было, как женился. Злая цифра, двадцать два, перебор жизни моей! Брата поездом в двадцать втором году задавило, война тож под это число началась... Да нет, не так уж и хороша, как приманчива,— ответил он на мысленный вопрос Дыбка. — Дочка пишет, чужой дядька к ней ходит... конфетку каждый раз дарит. Бумажку мне в письме прислала, образец... видно, на подарочек подзадорить меня, отца, хотела. Они ведь хитрые, ребятки-то... Люди!.. Ума не приложу, что за утешитель завелся... может, эвакуированный из Прибалтики: по-русски плохо говорит. — Приподнявшись на локте, лейтенант послушал застылый воздух: немцы еще не шли, точно пронюхали о засаде. — А баба Маня — это не женщина, не думай, это гора... понимаешь? Это мы с дочкой так ее прозвали: ягод много. Вроде старушки, вся в зеленых бородавочках. У нас там секретный каменный столик есть, на нем бархатная моховая скатерка. Дочка сведет тебя туда... — И лишь теперь получала объяснение его путаная, просительная исповедь. — Слушай, Андрей... Ты не спишь? Не спи! Я все просить собирался, да совестно было. Ты ведь холостой, тебе все равно...

— Мне все равно... — сказал Дыбок еле слышно, одним своим дыханьем.

— ...тебе все равно, говорю, куда ехать потом. Ты же холостой. Если что случится со мной, отвези дочке Кисо́... понимаешь? И писем никаких не надо. Ты ее враз узнаешь, едва увидишь. Она сама первая к тебе выбежит... как завидит военную одежу. А больше послать, скажи, нечего... ничего я ей в жизни не накопил. Скажешь, папа шлет... воевали вместе. Посиди с ней, если понравится,— там хорошо! Словом, тебе видней на месте будет!

Он успел довольно подробно обрисовать алтайские красоты, утверждая, что не раскается Дыбок... Немцы не шли; Собольков подумал даже, что за подобное промедленье стоило бы их отдать под суд. Лежать так становилось нестерпимо. Была полная ночь. Временами она раздвигалась, Собольков тоже начинал видеть звезды. Тяжелой рукой он стирал одурь с лица; чувство холода возвращалось, и звезды гасли... Потом он вспомнил, что еще не получил ответ от Дыбка.

— Ладно... Андрей?

Радист не отозвался, он уже дал согласие. Еще в самом начале он согласился даже на то, чего и не просил Собольков. Похоже было также, что он чему-то засмеялся.

— Ты о чем... Андрей?

— Заяц... — без движенья губ сказал голос Дыбка. — Испугался... глаза по половнику. Хороший, все хорошие... свои.

Он замолк. Больше не надо было его просить. Алтай холостому недалеко... Он хотел спать. Разве мало солдат на свете, кроме него? Собаки и зайцы... все спят. Это была правда... Но через крохотное пулеметное отверстие Дыбок не мог разглядеть давешнего зайца, и лейтенант схватил руку товарища. Она была не теплее снега на стогу, зато там, за тесемками рубахи, стояло ровное парно́е тепло в пазухе Дыбка, еще не пламень. Сердце слышалось на ощупь, как бы на малых оборотах, значит, то еще не жар, а лишь смертное томленье полусна.

— Нельзя, не смей спать, Андрей! — зашептал Собольков, касаясь губами его уха. — Сейчас придут... теперь уже не отменишь. Жалей товарищей... Кисо́ убьют. Обрядина убьют... кто тебе петь станет, радист? — Ни лаской, ни приказанием, ни шуткой не удавалось ему проникнуть в меркнущее сознание Дыбка. — Ведь это ж немцы, понимаешь? Забыл, как они сестренку твою волокли... жеребья на ее голом теле метали, кому первее начинать. А она небось кричала им: «Вас Алеша Галышев побьет всех, вам жених мой отплатит...»

Он говорил много грубее, лишь бы просунуть хоть искорку в порох Дыбковой души. И случилось, чего он добивался. Поднявшись, Дыбок сидел с открытыми глазами и дрожал — пока еще не от гнева, а от озноба, но и это было хорошо.

— ...они тогда и Галышева. Ты один остался. Пусть зайцы и собаки спят... не ты! Ты же слышишь меня, а молчишь...

Я давно раскусил, кто ты есть: потому ты и живым в такой войне остался! Небось потроха со страху вянут... а?

— Не надо, пусти... — пробормотал Дыбок, отпихивая его от себя. — Нехорошо тебе будет... пусти!

Они сравнялись в силах, и, возможно, радист четче командира понимал теперь действительность, потому что прежде него почувствовал, что немцы уже тут. Еще и снег не хрустел, и глаз не видел, но только как-то теснее стало в пространстве ночи... Двое, как всегда ходят немецкие связисты, шли по линии, пропуская провод в ладони. Они нашли место обрыва и остановились — неожиданное продолговатое пятно стога заставило их насторожиться. Сквозь бурелом соломы, коловшей лицо, Дыбок отчетливо увидел, как левый поднял автомат. Тот же, левый, спросил быстро и негромко: Кто там? — а другой засмеялся и, возможно, пошутил, что солома не обязана откликаться даже на немецкую команду.

— Бери правого,— шепнул Собольков товарищу, и тот услышал.

Немудрено было догадаться, что кто-то унес кусок провода... Пока один немец, став на колени, подключался к линии, другой двинулся по следу Литовченки, водя автоматом, как таракан усами. Он был и длинный такой же, как таракан, с утолщением посреди от хорошей пищи; возможно, он и мастью также походил на таракана-прусака... Он проходил мимо, на нем была пилотка с приспущенными наушниками, чтобы уши не зябли. Дыбок упал на него всей своей зыбкой тяжестью, и странно было, что у того не переломился позвоночник. Собольков также ударил своего гранатой, как кастетом, но промахнулся. Так началась эта маленькая и неравная битва... Немцы были свежее, перед выходом они поели жирных наших щей и хорошо выспались на теплой лежанке; им недоставало как раз того, чем с избытком располагали их противники,— чувства поруганной справедливости и голодного исступления мертвой хватки. Уже оба лежали снизу, и один вслепую царапал рот Соболькову, а другой, наполовину примирясь с неизбежным, мокрый и полузадушенный, смотрел в нависшее над ним лицо судьбы. Он был много крупнее Дыбка, которого вдруг стала покидать уверенность в исходе. Наступала та степень взаимного изнеможенья, когда и плевка достаточно, чтобы опрокинуть врага, но и на плевок не хватало силы.

— Брудер... — прохрипел тот, что был внизу, даже не пытаясь дотянуться до автомата, упавшего поблизости; он упоми-

нал, кажется, также слово *муттер* и, кажется, испробовал силу слова *швестер*, перечисляя все степени родства, какими можно было проникнуть в старинную славянскую жалостливость.

— Не брудер, а бутерброд... — неистово сказал Дыбок, и еще не родилось могущества на свете разжать его пальцы. — Я тебя двадцать лет брудером звал. Я тебе карман и житницы раскрывал свои, в самую душу пускал тебя... а ты мою сестренку на жеребьях делил! Ах ты брудер, сукин сын!.. — Оно опалило его разум, подлое иудино слово; искра добралась до пороха.

Ему хотелось только заглушить скорее этот чужой, нечистый голос. Стало очень тихо, хорошо. Дыбок не заметил, как подошел вполне спокойный Собольков с автоматом и документами своего противника.

— Отпусти... теперь не убежит,— велел он, вытирая испарину и кровь с лица. — Ишь смирный лежит... многоуважаемый. Скажи, чтоб вставал да приятеля на стог завалил... Нечего ему тут на виду валяться.

Дыбок еще стоял на коленях, шумно переводя дыхание. Он не слышал, только эхо *брудер*, *брудер* по-обезьяньи скакало и дразнило его со всех сторон. И то самое, в чем он когда-то усомнился: пар валил из его подмышек; он посмотрел на руки себе и не увидел их,— желтые фонари качались в глазах. Он хотел лишь пожаловаться Соболькову, в какую бездну затоптал человека фашизм,— и тотчас же забыл об этом. Зато ему было тепло теперь, только очень хотелось есть. Ему так хотелось есть, что даже не замечал, как стало ему тепло теперь. Лейтенант повторил приказание пленному и толкнул ногой его огромную ступню.

— Вставай... обиделся? Думал, в трактир на радостях поведем?

Тот не хотел. Собольков наклонился к лежащему. Открытый мертвый глаз связиста пристально и так нехорошо глядел поверх его головы, что Собольков отвернулся. Лишь теперь он заметил, что живые не могут долго лежать так, с выкрученными назад руками.

— Видать, переложил я в тебя своего лекарства, Андрюша,— усмехнулся он, поднимаясь. — Жа-аль... Что ж, и то хлеб! Знаем, по крайней мере, в какую сторону пушку целить. Помоги мне...

Они вскинули немцев в те належанные ямки, где недавно сами, ухом к уху, коротали ночь... Провод пригодился: Собольков самолично починил порезанную связь, из расчета, что это отодвинет появление второй, усиленной, немецкой группы па срок, достаточный для откопки танка. Тропинкою Литовченки, следом в след, они вернулись назад, захватив все, ненужное теперь связистам.

Шагов через двадцать лейтенант резко обернулся в сторону тех, с кем они только что поменялись местами.

— Кто там? — вполголоса окрикнул он и постоял, что-то соображая; со стога не ответили. — Какое у нас число сегодня?.. двадцать второе?

Он и сам знал, что время перевалило за полночь, но, как в воздухе, нуждался в подтверждении товарища.

— Нет, теперь уж двадцать третье потекло,— ответил Дыбок, вглядываясь в небо, как в большой календарь; он поежился и широко зевнул. — Морозит, хорошо... а то совсем наш брат танкист замаялся. Чудно... никогда мне есть так не хотелось, лейтенант!

11

Еще три больших часа длился нечеловеческий труд, из которого в равных долях с опасностью и скукой состоит война. Похолодало, изредка прогревали мотор. Все были мокрые, все успели побывать под танком. Молча сменяя друг друга, теперь они жалели силы даже на шутку. Первым выбыл Обрядин; сквозь рукав легко прощупывалась опухоль на локте. Он взялся за флягу и сразу бросил ее на дно танка, чтоб не дразнить себя оставшимся полуглотком. Потом лейтенант приказал водителю поспать часок до рассвета, перед тем как тронуться в путь. Последнюю четверть часа он копался сам, в одиночку, в липкой, стынущей гуще.

Корма опускалась,— и крутизна наклона становилась преодолимой для мотора. И в третий раз Дыбок по колено вступил в воду, чтобы выпустить целое озеро ее через аварийный люк. Зато потом он разулся без всякого разрешения и оставил обувь сушиться на полуостылой решетке трансмиссии: воевать вовсе босым было бы ему не в пример легче.

— Ну... будем живы,— повторил давешнее слово Собольков и засмеялся. — Ангел мщенья, а не машина. Доброе утро

тебе... ангел! — взволнованно прибавил он, обходя танк и лаская рукой его ходовые части.

Давно, ребенком, в глухой староверской моленной на Алтае он видел одного такого ангела, которого в рост, на кривой, как корыто, доске изобразил дотошный и поэтический богомаз. Непонятно, как не отвергла церковь его жестокого и чрезмерно приземленного творенья. Ангел был щербатый, некрасивый и худой, в будничной рабочей одежде цвета неостылого пепла; широкие, едва ли не демонские крылья были опалены от груза пламени, который ему постоянно приходилось таскать на себе. Ему не ставили свечей, старухи обходили его, избегая попадаться на глаза, и было страшно представить в действии это мифологическое созданье суровой совести неграмотного сибиряка... Было что-то от ангела мщенья и в двести третьей, как стояла она сейчас, обратясь лицом к врагу, невредимая после стольких бедствий, если не считать оторванного буксирного крюка, смятых надкрылков и многочисленных вмятин, лишь умножавших ее гневную и грозную красоту. Белесый ледок успел намерзнуть на железных веках ее триплексов; она, как живая, помигала ими, когда Собольков разворачивал машину.

Было еще темно, но предметы, казалось, уже сами отдавали свет, поглощенный ими накануне; представлялось рискованным отправляться в рейд по полутьме. Просторная и торжественная, словно перед громадным праздником, удлинявшая пространство, заставлявшая сосредоточиться и говорить шепотом,— такая была тишина! Кое-кто уже пробуждался, и раньше всех — ветер. Он донес мягкий и вкрадчивый отголосок орудийных залпов; экипаж слушал эту кошачью поступь проснувшейся войны с сердцебиеньем, точно весточку с родины. В такие минуты предки этих людей надевали чистые рубахи... Потом, все приведя в боевой порядок, экипаж сидел на своих местах, торопя рассвет и стараясь лишь не прикасаться к металлу. Здесь потихоньку стал застигать их сон.

Он уже давно бродил возле танка и заглядывал в щели, как лазутчик. Вяло и молча мечтали о теплой лежанке или хотя бы о костерке, но у одного уже спала рука, а другой не мог пошевелить пристывшею к железу ногою.

— А знаешь, Соболек... этак задремлем мы тут по-апостольски и не заметим, как вознесут нас живьем на небеса,— заговорил Обрядин, сдвигая шапку на левую бровь. — А ну, скрути мне кто-нибудь дыхнуть разок, а то рука... от холода онемела, не сгибается. — Ему даже не столь хотелось пополо-

скать себя дымком, сколь подержать в ладошке милый уголек цигарки. — Недаром и стишок сложен такой: «Папиросной ароматной мне приятно подымить. У ней дымочек аккуратный, на концу огонь горит...»

Он покосился на Дыбка, не терпевшего обрядинской поэзии, но и тот оживился при упоминании о махорке. Этой божественной русской крупки у Обрядина с избытком хватило бы на всех, включая и Литовченку, если бы тот не спал сейчас в обнимку с Кисó в дебрях итальянской шубы; пар и храп валили из щелей. Бережно, как святыню, Собольков достал коробок со спичками; вспышка осветила три с нетерпеньем протянутых к огню самокрутки. Из четырех последних не загорелась ни одна, и надо считать, в эту самую минуту начальник всех тружеников спичтреста с грохотом проснулся на своем диване от добротной братской, к сожаленью — мысленной, оплеухи; тут и пригодилась трофейная зажигалка у Дыбка. Мороз и усталость, однако, брали свое, и тяжкая дремотная лень, такая неодолимая перед рассветом, все больше вливалась в тело.

— Соври нам что-нибудь, Соболек,— попросил тогда Обрядин, и его поддержал тот самый Дыбок, который с детства не любил сказок, потому что сам собирался бессчетно творить их наяву. — Про что-нибудь такое соври, чего на свете не бывает.

Собольков молчал; было в нем маленькое смущенье перед этими людьми за себя вчерашнего, хоть и не обнаружилось ни в чем его мимолетное малодушие перед неизбежным. Но по мере того как прибавлялось свету, полнокровная радость вступала в него, как бывает всегда, когда, пройдя через узкое горлышко ночных сомнений, вырывается душа на простор нового утра. Он молчал, не зная лишь, какую сказку выбрать из тысячи: любую окрашивала личная, собольковская горечь и рушила ее степенный, строгий лад...

— Есть у нас одна гора такая, вся бирючиной заросла,— начал Собольков, чуть стесняясь вначале, словно самое сокровенное рассказывал про себя, и глядя, как движутся во тьме огоньки цигарок. — Там, под навесом, каменная коечка, на ней постелено моховое одеяльце. Я шел раз из МТС, прилег от жары и сам слышал, как птица птице сказывала. Может, и неправда, ведь кто ее проверит, птичью быль!.. Будто проживал там поблизости, в стародавнее время, один обыкновенный гражданин, только служил в кооперативе. Имел хозяйство с яблоч-

ным садиком, жену, трех девчурок краше вишенок... и все три в одну недельку закатились. Пойдут по ягоды, шажок в сторону, да две приступки вниз, где поспелее,— а уж там ждут, кому надо. Брехали, что змей семиголовный поселился, он девок и таскал. Вырастит, музыке обучит, потом женится по всем правилам: видать, еще в соку был. Конечно, нонешние профессора это опровергают, но, значит, тогдашняя наука послабже была!.. Так и замухрел с горя мой мужик. Всегда при нем бутылочка — сидит, срывает цветы удовольствия. Что и накрал — весь прожился; а жена только пышней цветет, ходит, коленкором шурстит. Кстати, весна выдалась крутая, деревья почку — во наиграли!

А в ту пору все попроще было. В горах жили странники, собирали травы для аптекоправления. У нас в Сибири беглых много проживало. Один и забрел на дымок. «Чего ты печальная, хозяйка?» — «А что тебе, дедка, печаль моя?» — отвечает. «Ежели грех мутит, то не беги. Им спасаемся, в ём огонь. Без него погнили бы от святости. — Она сперва брыкается, как всякая верная жена... совесть заглушить, чтобы удовольствию не мешала. — А коли хочешь свой огонь притушить, нá, отпей глоток». Пригубила она из его ковша, да и проглотила горошинку, и с того сына родила. Мужу так объясняла, а как в точности было, науке неизвестно. Назвали сына Покати-Горошком. Стал парнишечка расти, матереть не по годам. По седьмому году кралю себе завел, даже перстеньками обменялись. Чистенькая да кроткая, ровно яблонька, только никогда, никогда не осыпается ее цвет. Словом, т а красавица! Скажи, с каждым днем расширялось у него сердце к этой барышне, пока и ее змей не уволок. Тут заказал он родителю железный батожок, чтоб ни сломать, ни согнуть. «Отвоюю я себе невесту, а тебе дочерей. А из этого зеленого бабника наделаю костей в полном, как говорится, объеме». Всей округой и сготовили ему три палки. Две Покати-Горошек сразу в узелок повязал, скорбно посмеялся: «Нет, эта мне негожая!» А про третью, что семь кузнецов ковали, сказал: «Это моя палка». Мать ему сухарцов насушила, фотокарточки с каждой дочки дала; хоть и переросли, а признать можно. Отправляется в путешествие!

На пятые сутки попадается ему при горелом селе мужчина, тощий да длинный да коряжистый, на башку короб берестяный надет. Облокотился о колоколенку, куполок промял, плюется... все норовит плевком птичку мимолетную подшибить.

«Как зовут,— Покати-Горошек спрашивает,— и почему при таком теле имеете такой слабый ум?» — «Я есть Вырви-Дуба,— отвечает,— не знаю, где мне силу применить. От этого и расстраиваюсь». — «Мне таких и надо. Известен мне один адресок, могу услужить, пойдем вместе!» Неделю-вторую идут, вода им дорогу переступила. Они в обход, видят — такой же мужчина в озере купается... только этот в ширину, наподобие шара, раздался. Башку окунет, вода на семь метров подымется. Ну, документов у голого не спросишь. «Дозвольте поинтересоваться,— наши говорят,— кто вы есть, такой беспорядок устраиваете?» — «А я Переверни-Гора,— объясняет. — Сковырнул сейчас одну, да вот взопрел малость». — «Какие бесполезные пустяки! — наши усмехаются. — А ведь по врагу и сила мерится. А лучше мы вам такого господина предоставим, что все человечество в ножки вам поклонится». Взяли и его в компанию... Так они месяц шли, сухарцы кончаются, застает их в дороге вечер. Подобрали на ночлег развалённую хатку, а утром гадать принялись, как им пополнить продовольствие. Решили подкопить харчей охотой; ушли, а Вырви-Дуба хозяйкой оставили. Ходят, дерево с дичью приметят, Переверни-Гора ладошкой прихлопнет — и все наше!..

— Ты поглядывай кругом, Осютин,— неожиданно вставил Собольков, но никто не заметил его оговорки.

Теперь слушали Соболькова все: Литовченко, проснувшийся как по тревоге, слушал Обрядин, в интересных местах подталкивая Дыбка в плечо, чтобы обратил внимание, слушали американская, шибко помятая при аварии девушка и Дыбкова несчастная сестра; самые стены танка, казалось, жадно впитывали человеческое тепло сказки. Она создалась давно, когда другие люди сидели вот так же вокруг Соболькова: незабвенный Алешка Галышев, а рядом великан Осютин, едва умещавшийся в тесной башнерской келье, а наискось вниз — Коля Колецкий, верный друг, закопанный с дыркой в сердце в мерзлой россошанской земле. Потухшие цигарки не освещали лиц, и рассказчику казалось, что именно они слушали его, милые, непобедимые, все еще живые. Тогда Собольков еще не знал про измену жены, и сказка имела простодушный и счастливый конец.

— ...А Вырви-Дуба тем временем сварил последнюю солонину, горницу подмел березкой, сидит. Вдруг под ногами голос является, ссохшийся, не из ихних. «Полно носом-то клевать, отпирай!» Распахнул — никого за дверью, а только стоит при

порожке удивительный дед, вполне карманный: четверть сам да бородища в три четверти. «А ну, пересадь меня через порог,— хрипит. — А ну, подмости под меня, чтоб я грудями до стола касался. Обедать наварил? Давай!» — «Не имею права,— Вырви-Дуба отвечает. — Питания не хватит на товарищей». — «Я тебе приказываю!» Да швырк ему полено под ноги. Повалил долговязого, спинку ему разрезал перочинным ножиком по это самое место, соли под шкуру насыпал, мякишем залепил, обед скушал — и до свиданьица!

— Ты уж не торопись, товарищ лейтенант, в сказке все — самое важное,— сказал Литовченко.

— ...В ту ночь кое-как обошлись, а наутро Переверни-Гору оставили. Однако та же картина, только соли больше ушло. В третий раз Покати-Горошек остался. Дед ему командует: «Поставь меня на стол. Давай, а то время нет. Я люблю, когда меня хорошо кормят». — «Нет, это не те ребята, что вчера были»,— Покати-Горошек отвечает. Дал ему хорошо, сбил, вытянул во двор за бородищу, еще дал для памяти... А там валялся дуб, водой подмытый. Он комель надколол, бороду запхал в трещину, сидит у окна, размышляет про свою королевну. «Когда я цвет твой увижу, яблонька моя?..» Приятели вернулись, смеются. «Соли-то хватило на тебя?» — спрашивают. А он: «Пойдем, покажу!» Смотрит — ни деда, ни дуба во дворе: сбежал. А этот дед был тот дед!.. Ладно, надо выходить из положения. Четыре километра шли они следом, как дуб корнями прочертил, видят — за кустками дырка в земле, а на дверце золотая шишечка — открывать. Заглянули — голова кругом пошла: бездонная трубища, в концу светлое пятнышко, но человек, между прочим, свободно пролазит. «А ну, рви корни, вей веревку... чего силе зря стоять! Вей аж до Берлина...» Те свили, дрожат, такой у них страх создался: а вдруг Покати-Горошек лезть их туда заставит? «Ладно, сидите уж тут,— он их утешает,— ждите меня месяц, а как дерну ту веревку, тяните потихонечку, чтоб не порвалась...»

— Я эту сказку слыхал,— вставил Обрядин, пока Собольков закуривал притухшую папироску. — Они все змеиные сокровища да кралю его наверх подымут, а самого внизу оставят.

— Нет, браточек, с тех пор подрос, умный стал Покати-Горошек,— непонятно поправил Дыбок. — Еще кто кого, думается мне, обманет!

Сказано было гораздо больше, чем уместилось в пересказе. Там были камни и звери, говорящие на иностранных языках,

прозорливые одноглазые старцы, реки, что в бурю гуляют на своих водяных хвостах, бездонные пропасти, куда скатывался заветный перстенек, и прочее, точно рассчитанное по времени Собольковым... Неторопливо подступал рассвет. В сизой мгле непоследовательно, как на негативе, проявлялись, бессвязные пока, черные и белесые пятна. Расстояния изменялись на глазах, но тьма еще надежно держалась в небе, и можно было лишь догадываться о значении смутной бахромы, протянувшейся по ровному ночному месту. И то, чудилось, шевелился ближний кусток, то пригибался кто-то к земле, врасплох застигнутый обрядинским глазом. Теперь только сказка да мысль о солнышке и согревали продрогший экипаж двести третьей.

— ...Словом, долго он спускался, все руки ободрал. Огляделся, видит — туда-сюда шоссейная дорога, на ней след от дуба процарапался. Ладно, двинулся по тому ориентиру. Жуть его забирает — под землю попал, а вокруг такая обыкновенность... только все как бы плохими спичками приванивает. А сердечко-то чует, как кличет она его: «Томлюсь в темнице, торопись, мой милый, пока не облетел мой пышный цвет!» Наконец видит — город. Средь зубцов развешаны на просушку туловища, руки... разные куски человечества, которое сюда достигало. Головы отдельно кучкой сложены, печально смотрят их впалые очи: «Мы тоже жили и стремились. Остановись, поприветствуй нас, путник!» А при самых вратах — и смех и грех — дед все с дубом возится. «Здорово, старик,— Покати-Горошек говорит и дает ему разок для просветления. — Теперь и я к вам в гости собрался. Сказывай, чьи хоромы и зачем геройские кости по стенкам висят?» Тот ему докладает, что это есть дворец змея. А имеет он не семь, а все двенадцать голов и проживает с главной женой в боковом флигере, налево за углом, пока меньшенькие подрастают. Их всего здесь, змеиных невест, девяносто восемь штук. Лет ему неисчислимо, а кости для острастки висят. «Сейчас, говорит, улетел на тот свет прикупить кое-что и для моциону перед обедом». — «Где ключи?» — «При мне». — «Давай сюда!» Подвязал брюки, чтоб какая ядовитая мелочь не заползла, и пошел. Разомкнул все три парадных крыльца — нет никого. Змеевы холопы, как завидят тросточку, так и прячутся... Идет, каждый уголок по имени окликает: «Милая, отзовись, вот он я!..» В одной комнате непочатые бочки стоят с провиантом, в другой — запасное хозяйское обмундирование — зубчатые хвосты, зимние крылья на черном

меху, когти разного размера... В третьей — товаров целый универмаг: отрезы, чулки, пишущие машинки. Разомкнул он десяту комнату — колена подломились. Сидит его краля за столом, нарядная... как они только нашему брату снятся! Однако с лица малость бледная... с зеленцой... не то от душноты подземного помещения, не то притомил ее прошлой ночкой змей. И при ей девочка сидит на стульчике, худенькая, о трех головках... Змеи им чай с вафлями подают.

Враз она голову повернула. «Вы чего хотели?» — интересуется. «Где, милая детка, твой муженек двенадцатиголовый?» — Покати-Горошек спрашивает. «А вам по какому делу?» — «Хочу его убить для всеобщей пользы». — «Не советую,— говорит и жует вафлю при этом, — а советую, гражданин, скоренько уходить. Он вас погубит». — «Что ж, я это теперь только приветствую...» — «Хорошо, тогда обождите, говорит, в прихожей. Почитайте там газетки со столика!» А сама все дочку потчует: «Ешь, маленькая, ешь, а то у тебя малокровие разовьется!» И тут приметила она свой перстенек у Покати-Горошка — да прыг к нему через стол в его объятья. Дрожит вся, ластится, без умолку говорит: «Я тебя ждала, мне с ним жить хуже смерти. Я буду тебе верной женой. Хотя и обучил он меня различной музыке, но он меня, между прочим, и погубил. Ты сейчас покушай, выпей пока сто пятьдесят грамм, больше не надо, и ложись под койку. А как прилетит да заснет, ты ему головы отрубывай, а я буду в большую корзину складать, чтоб не приклеивались назад. Только остерегись, из его ушей иногда выскакивает опасное пламя... Будем с тобой жить, золото распечатаем, да я еще из одежды запасла. И не серчай, я тебе хорошую, справную дочку рожу, а эту сырой водицей напоим... может, и помрет, бог даст. И таким манерцем мы выйдем с тобой из положения».

Она ему крабы, портвейн придвигает... он не ест, не пьет. Она его хочет целовать, он не может на нее смотреть, мой бедный Покати-Горошек... лишь только головой качает. Сердце его в клочья летит!.. Уж он простить ее собрался, да вдруг представилось ему, как входит к ней муж под вечерок во всем своем змеином сраме, ночной халат нараспашку, а из ворота все двенадцать голов букетом торчат... и целует она их в зеленые их прыщи, по очереди все двенадцать, одна другой краше, и гладит точеной ручкой его подлое ледяное тело. И махнул он рукой на нее, но не убил, а только шатнул от себя тварюку. «Нет, дорогая, я не такой. Посмотри, какой я из-за тебя ошарашка

стал, ведь ты меня и не узнала. Неделями не ел, месяцами не спал из-за тебя. Но зачем ты надругалась над героем?» И заплакал на женскую любовь, а потом вышел, опустя голову, из змеиного дворца, видит — дед. Высвободил ему бороду, посидели они тут, свернули по одной, покурили. «Так-то, дед, зря я тебя обидел. Лучше бы мне и не приходить». А тот смеется. «Ласки в тебе мало, молодой человек,— отвечает,— небось всё в делах. А ведь женщина что чурка: лизнуло огоньком— и горит. Я это дело по своей старухе на практике изучил... Ты знаешь, отчего я седой? Так я скажу тебе, отчего я седой...» И только зачал он про себя рассказывать, прошумело над ними небо. Глядь — летит с зеленым выхлопом большая лысая птица, целая гроздь виноградная заместо головы...

Дальше Собольков не сказал ни слова, Обрядин тронул его колено.

— Идут,— шепнул он, и все поняли, что ночь кончилась и наступил долгожданный день: башнер также спросил взглядом, нужно ли закрыть люки, но лейтенант отрицательно качнул головой.

Бахромка в поле оказалась густой кустарниковой порослью, за которой виднелись деревца и повзрослей. Полем деловито шли немцы, шестеро, но, может быть, их было восемь; они шагали, видимо, не по целине, потому что двигались быстро и не проваливались в снегу. Патруль увидел двести третью и свернул к ней с дороги. Произошло маленькое совещание, они залегли, и Собольков пожалел, что заблаговременно не положил дымовую шашку на плиту моторного отделения. Но лежать так было глупо; кроме того, танк мог оказаться и своим — немецким, подбитым во вчерашнем сраженье. Двести третья молчала, немцы стали расползаться цепью. Отделясь от потемок, двое в рост двинулись вперед со связками круглых и на длинных ручках банок, похожих на большие детские погремушки. Ноги едва волоклись, им не хотелось; сзади их подталкивали криком и, донеслось, припугнули чем-то вроде Гитлера. Самоубийцы приближались с частыми остановками и в смертной надежде силясь рассмотреть на танке его грозную рану. Наблюдать из-за броневой стены их петушиное недоумение было смешно и весело. Один пошел в обход. «Без команды не стрелять»,— почти вслух приказал Собольков... Расстояние сокращалось, но он знал, что не бывает таких силачей, чтобы связку гранат швырнули за тридцать метров. Так чего же еще

жаждал он испытать в жизни, куда заглянуть стремился этот не раз простреленный человек? Ждал, когда подымутся остальные, или просто смеялся над собой за вчерашнее?.. Извернувшись, Обрядин тискал ему колено здоровой рукой: такая игра происходила не по уставу. Но теперь все происходило не по уставу. Не разрешалось отрываться от штурмующей бригады или сидеть ночь в противотанковом рву; кроме того, двадцать третье число также не было обозначено красным праздничным цветом в уставе... Те опять залегли, и стало слышно, как левый, передний, судорожно плачет и корчится, уткнувшись лицом в снег. Видимо, он был не из героев.

— Испугался, дерьмо... — каким-то тягучим голосом сказал Дыбок, заражаясь волнением Соболькова. — Цып-цып-цып,— позвал он еле слышно, но те лежали; он еще позвал, послышней, и тогда, как бы повинуясь, те поднялись в окончательную перебежку.

— Заводи! — в голос крикнул Собольков.

12

Так началась война и в этом рассветном затишье. Гул мотора слился с беспорядочным треском стрельбы. Кому было положено, те сразу свалились навзничь, а другим немцам дано было видеть еще полминуты, как, вспугнутая, вилась и галдела над лесом галочья разведка. Двести третья намеревалась прорваться по прямой, как ей было короче, но сбоку застучал по броне станковый пулемет, и она сделала небольшой крюк, чтобы наказать дурака за бесцельную трату патронов. В зимнем эхе лесов, как в зеркалах, отразилось множество батарей. Артиллерия проснулась, лишь когда двести третья, отвернув пушку назад, чтобы не повредить при таране, уже углубилась в перелесок... Подобие лесной сторожки попалось ей на пути; Литовченке на мгновенье показалось, что видит в упор, в триплексах, перед собою стол с самоваришком и немецких командиров, мирно сидящих вокруг: они так и не успели сообразить, что помешало им попить чайку во благовременье... И еще километра три мчалась двести третья по опушке, выбирая полянки и стараясь не выдать своего направления падением сбитых деревьев... Им попалась прогалинка в мелком ельнике, там сделали они остановку — осмотреться, оправиться, принять последнее решение. Собольков отбежал с компасом

метров на десять от машины, но стрелка объяснила ему не больше, чем подсказывали чутье и опыт; вдобавок события ночи неминуемо должны были смешать диспозицию вчерашнего дня. И тут Собольков произнес самую краткую свою речь; ему хотелось, чтобы каждый в отдельности и вслух подтвердил свою решимость на то грозное и нечеловеческое, что не умещается в обычном приказании.

— Вот, товарищи... — И ростом выше стал, и засмеялся, радуясь чему-то, как мальчик. — Неизвестность окружает нас! Мы нынче как заноза в немецком теле... и выручки нам ждать не приходится. Но мы, танкисты, особый народ... они не жалуются на долю. Ихнее сердце и в огне смеется над судьбою!.. Мое решение — вперед и напролом идти. Чтоб ветер не догнал, так лететь. Так биться, чтоб навек у них застряло в памяти двадцать третье декабря. Но... может, неправильно я болтаю, Андрей? Ты ведь холостой, детишек нет у тебя... тебе драться не за кого, а? Ты, Вася, одного себе искал для мщенья, а я их тебе сотню враз подарю. Бери жадней, сколько в горстку влезет. А ты, повар, чего потускнел? Ой, не любишь ты беспокойства в жизни. Твою силу три раза вкруг земного шара обмотать... да еще черту шею сломать останется! Прав Андрюшка, не обожает беспокойства русский человек. Сам того ж племени, знаю. А скажи, можно ли задарма экое серебро отдавать?

Он окинул глазами зимнее убранство леса, строгие елочки в снежных коронках и с царственным горностаем на детских плечиках, небо — громаднейшее, как родина, самый этот снег, легкий и лапчатый, еще на синей ночной подбивке, но уже волшебно и ало подкрашенный сверху. Его сердце зашлось, его голос срывался. Никогда в такой вещественной прелести не воспринимал он родной природы, ее вкрадчивых шорохов и запахов,— все ему было дорого в ней, даже эта знобящая, шероховатая тишина. Обрядин глядел себе в ноги; вдруг его лицо потемнело, точно Собольков, тряхнувший седым хохолком, кнутиком хлестнул по самому больному месту.

— Решай, Сергей Тимофеич! А и убьют дружка твоего, товарища Семенова Н. П., — другие хозяева найдутся. Ведь тебе главное — было бы кому жареного медведя в томатах подавать. Ну, вали, потрепись, коли охота... пока земляки кровь льют!

— Чего меня терзаешь... али я слабже тебя, лейтенант? — поднял голову Обрядин, и что-то пугачевское, черное, атаман-

ское слепительно блеснуло в его взоре,— блеснуло и, не выплеснув, погасло. — Я тебя постарше буду, во мне твоей прыти нет. Куда собрался? Что в уставе сказано? Глава восьмая, двести сорок четвертый номер... действовать в составе танкового взвода, в боевом порядке место сохранять, поступать по заданиям командира. Где все это у тебя? А обождать бы,— глядишь, наши и придвинутся. Ишь воздух-то гудет! — А то не воздух, то сердце шумно билось в нем самом. — Но ты прикажи, я выполню!

И тогда, злой, машистый и веселый, ударил его по плечу Дыбок.

— Везет тебе, законник... везет тебе, Сергей Тимофеич,— с двух приемов выговорил наконец он. — Везет тебе, друг милый, что есть при тебе Советская власть. Без нее, точно тебе говорю, так и слонялся бы ты по земле на манер Вырви-Дуба... вконец извелся бы, что силушку некуда приложить. Ну, хватит, поговорили, лейтенант. Пора, а то вон пташка смеется... — И верно, какая-то одинокая синичка резво порхнула с ветки, осыпая снег. — Садись, поехали!

Обрядин переключил горючее на левый бак, Собольков приказал закрыть жалюзи мотора, на случай, если кинут бутылку с бензином. Литовченко надел рукавички, чтобы так и не вспомнить о них до самого конца... С опушки они огляделись в последний раз, стараясь угадать место и высмотреть добычу. Ничего там не было впереди, кроме неба с голубыми морозными промоинами да сожженного села под ним. Да еще дикая простоволосая женщина, без возраста и худая до сходства с дымом, встала им на дороге. Все в ее жизни покончилось, она тащилась до первого германского патруля... Высунувшись из люка, Собольков посоветовал было ей сидеть дома и спросил кстати, как называлось когда-то село, лежащее ныне в безжизненных головешках.

— Война, где мои дети... где мои дети, война?! — тягуче и безнадежно простонала та, цепляясь за надкрылок. Ничего там не оставалось, в ее красных обветренных веках,— ни разума, ни страданья, ни самых зрачков: все съело горе и не подавилось.

Понадобилась третья скорость, чтобы оторвать машину от ее рук; встреча подстегнула ожесточенную удаль экипажа. Отсюда начинается тот баснословный кинжальный рейд, о котором лишь потому своевременно не узнала страна, что он затерялся в десятке ему подобных. Поколениям танкистов он мог

бы служить примером того, что может сделать одна исправная, хотя бы и одинокая тридцатьчетверка, когда ее люди не размышляют о цене победы... Впоследствии даже участники не могли установить истинную последовательность событий: действительно ли автомобильный парк немецкого мотополка стал первой жертвой Соболькова или тот эшелон с боеприпасами, что рвался вплоть до прихода нашей основной бронетанковой лавы. Все спуталось в их памяти, утро и вечер, лето и зима, явь и бред,— самый пейзаж, наконец, так прыгавший в смотровых щелях, словно разрезали пополам и сложили обратными концами... Блаженная теплота, исходившая от перегретых механизмов, превращалась в зной; к исходу боя все в танке сравнялось веществом и температурой. Показания уцелевших как раз и сходятся лишь на том, что отменно жарко стало в машине.

Зарывшись в тело германской дивизии, двести третья низала его во всех направлениях: так движется во внутренности танка ворвавшийся снаряд, пока не погасится его живая сила. И как снаряд не жалеет себя, вламываясь во вражескую броню, так и люди забыли об опасностях своего стремительного бега. Здесь следует искать причину, почему до самого конца ни одно попаданье из всех, какие двести третья во множестве приняла на себя, не оказалось для нее смертельным. Но уже не удивляла и не пугала командира чудесная неуязвимость его машины!.. Одна могучая бронированная громада с белым фашистским крестом вырвалась из сарая наперерез двести третьей; стальной тоннель пушки уперся круглым мраком в ее сердце. Неприятели выстрелили одновременно. Ветер немецкого промаха на мгновенье оледенил лейтенанта; все болты и клетки напряглись в своем технологическом пределе... Вражеское железо пылало, видимо, стрелка ослепило солнце, что поднималось за танком Соболькова; теперь все, даже это холодное медное светило работало на гибель Германии.

— Нет, сперва ты, а потом уж я!.. — сорванным голосом, торжествуя, закричал Собольков.

Гром и треск огневой погони остались позади. Пока преследовать двести третью было некому. И тогда, круто вывернувшись из-за бугра, они увидели высокую гряду насыпи. Она была полна немецкими солдатами, повозками, машинами и лошадьми. Все это двигалось в сторону, обратную той, откуда пришла двести третья. Не обмануло Соболькова солдатское чутье. Это было шоссе.

Тяжело дыша, приоткрыв грузные веки, двести третья, не мигая, смотрела из-за кустов, смотрела туда долго и страстно, точно хотела, чтобы досыта насладилось око, прежде чем доверить железу самую работу мщенья. Тихо, на малых оборотах, рокотало ее сердце и что-то уже бесповоротно надорвалось в нем за два часа исполинской расправы. Слабый звенящий вой слышался в его неровном гуле, но такой же тонкий и пьяный звон, словно от вина, стоял и в ушах экипажа. Как в кочегарке плохого парохода, машинный чад выбивался изовсюду; масло достигало почти аварийной температуры — 130. Собольков взглянул под ноги себе: снаряды были на исходе, дисков не хватило бы даже пунктиром пройтись по всему горизонту. Он также увидел живое белое пятно на полу, блестевшем от масляного пота. Это был Кисб, которому, видно, разонравился жаркий климат итальянской шубы и начинало пугать такое затянувшееся землетрясение. Озабоченным, вопросительным взором он скользнул по своему беспокойному командиру.

— Терпи, Кисб... недолго осталось,— мигнул ему Собольков. — Скоро приедем домой, а там и Алтай близко, будут тебе щи со свининкой... слышишь, варятся? — И правда, издалека, из снежной сини, внятно доносилось как бы глухое бульканье варева.

Возможно, что и это он сказал лишь мысленно: его все равно заглушил бы другой, неслышный и нечеловеческий крик, от которого давно оглохла душа: «Вот они, вот... убийцы, поработители, изверги!»

Шоссе в этом месте поднималось на мост, который легкой журавлиной ступью перешагивал реку. Плоское, сплющенное и цвета отпущенной меди, восходило солнце. Мороз нарядно приодел деревья, и праздничное затишье этого первозимнего дня оглашали лишь истошный немецкий окрик да еще однообразный шелест движения, стлавшийся над крупнейшей артерией фронта. Плотная черная кровь текла по ней в сражающуюся руку, которую на протяжении часа должны были отсечь от тела. Основной инвентарь убийства уже работал на передовой, и теперь, вперемежку с подходящими резервами, туда подтягивались подсобные товары германской стратегии. С расстояния полувыстрела это казалось безличной пестрой лентой... но и в полном мраке видит глаз ненависти!

Сама смерть двигалась по шоссе, всякая — в бидонах, ящиках, тюбиках и цистернах, добротная немецкая смерть, про-

веренная в государственных лабораториях, смерть жидкая, твердая и газообразная, смерть, что кочевала по нашим землям в душегубках. Загримированные под штабные автобусы, они шли здесь в ряду бронетранспортеров и грузовиков, круппов, оппелей и мерседесов, как бы возглавляя их шествие, а за ними, мелким дьяволком и на бесшумной резине, неслось все, что века таилось в подпольях германских университетов — скотские бичи на наших мужиков, гвозди — прибивать младенцев для мишеней, негашеная известь и сквозные металлические перчатки для пытки пленных, черная паста, что вводится в ноздри грудных для умерщвленья, пустые и жадные чемоданы под трофейное барахло и мины, пока еще безвредные, бесконечно замедленного действия, не уловимые приборами мины на святыни и элеваторы, обсерватории и школы наши — когда они наполнятся детворой. Горемычные лошадки, выбиваясь из сил, тянули этот инструментарий страданий, и даже пешие маршевые батальоны опережали их. Эти шагали уже без песен, скучные и томные, но еще прочные — железная связка фашистских отмычек к сокровищницам мира, отребье, стремившееся поселиться во внутренностях человечества; трехтонки с фабричными деревянными крестами сопровождали их, смертельно раненных мечтой о надмирном могуществе... Все это двигалось в самое пекло битвы, чтобы, распылясь в ничто, обратиться в поражение; они еще не знали, что творится у них на левом фланге. Было шумно, но не очень весело в этом потоке: двести третьей не хватало им для оживления!

Так крадется охотник, чтобы не спугнуть трепетную дичь,— двести третья медленно набирала скорость. Удобный отлогий подъем выводил дорогу на шоссе; став в сторонку, германский штабной связист копался здесь в своем мотоцикле, пока другой материл его по-немецки из прицепной коляски. Оба они увидели над собою танк, когда он стал величиной с полнеба... Задние шарахнулись, передние не успели понять, что случилось за спиной. Норовя уйти от гибели, трехосный, специального назначения, бюсинг зарылся было в свои же повозки, но Собольков подумал только: «Куда, сатана!» — и тот через мотор, наперегонки со своими ящиками, закувыркался под насыпь. Этим ударом открывается победоносный бег двести третьей к ее немеркнущей военной славе.

— Твои!.. — крикнул Собольков, даря водителю весь этот черный, многогрешный сброд, застылый вокруг его гусениц.

В каждом мгновенье есть своя неповторимая подробность, которой не превзойти последующим столетьям. Защищая своих малюток от дикарей, мой народ создаст боевые машины утроенной мощности, но страшней и прекрасней двести третьей у него не будет никогда. Стоило бы песню сложить про это крылатое железо, которого хватило бы на тысячу ангелов мщенья, и чтобы пели ее — пусть неумело! — но так же страстно и душевно, как умел Обрядин... Двести третья недолго пробыла в схватке, но ради этих считанных минут не спят конструкторы, мучатся сталевары и милые женщины наши стареют у станков. Так, значит, не зря мучились они, не спали и старели!.. Танк швыряло и раскачивало, как на волне; движение почти поднимало его над гудроном, и тогда верилось — на первом препятствии вылетят пружины подвесок или лопнет стальная мышца вала... Но вот он становился на дыбы и опрокидывался на все дерзавшее сопротивляться; он крушил боками, исчезал в грудах утиля и вылезал из-под обломков, неожиданный, ревущий, гневный, переваливаясь и скользя в месиве, которое щепилось, горело, кричало, вздувалось пеной и пузырем. Все в нем убивало наповал; картечный, с нахлестом, и иной огонь, что лился из всех его щелей, подавлял волю врага не больше, чем самый вид его и то красное, шерстистое, неправдоподобное, что прилипало к броне или моталось кругом, застряв в крепленьях трактов. Никто не плакал, не поднимал рук, не молил о пощаде — у них не оставалось времени на это. Простреленные насквозь, они еще стояли, когда набегал на них танк.

Главное началось потом, как только двести третья вступила на высокое и узкое полотно моста. Любо было видеть, как горохом рассыпалось смертоносное немецкое добро, падая в алую зимнюю бездну, а лошади сгибались, точно подвешенные под брюхо на лебедке, а солдаты, которые и шли сюда за этим, цеплялись за колеса машин, подвернувшиеся им в полете. Уже не было перил, и ничего кругом не было, кроме вместительного, насыщенного голубой снежной пылью простора,— довериться ему, опереться о него раскинутыми руками было умнее, чем остаться на узкой ленте шоссе. И он принимал их всех, громадный розовощекий воздух, и, поиграв, швырял с маху о бетонные откосы, а река распахнула лиловый, непрочный ледок, размещая без задержек грузы, войска и технику, прибывшие наконец к месту назначения. И каждый раз горячий

пар облачком вырывался из воды, а отраженное солнце разбегалось на куски, чтобы, порезвясь, снова сомкнуться в круглое, медное, целое... Находились и смельчаки: в исступлении отчаянья они вскакивали на танк, били железом по командирскому перископу или пытались просунуть куда-нибудь гранату, а потом неслись вместе, начиненные ее осколками, свисая и судорожно держась за поручни, пока там, внизу, гусеницы рвали и грызли их тело...

Тут же, затаясь в угрюмых впадинах глаз, в извилинах мозга, в походных сумках, где лежали письма о разрушении фатерланда, тяжелое немецкое сомненье контрабандой пробиралось к Великошумску. Сейчас оно преобразилось в ужас, и он умножал число советских танков, оседлавших шоссе. Он взрывался сам, с силой тола разнося поток по обе стороны магистрали. Его взрывная волна давно опередила двести третью, почти расчистив ей дорогу: все валилось само, чтобы не быть поваленным... Мост, пламя, хруст, трескотня бесполезной стрельбы — все осталось позади. Впереди становилось пусто, и Литовченко перешел на третью скорость, разгоняя танк, как торпеду, единственное назначение которой — взорваться в гуще врага... Лишь одна открытая штабная машина суматошливо виляла на шоссе, выбирая место для безопасного спуска с крутизны. За рулем сидел майор; видимо, то были важные армейские инспектора или знаменитые хирурги — из тех, что крали кровь наших детей для иссякших воровских артерий; им повезло, машина сошла без повреждений. Патронов больше не было на двести третьей, вес и скорость стали ее оружием... Впоследствии улыбались на рассказ Литовченки, будто машина с разгону прыгнула сама, а снежный сугроб и вражеское мясо спружинили ее падение, но таково же было впечатление всех, еще имевших признак жизни, очевидцев... На пути двести третья срезала телеграфный столб, дополнительно ожесточая ужас удара, и только один успел выпрыгнуть, пока двести третья висела в полете,— майор.

Его колени усердно бились в полы длинной шинели, всякие походные футлярчики скакали по бокам, фуражка скатилась с него и слетели очки. Вслепую и не оглядываясь он бежал к ближним кустам, где можно было притвориться падалью,— проваливался в снег и опять бежал: он любил жить! Ему удалось выиграть время,— двести третья не сразу выбралась из ямы, словно мертвые генералы дружно ухватились за ее скользкие катки. Видно было по всему, что надолго майора

не хватит. То был пожилой, средней упитанности фашистский хлюст с майорскими зигзагами на рукаве и, кажется, в хороших заграничных сапогах со шпорами для совращенья девок... Но Литовченко не видел ничего, кроме круглой, как бельмо, лысинки на его затылке; это был он, тот самый, что посмел замахнуться куренком на старуху, и теперь уже никто не уберег бы обреченного германского майора от Литовченки. Изогнувшись, Дыбок поднял передний люк, чтобы догнать беглеца хоть из автомата, потому что не тратить же было на удовлетворение частной потребности последний их, последний в жизни снаряд! Расстояние стремительно сокращалось... и в этот момент сокрушительный удар где-то близ кормы слегка подкинул двести третью.

Левая гусеница была цела и мертва, снаряд ворвался в ведущее колесо танка. Машина тяжко и медленно закрутилась на месте, как бы стараясь ввинтиться в мерзлую землю. Собольков решил сгоряча, что немецкий танк подобрался сбоку. «Вот я тебе, вот я тебе всыплю в посадочную площадку... сейчас, погоди, сейчас!» — бормотал Собольков и все пытался обернуть орудие к врагу, которого еще не видел — сколько его и каков. Второй удар пришелся по венцу башни, и все поворотные механизмы отказали разом. Это был полный паралич, но еще бешено и грозно ревел мотор; в его раздирающий уши звон вплелись неясные смертные стуки... и все же он еще тянул куда-то, уставший жить, но не сражаться.

— Уходи... все! — успел крикнуть лейтенант, тяжестью тела налегая на штурвал пушки. И он никогда не думал, что она будет такой мучительной, тишина последней остановки, когда Литовченко снял ноги с педали. — Лес... бежать... всем... — повторил он криком, которому нельзя было не повиноваться.

Короткий белый полдень вспыхнул в башне. На этот раз попадание было точнее,— Обрядина предохранили казенник и балансиры орудия. Оглохший, полуслепой, точно взглянул на солнце, слизывая соленую горячую росу с обожженных губ, он обернулся к командиру. Тот еще сидел, привалясь к задней стенке, прямой и очень строгий, только непонятная темная дыра, которой не было раньше, образовалась в нижней половине его лица. Его ударило осколком в рот, в самую сказку, незаконченную сказку всей его жизни. Убитый командир еще глядел и, кажется, приказывал Обрядину покинуть танк; и опять — уже в последний раз — ослушался его башнер, как изредка по мелочам делал это и при жизни.

Он привстал, упираясь головой в круглое стальное небо; ему удалось поднять крышку люка и поставить на стопор. Он не заметил, как внизу, сквозь каток, в одну и ту же дыру, туда, где тревожно мяукал Кисо́, вошли четвертый и пятый,— и дрогнули по-братски все семьдесят два трака, и почему-то смертно заломило ноги у Обрядина.

— Погоди, не вались... давай вылезать отсюда,— осипло и почти спокойно шептал Обрядин, вертясь в своей тесной рубке. — Вылезай, Соболек... милый, вылезай. Хватайся за меня, я помогу. Врешь, танкисты особый народ... мы еще во!.. Давай, упрись сюда ножкой, Соболечек мой...

Обхватив лейтенанта, он поднял его на весу, на выпрямленных руках, и если бы даже остался жив теперь, вылежал бы месяц за одно это нечеловеческое усилие. Его зеленые глаза почернели, едва понял, что и у десятка Обрядиных не хватит сил вытолкнуть командира наружу. «Одолели, одолели...» — прохрипел он, усмехаясь на подлую радость того, кто бил его сзади. Тогда-то, без боли и шума, в башню и в спину ему вошел шестой.

Чуть впереди, на шоссе, стояла одна немецкая противотанковая пушчонка. Черт поставил ее там на страже своего воинства. Она расстреливала двести третью в упор, не целясь, со стометрового расстояния, с какого не промахиваются и новички. Уже были исковерканы и сбиты все левые катки, ленивый дым валил из трансмиссии и командирского люка; уже вся двести третья просвечивала насквозь, уже чинить в ней было нечего, а те всё стреляли, дырявя кормовые баки, откуда хлестала огненная кровь, голили ее, сшибали все крышки и, как жесть, разгибали броню; только животный страх, что еще оживет двести третья — без гусениц, без башни,— мог быть причиной такого шквального и уже недостойного огня. Все, что теперь успело снова подняться на шоссе, мрачно и без ликования наблюдало эту солдатскую истерику... Напрасно Дыбок с Литовченкой, прячась за танком, пытались автоматными очередями унять неистовство артиллерийского микроба; он добивал их милый тесный дом, где родилась их дружба, до той поры, пока десятиметровое милосердное пламя не одело его весь, и выстрел из накаленной пушки потряс окрестность как прощальный салют живым. И так продолжалось все это, пока другие зрители не пришли на место расправы.

...Герой, выполняющий долг, не боится ничего на свете, кроме забвения. Но ему не страшно и оно, когда подвиг его

перерастает размеры долга. Тогда он сам вступает в сердце и разум народа, родит подражанье тысяч и вместе с ними, как скала, меняет русло исторической реки, становится частицей национального характера. Таков был подвиг двести третьей... По живому проводу шоссе волна смятенья покатилась на передовую, и тот момент, когда в армейском немецком штабе была произнесена фраза: «На коммуникациях русские танки»,— надо считать решающим в исходе великошумской операции. Одновременно с этим корпус Литовченки с трех направлений охлестнул поле сражения, и третья танковая группа двигалась как раз той трассой, какую за сутки перед тем проложил Собольков... Одинокая размашистая колея двести третьей, изредка прерываемая очагами разгрома и опустошения, вела их теперь к победе. Похоже было — не один, а целая ватага сказочных великанов крушила германские тыловые становища и шла дальше, волоча по земле свои беспощадные палицы.

Штурмовая лава Литовченки размела и свалила под откос остатки вражеской колонны, пропуская в прорыв конницу и мотопехоту. На больших скоростях, как бы церемониальным маршем военного времени, они проходили мимо догорающего товарища. И каждый, кто глядел из люка, или с седла, или с сиденья транспортера, поворачивал голову по мере бега, не в силах оторваться от печального и грозного зрелища. Клочок тепла от этого уже маленького, как представлялось сверху, костерка они на своих лицах уносили в бой... Время перевалило за полдень, двести третья еще пылала, но черные прожилки усталости все гуще струились в мышцах огня. Ветерку не составило бы труда вовсе погасить леностное, остывающее пламя, сквозь которое стал проступать остов преображенного танка... Дело шло к вечеру, и приморaживало. Нестерпимая красота наступала в природе...

Большое солнце опускалось за низкие облачные горы. Глаз легко различал покатые хребты и малиновые склоны, пересеченные глубокими лиловыми распадами; розовые реки и спокойные озера светились там, недвижные, как в карауле. Возможно, сам Алтай в праздничной своей одежде припожаловал через всю страну проводить земляка в вечный путь танкистской славы. А тот, в ком есть отцовское сердце, отыскал бы там, в огне заката, и каменный стол под моховой скатеркой, за которым отдыхал не однажды со своей дочкой Собольков... Чуть вправо от этой родины героев сказочно и совсем близко рисовался синий профиль Великошумска, потому что пригоро-

ды его начинались тут же рядом, за тонким полупрозрачным перелеском. Мускулистые стылые дымы поднимались над ним; казалось, само горе народное встало на часах возле двести третьей... Тем отрадней блистал сквозь них крохотный клочок золотца на высокой, узорчатой, может быть, лишь для этого уцелевшей колокольне. Город горел; догорало не испепеленное накануне. Ясно различимы были изгрызенные взрывом стены собора, у которого не раз Украина браталась с Русью, тесные вишневые садики, разгороженные плетнями и спускавшиеся к реке, безлюдные улички, где неторопливо проходила дымная мгла,— всё, кроме пламени; оно никогда не бывает видно в закате.

Двое сидели на поваленном телеграфном столбе, лицом к солнцу и танку. Как у всех перешагнувших пропасть, не было у них пока ни раздумья, ни ощущения времени или голода, ни понимания всей новизны обстановки,— ничего, кроме чувства безвозвратной потери. Душою они находились еще там, внутри; еще крошилась броня над ними и звучал голос Соболькова... Снежинка, спорхнув с порванного провода, опустилась на руку Дыбку, на запястье. Она была маленькая и нежная; даже удивляло, что целую ночь, пока дрались и падали люди, трудился над нею мороз, чтоб выковать такую пустячную и хрупкую бесценность. И сам собою возникал вопрос: повторится ли она когда-нибудь за миллионолетье — в точном ее весе, рисунке, в ее живой и недолговечной прелести? Она растаяла прежде, чем родился ответ.

Вдруг Дыбок вспомнил про Кисо́, его лицо исказилось, виноватая тоска сжала душу. Он побежал к танку и заглянул через передний люк, как будто еще не поздно было исполнить ночную просьбу Соболькова. Чадный жар пахнул ему в глаза. Ничего там не было, на дне танка, в копотной мохнатой тьме, кроме горки застылой коричневатой пены да желтого пятнышка заката, проникшего сквозь пробоину. Нельзя было долго глядеть сюда: жгло.

13

— Поезжайте медленно... мне нужно осмотреть все,— сказал Литовченко своему шоферу; оба Литовченки смотрели сейчас на одно и то же, только один издали, а другой совсем вблизи.

Старинное желание сбывалось, генерал навестил наконец родные места. Три виллиса и один броневичок проехали по пустынной набережной, поднялись в горку, спустились на круглую базарную площадь, где когда-то, бывало, галдели бабы, странники и кобзари и где он на паях с Дениской покупал копеечные лакомства ребячьего рая... Немецкое самоходное орудие с развороченной кормой чернело пугалом посреди. Ветерок гудел в зеве поникшего ствола. Вокруг лежали немцы, как застигнутые глубоким сном.

Никто не встречал победителя, точно спали все за поздним часом; ничто не двигалось, кроме огня. Тушить было некому: жителей угнали раньше, а войска ушли в прорыв... Вот нахохлилась в стороне одноэтажная деревянная развалюха его приятеля Дениски, но ничто не катилось навстречу облаять чужое колесо. Значит, спят Денискины собаки, как и тот неугомонный, вроде чернильной кляксы, спит сейчас под откосом шоссе. А вот и три дружных пенька от срезанных тополей при дворике учителя Кулькова... Никто не опросил генерала, кого он ищет здесь, ни сосед, ни хозяин, ушедший в дальнюю отлучку. Сквозь едучий дым в окнах видна была ободранная железная коечка и этажерка над нею, уже без книг, раскиданных на полу; огонь неспешно листал странички с заключенной в них такой наивной сейчас мудростью учителя Кулькова.

«Что же не ведешь меня в дом, не угощаешь знаменитыми кавунами, не хвастаешься, как вкушал их заморский профессор и все просил семечек на развод как благодеяния американскому человечеству?»

«Вот видишь сам, какие дела творятся, дорогое ты мое превосходительство...» — так же полуслышно отвечал Митрофан Платонович голосом летящих искр и пустых зимних ветвей, скрипом снега под ногами; еще доносилось порой, как кричал радист в машине рядом, вызывая Льва Толстого с левого фланга и требуя обстановку на 16.00.

— Да, непохоже... изменилось,— вслух подумал Литовченко и жестко, до боли, пригладил усы. — Раньше тут по-другому было. И сарайчик не там стоял...

— Верно, любовь какая-нибудь... на заре туманной юности? — пошутил помпотех, ехавший с ним вместе.

То был румяный весельчак, не терявший духа бодрости даже тогда, когда следовало малость и посбавить ее; они давно воевали вместе.

— Ты у меня просто сердцеведец,— кашляя от дыма, а также потому, что еще не прошла его простуда, сказал Литовченко. — Не зря ты у меня железо лечишь.

Оставалось посетить лишь школу. Обветшалое двухэтажное зданьице, плод кульковских усилий еще в царское время, стояло там же, близ почты, недалеко: больших расстояний в Великошумске не было. Переднюю стену сорвало взрывом, точно занавеску; внутренность школы представлялась в разрезе, как большое наглядное пособие. Литовченко узнал изразцовую, украинской керамики, печку, а также лестницу, по перилам которой они всем классом в переменки съезжали вниз. И хотя ступеньки достаточно приметно колебались под ним, он поднялся и благоговейно обошел темные загаженные комнаты с немецкими кроватями и окровавленной марлей на полу, каждому уголку отдавая дань внимания и благодарности. В дальнем крыле находился чуланчик, куда и раньше складывали отслуживший учебный хлам. Дверь пошла на топку, и на полке, засыпанной известью, Литовченко еще издали увидел глобус, сохраненный, видимо, ради этой встречи хозяйским усердием учителя Кулькова.

— А, здравствуй!.. — протянул генерал, точно увидел приятеля давних лет.

Стряхнув белую пыль, он внимательно глядел в глянцевитую поверхность, расписанную линялыми материками и освещенную закатцем. Вмятина приходилась чуть севернее того места, куда теперь устремлялись его танки; вмятина еще оставалась — для исправления глобуса, как и земного шара, потребовалось бы безжалостно распороть его и соединить половинки заново.

Литовченко поставил вещь на место и огляделся, прощаясь с тем, что изменялось теперь каждое мгновенье. В пролом стены видна была река, движение на переправе и, среди прочих, один очень знакомый домик на том берегу. Окна ярко светились, точно старуха Литовченко затопила печь к приезду внука, только дым валил не из трубы, а из-под самой кровли. Генерал посмотрел на часы и удивился: на все вместе ушло одиннадцать минут — посетить родные места, выслушать стариковское молчанье, подвести тридцатилетние итоги.

— Ишь как быстро управились, а я думал, неделей не обойдусь. Новое, во всем новое надо строить! Вот, помпотех, где закончился старый, смешной век девятнадцатый и начался

другой, совсем другой век!.. Ну, что там у Льва Толстого? — Он выслушал сводку до конца, не перебивая. — Ладно, поехали.

Городок отодвинулся назад, во вчерашний день. Сразу за окраиной начинались уже привычные картинки немецкого разгрома. Там, как в музее, были представлены для обозрения образцы вражеской техники и вооружения, вразброс и навалом, и зачастую в нетронутом виде. Еще не оплаканные матерями и вдовами юнцы и тотальные солдаты того года валялись всюду, приникнув к чужой земле и вслушиваясь в гул своих отступающих армий. Одни из них пребывали уже в плохой сохранности, другие вовсе не имели внешних повреждений; может быть, их убил страх. Виллисы ловко скользили между ними, стараясь не замарать свои чистенькие, после великошумского снега, колеса. Вихрь машинного боя разметал мертвых по всей окрестной пойме, шеренгами наложил у переправы или воткнул как попало в сугроб, где им предстояло ждать весны, пока не выйдет украинский пахарь на поля, освобожденные от зимы и нашествия. Ее было здесь много, иноземной мертвечины; казалось, вся она лежала тут, Германия, вымолоченная, как сноп. Так выглядела дикарская мечта, по которой прошли история и танки.

Все это неслось мимо, не оставляя следа в привычном к таким зрелищам сознании Литовченки. Но вот воспоминания отступили перед большим черным пятном в обтаявшем снегу. Генерал тронул шофера за рукав.

— Стой!.. Это, кажется, мои.

По колено проваливаясь в снег, он спустился вниз. Остальные последовали без приглашения. Два человека в матерчатых шлемах, понуро сидевшие на бревне, вскинулись и молчали, пока адъютант не намекнул глазами левому из них. Держа руку у виска, тот принялся докладывать о происшедшем, но губы его тряслись и судорожно вздергивались плечи: еще не доводилось Дыбку в присутствии Соболькова рапортовать за командира.

— Ладно, не надо,— сказал Литовченко, касаясь его влажного плеча; все вокруг — раздавленная на шоссе пушчонка, непросохшая одежда, обломки штабной машины — рассказывало опытному глазу обстоятельнее, чем этот пошатнувшийся танкист. — Ну, ну, пройдет! — прибавил он, переглянувшись со своими. — Озябли, ребятки. Кто командир... ты?

Дыбок отрицательно качнул головой, и, что-то поняв, генерал сам двинулся к танку. Длинная лиловая тень от двести

третьей была дорожкой, по которой он шел. Она растаяла, когда он добрался до цели; солнце зашло, сказка кончилась, вступали в свои права ночь и военная действительность. Как бы считая дыры, генерал обошел танк по жесткому войлоку обугленной травы. Он припомнил эту машину; сквозь копоть был достаточно различим ее номер, только теперь рваное отверстие зияло вместо нуля. Привстав на отогнутый клок брони, генерал заглянул в башню и снял папаху.

— Дайте-ка мне сюда вашу науку и технику,— приказал он адъютанту, потому что в однообразной черноте танка сумерки настали скорее, чем в остальном мире. — Ишь как они обнялись,— заметил он дрогнувшим голосом, как-то слишком спокойным для того, что увидел. — Вот они, советские танкисты. Вот они мы!..

За двое суток капитан удосужился наконец сменить батарейку, и командир корпуса сумел прочесть в танке все, что требуется для определения степени подвига. Надев шапку, Литовченко уступил место помпотеху. Пока остальные в очередь и подолгу глядели внутрь этого потухшего вулкана, генерал вернулся к экипажу. Теперь он признал и тезку, только этот был много старше того мальчика на железнодорожной станции.

— Узнаю. Значит, отца все-таки Екимом звали? Так... Кажется, брат у тебя в неметчине имеется?

— Точно... товарищ гвардии генерал-лейтенант,— ответил Литовченко с суровостью, какой не было раньше. — Трое нас было. Тот — младшенький, Остапом по деду звать.

Генерал вопросительно взглянул на адъютанта, но, запутавшись в однообразии имен и горя, капитан уже не помнил, как ему называли угнанного паренька из белых Коровичей.

— Помню командира вашего... кажется, Собольков? Такой, с седым вихорком был? Как же, помню Соболькова. Что ж, сгорела знаменитая ваша хата. Ничего, новую дам. Сам не ранен?

— Организм у меня целый... товарищ гвардии генерал-лейтенант.

— Это главное!.. Так вот: там, метров триста отсюда, танк без водителя стоит. — Он кивнул в меркнущую глубину шоссе. — Новичок... с открытым люком воевать хотел. Скажешь — я послал. Хозяин там тоже хороший, я его знаю. Он тебя

посушит, покормит... и воюй. Будет что рассказать внучатам! — Затем он обернулся и к Дыбку, потому что обоих нужно было поддержать словом товарищеского участия. — Дети есть?

— Дочка... — неожиданно для себя сказал Дыбок, и желанная легкость вошла ему в сердце.

— Это хорошо. Дочка,— значит, мать героев. Большая?

— Восемь... товарищ гвардии генерал-лейтенант,— ответил Дыбок, покосившись на танк, таявший в сумерках.

— Большущая. Верно, и читать умеет. Станешь писать — кланяйся от меня. Все. Записать фамилии!..

Молча подошли офицеры. Помпотех стал закуривать.

— Да... могила неизвестного танкиста,— сказал он раздумчиво, для самого себя.

— Неверно! — немедля возразил Литовченко. — Это у них солдат одевают в форму, чтоб были одинакие, чтоб их не жалко было. А мы... нет, мы не забывчивые, мы все помним. Жена изменит, мать в земле забудет... но у нас каждое имечко записано. Кстати,— он показал на танк,— этих не закапывать. Выйду из боя, сам буду их хоронить... в Великошумске. Таким и поставлю на высоком камне этот танк, как есть. Пусть века смотрят, кто их от кнута и рабства оборонил... — И тут же подумал, что проездом на теплые черноморские берега всякий сможет видеть из вагона высокую, как маяк, могилу двести третьей.

Виллисы ушли и сразу пропали в сумерках. Пора было и Литовченке отправляться к месту новой службы. У товарищей не было даже кисетов, поменяться на прощанье: все осталось в танке. Они взялись за руки и стояли без единого слова; мужской солдатской силы не хватало им порвать это прощальное рукопожатье.

— Слушай меня, Литовченко,— глухо и не своим обычным голосом заговорил Дыбок, и сейчас не было в нем ни одного потайного уголка, куда не впустил бы товарища. — Что бы с тобой ни случилось... — Он помедлил, давая ему срок проникнуть в глубину клятвы. — Что бы ни случилось с тобой, приходи ко мне... Отдам тебе половину всего, что у меня будет. Меня легко найти, ты обо мне не раз еще услышишь... Я знаю. Приходи!

Литовченко выбрался на шоссе и, задыхаясь, побежал прочь от этого места. Еще незнакомое чувство клокотало в нем и просилось слезами наружу. Лишь когда все, танк и то-

варищ, затерялось в потемках, он перешел на шаг; идти в обратную сторону было бы ему гораздо легче, но Литовченко тут же решил, что за истекшее время он не мог уйти далеко, тот майор с зигзагами на рукаве!.. Новые, незнакомые люди ждали его где-то совсем рядом, и паренек испытал такую же щемящую раздвоенность, как и Собольков в ночном танке, когда он принял своего башнера за Осютина.

Непонятная сила повернула его лицом назад. Война тянула к себе. Горизонт оделся в грозное парадное зарево, а над ним сияла одна немерцающая точка, на которую в эту минуту глядели все — и Дыбок, и черный Собольков из открытого люка, и разорванное орудие двести третьей, и сиротка на Алтае,— простая, чистая и спокойная звезда, похожая на снежинку.

Январь — июнь 1944 г.

EVGENIA IVANOVNA

Повесть

ТАТЬЯНЕ МИХАЙЛОВНЕ ЛЕОНОВОЙ

Их привезли в Цинандали поздно ночью. Впереди за деревьями мерцала непонятная стена. Машина потявкала во тьму, приседая на задние колеса. Пока Стратонов раскуривал трубку, Евгения Ивановна оглянулась на мужа. Англичанин дремал, отвалясь на спинку сиденья. Шляпа лихо съехала на висок, закушенные губы исчезли. Начинался очередной припадок.

Стратонов сам потискал резиновую грушу. Звук безнадежно застревал в местной тишине. Феноменальный сон висел над Алазанской долиной, потревожить его могло лишь землетрясение. Слово интурист утрачивало свое магическое действие в здешней глуши. Никто не выбегал за чемоданами приезжих.

— Совершайте же какие-либо телодвижения, вы потеряете службу, кацо,— проскрипел шоферу Стратонов. — Идите, стучитесь, черт вас возьми... ну, пожалуйста. Никто не украдет ваш проклятый биук.

Тот взорвался наконец на ломаном языке. Кому, как не Стратонову в качестве гида из буро путешествий, заботиться о заграничных господах! Пришлось повторить угрозу с упоминанием трех фамилий всекавказского значения. Чертыхаясь по-грузински, шофер отправился взламывать ближайшую дверь.

Евгению Ивановну поташнивало с непривычки к горным дорогам. На пенистой Йоре, когда искали брода, она едва не плакала, на перевале перед Телавом полкилометра тащилась пешком. Ее снова потянуло наружу из-за потребности в воздухе и одиночестве.

— Меня укачало... крикните, когда придут за вещами,— попросила Евгения Ивановна, выбираясь из машины. —

Сделайте одолжение, кроме того: не прикрывайте дверцу, господин Стратонов. Муж буквально заболевает от некоторых сортов табака.

Прохладная горечь осенней травы и пастушеского дыма стекала сюда из предгорий. Тяжелая влажная листва угадывалась над головой, мрак обступал, как перед сотворением мира. Прислушиваясь к шорохам за спиной, Евгения Ивановна наугад двинулась в глубину парка.

Гравий позади хрустнул под осторожным шагом.

— У вас безошибочное чутье, миссис Пикеринг... — произнес по-французски Стратонов: чужой язык несколько маскировал этот до головной боли знакомый голос. — Тут в зарослях находится одна из интимнейших наших литературных святынь, мы навестим ее завтра. По ряду соображений я не рекомендую посещать ее впотьмах... Кстати, цинандальское плато кончается здесь обрывом, и можно подпортить очарованье всей прогулки.

Своим настойчивым обращением к французской речи Стратонов намекал, что в создавшихся условиях им разумнее всего не узнавать друг друга. Не первый раз, начиная с Тифлиса, он предлагал забыть, что они встречались несколько лет назад и он причинил ей жестокое, на границе смерти, зло. Скользкая почтительность показывала, что он терзается скорее от стыда за свой поступок, чем — совести, хотя в случае сознания вины терзаться ему надлежало чуть больше.

То была ее первая любовь, и началась она близ Рождества однажды, в безмятежном степном городке. Стратонов приехал к матери-чиновнице долечиваться после раненья. Из госпиталя он подоспел прямо к гимназическому балу. Подпоручик танцевал с рукой на перевязи, тыловые барышни-выпускницы смотрели на него с обожаньем, кроме одной. Самолюбие заставило офицера спуститься с орлиных высот к непокоренному существу в коричневом платьице с кружевной пелеринкой. Там у них имелась аллея старых акаций под названием проспект Влюбленных Душ. Через жуткой красоты кладбище он уводил в голубую от луны степь, не теряя своей силы и зимою. Молодым людям даже смешно стало, как раньше не сдружились их семьи, живя наискосок на той же улочке. До самой Февральской революции чиновница и фельдшерская вдова взаимными визитами и услугами старались наверстать

упущенное. Перед возвращеньем в часть, за блинками на масленице, подпоручик по тогдашней моде нараспев прочел собственного сочинения стишок с пожеланием, чтобы одна подразумевавшаяся девушка сиянием своих глаз все вела бы и вела его на поединок с врагами обновленной жизни. Матери переглядывались, заранее считая себя родственницами, только вздрагивали при упоминании обреченных тиранов, из которых лично знали тамошнего старичка латиниста, старинного гонителя лентяев, и соседнего бакалейщика, отпускавшего питание в долг до пенсионной получки. Было решено, что, как только, бог даст, проиграют войну окончательно, тотчас и за свадебку. Но сперва стал исчезать из продажи сахар, а там начались перебои и в остальном. Венчание, как и самую жизнь заодно, старушки постановили отложить до минования смуты.

Осенью следующего года тайно воротившийся офицер Стратонов прятался то в стогах на пойме, то на голубятне у будущей тещи. Всю зиму по ночам через открытые форточки слышалась стрельба. К весне часть местных тиранов была закопана... Из них-то, наспех закиданных землицей, и вывелась летучая поденка тех лет — атаманы всея Руси, вселенские батьки́ с револьверами, коменданты земного шара и прочая оголтелая вольница. Она помчалась по степям с клинками наголо, верхами и на тачанках, ввинчиваясь, как пуля, в застоявшийся континентальный штиль, саморасстреливаясь на лету, облачками пыли оседая по обочинам древних шляхов. В городке появились крутые, в белых башлыках поверх черкесок, вроде шершней перетянутые полковники, замыслившие унять разбуженную Россию. Сам Деникин проездом призывал с паперти к подвигу местных орлов, и те, стриженные под машинку, пропахшие карболкой, натужными голосами кричали ура. Пошли маскарады в пользу военных сироток, пышные самосуды, кутежи со стрельбой, парады, беспросыпный картеж, безумная русская тоска. Скоро плесень повяла, поползла: красный огненный вал, потрескивая, покатился с севера по степи.

Вечерком со споротыми погонами поручик заскочил проститься с невестой. Ничего не осталось от юриста-третьекурсника в том задымленном дергающемся старике. «Женя, богиня, Офелия, веточка моя вишневая, я пронесу твой чудный образ сквозь пустыню этой самой... ну, как ее?» Он запнулся, воровато пощелкал пальцами и разревелся хуже мальчишки... Уже постреливали за окном, восставший гарнизон заперся в казармах, накануне через окраину с песней и гиканьем

промчался красный эскадрон. Времени хватало в обрез, передовые эшелоны белой армии где-то у моря грузились в трюм иностранного парохода. Девушка вызвалась разделить судьбу любимого. Тот отбивался изо всех сил, хоть и сознавал дальнейшую участь офицерской невесты. Матери благословили их в дорогу и все пытались навязать по сундучку с прижизненным наследством. Молодые бежали в наемной бричке, добытой по кулачному праву эвакуации. Брачная ночь состоялась в степи под открытым небом. Первый снег кружился в потемках, лошадь стояла смирно, нераспряженная, пахло прелой ботвой с баштана. Бесшумная пятерня нашаривала в степи беглецов, и этот смертный трепет умножал ненасытность Стратонова. У Жени озябли коленки... Пока муж хозяйственно прятал торбу с овсом,— дорога предстояла самая дальняя из всех возможных в жизни,— Женя все глядела на покинутый, пламеневший среди мрака горизонт. «Ах, мамочка, кровиночка моя, неужели стоило для этого родиться на свет?» Щекотный холодок струился по спине у Евгении Ивановны при воспоминанье о событиях следующих лет.

Полгода спустя Стратонов бросил ее без гроша в Константинополе. После одного длительного недоеданья ушел из дому наниматься и не вернулся. Первое предположение было, что попал под трамвай. Три дня обезумевшая Женя рыскала по моргам чужого города. А она-то, глупая, думала, что смерть заберет их обоих сразу, если когда-нибудь устанут от счастья их тела, но и тогда души не смогут наглядеться друг на дружку! Полностью холод наступившего одиночества она изведала в жаркий полдень четвертых суток, когда голод несколько позаглушил горе. Такой маленькой стала вдруг в скверике перед громадой Айя-Софии, на которую покойный отец под хмельком домашней наливки все собирался водружать православный крест. Остекленевшая, сидела там, прижимая ладонь ко рту, а вокруг шли и ехали по своим делам важные волосатые турки. Свекровкина брошечка и золотенькое мамино благословеньице были проедены в первый же месяц, мыть посуду в ресторанах доставалось лишь избранницам. Едва хватало сил обороняться от искушений легкой жизни. Уже близился порог обнищания, за которым наступает всяческая бесчувственность. Сиянья в глазах убавилось; что-то отцовское, угловатое, фельдшерское обозначилось в ее чертах. Вместе

с другими такими же, под ногами у сытых, чужих и праздничных, голодуха погнала ее по столицам мира. И даже во снах той поры Жене все мечталось в могилу к мужу... но, значит, не шибко мечталось, если целых три года пришлось добираться, прежде чем оказалась на ее краю. Это случилось в Париже, куда ветер изгнания занес Женю после скитаний по балканским столицам.

Месяц назад отравилась светильным газом ее русская соседка по ночлежке: она была старше Жени, некрасивей, ей нечего было продавать, как и Жене, впрочем. Русским девкам в Париже далеко было до тех нарядных особ, что со скучающим видом, виляя бедрами, прогуливаются от церкви Мадлен до Гранд-Опера̀. Но жизнь улыбнулась Жене: в канун переломного события едва не поступила в одно увеселительное заведенье, откуда и х брали напрокат солидные, нередко высшего круга джентльмены, как на пикники ренуаровского типа, так и в морские прогулки на красивых яхтах. Получалось вроде кратковременного романа с ценными, помимо харчей, подарками в зависимости от оказанных услуг,— не исключались, впрочем, и одноразовые встречи в рамках забавного приключения. Уже мадам, тронутая отчаянием дикарки, соглашалась выдать ей аванс — главным образом на питание, залить жирком похудалые щеки, загладить голодные синяки под глазами, но в последнюю минуту ангажемент не состоялся. Женя предпочла иной, туда же, путь — несколько болезненный, зато короче.

То был самый черный ее денек, начиная с бухты Мод, где, по прибытии за границу, произошла та, памятная выгрузка беглой армии. Точно такой же моросил похоронный дождик. Женя сидела под мокрым тентом кафе и рассеянно следила за собой в воображении, как она, гадкая, разбухшая, но примиренная, плывет по Сене к морю; слеза застилала видение... В общем, складывалось удачно, нечего было жалеть, и не отговаривал никто, однако перед самым уходом выпала из ладони приготовленная последняя ее монетка. Стакан был пуст, круассаны съедены. На коленях, погибая от стыда, она напрасно шарила пальцами в луже с окурками у тротуара. Гарсон и посетители с любопытством наблюдали проношенные пятки ее чулок. В крайнюю минуту вмешался длинный забавный господин из-за соседнего столика. Оказалось, монета закатилась под его упавшую шляпу. Лишь после уплаты Женя сообразила, что по ценности найденная монета чуть не втрое

превосходила потерянную. Плохо соображая происшедшее, Женя пустилась за незнакомцем вернуть сдачу с чуда,— именно этим забавным недоразумением все и началось. Мсье оказался очень любезен, мсье не расспрашивал ни о чем, мсье предложил делать для него некоторые выписки из старых каталогов Национального музея в Каире. Плата была достаточная, бумагу заказчик давал свою, а с печатного Женя списывала даже без ошибок. Сверху указанного мсье не требовал никаких стеснительных для женщин услуг. Мсье оказался англичанином и, к сожалению, всего лишь проездом в Париже, в чем таилась оправдавшаяся вскоре угроза.

Работы хватило ровно на месяц, мистер Пикеринг во главе важной экспедиции отправлялся в Месопотамию. Все рушилось. Женя выслушала новость с почерневшим лицом. Тогда выяснилось, что накануне у англичанина рассчитался личный секретарь. Этот молодой человек и прежде занимался сравнительным изучением спиртных напитков, но последние полгода даже умеренные служебные поручения профессора мешали ему сосредоточиться на любимом предмете. Из слов англичанина можно было сделать заключение, что поездка на Восток расстроится и британская наука потерпит ущерб, если Женя не займет пустующее место. По словам мистера Пикеринга, именно неопытность более всего привлекала его в новых секретарях: такие быстрее научаются работать в манере шефа. Кроме того, англичанин нуждался в практике русского разговорного языка: в давние студенческие годы он владел им настолько, что в курсовой работе сравнивал литературный стиль Слова и Задонщины, однако впоследствии растерял словарь.

Решать надо было немедленно, путь намечался через Средиземное море. Потупясь, Женя молчала, вся в краске смущенья.

— Откройтесь, что пугает вас, Женни: дальность маршрута, морская качка, сомнительный месопотамский комфорт или внимание посторонних... ввиду моей своеобразной наружности, наконец? — полушутливо добивался мистер Пикеринг. — А может быть, сердечные привязанности удерживают вас в Париже?

— Ах, что вы, не то, совсем не то... — ужаснувшись предположению, шептала Женя. — Все это давно в прошлом у меня, только объяснить вам не могу!

— Да я и не стремлюсь проникать в ваши личные тай-

ны... ровно как не инспектирую багажа моих сотрудников перед отъездом. Путешествие порассеет ваши печали, которые, по моим наблюдениям, так чрезмерно и часто для вашего возраста туманят вам взгляд.

Нет, у нее имелись особые причины для колебаний. Что касается качки, ей уже довелось немножко ознакомиться с мореплаванием, валяясь вповалку с другими несчастными на общей палубе, где все горланило, пьяно рыдало, пело, бранилось и проклинало под гитару час рождения, двое суток не давая смежить глаза. «А в отдельной-то каюте, о-ла-ла, хоть за слоновыми клыками в Африку!» Слово само сорвалось с языка: этот континент весь день не выходил у ней из ума, накануне оттуда дошла до нее наконец грустная весточка о Стратонове. Она подтверждала прежний слух о его поступлении в африканский легион, заключительное прибежище всякого впавшего в отчаяние международного сброда. Итак, Стратонова убили в алжирской перестрелке при защите колониального форта от повстанцев, и якобы последний его вздох был обращен к жене и Жене. Раздавленная горем, она как-то не заметила в тот раз обилия умоляюще-жалких сопроводительных подробностей, с помощью которых озабоченный покойник старался доказать вдове достоверность своей гибели. О нет, ничто больше не задерживало Женю в этом городе, и если бы только... Она запнулась: ее колебания объяснились полным отсутствием имущества, а в таком путешествии трудно обходиться ночными постирушками. Если бы еще поездка состоялась попозже, она успела бы по уплате долгов обзавестись необходимым... И сразу открылось, что один разорившийся издатель мистера Пикеринга, совладелец крупного конфекциона в Бордо, заплатил ему часть гонорара за книгу о суммерийских надписях набором дамских вещей, как нарочно подходивших по размеру для его будущего секретаря. Жене было выгодней не вникать в существо столь ошеломляющих совпадений, тем более что все это шло в зачет ее жалованья. «Простите... каких, вы сказали, каких это надписей?» — из вежливости переспросила она на всякий случай, неподкупно нахмурив брови. Когда же обнаружилось в довершение всего, что по ученой рассеянности мистер Пикеринг купил утром пару лишних чемоданов, вместительных и недорогих, перепуганная насмерть Женя дрожащими губами отказалась наотрез.

Пароход был гигантский и трехтрубный, еще с защитным камуфляжем на бортах. Толстый дым валил из главной трубы,

как на детском рисунке. Свесясь через поручни, праздничные люди притворялись, будто наблюдают за погрузочной суматохой, а на деле, конечно, в сотни глаз следили за Женей, в сопровождении англичанина подпимавшейся по трапу. И вот она сама стояла в шеренгу с ними, глядя на колеблющийся от свежей морской погоды, такой превосходный, обновляющийся, послевоенный мир, расстилавшийся у ее подножья. Насколько хватало глаза, всюду хлопотали люди, подметали, мыли и красили, высвобождая красоту жизни из-под слоя нарочной подлой грязи, без чего ей бы не уцелеть. Даже на качающейся рыбацкой фелюжке, среди радуг нефти на воде, видно было через бинокль: взрослые и дети в десяток рук скоблили палубу, штопали паруса, готовясь к векам благополучия. Поверх всего этого гремела незримая музыка и летали белые птицы.

Женя не заметила, как чумазый буксирный лоцман, захватив гиганта за ноздрю, стал разворачивать его в гавани перед отбытием в морской простор. Рыбой пахнуло в лицо и чуть закружилась голова, когда корабль встал лагом к волне. Наконец-то, живая, достигла моря! Даже хотелось немножко поубавить количество чудес, выпиравших изовсюду. Вдруг взвилась оглушительная струйка пара, и, пока все вокруг пропитывалось густым прощальным звуком, Женя вслух и мамиными словами попросила бога, чтоб уж потерпел, не отменял бы в самом начале милосерднейшую из своих причуд.

Все шумы мира поглотила вода за кормой, вскорости исчезли и птицы, скользившие над серо-жемчужной гладью. Марсель таял в вечерней дымке, сады и кубики приморских вилл сменились лентой береговых огней... Хоть и пора было знакомиться, все не смела расспросить про остальных участников экспедиции; кстати, она так и не увидела их никогда. От мыслей становилось страшно, как во сне, но проснуться было еще страшнее. Евгения Ивановна робко осведомилась у спутника о сроках его возвращения в Англию. В начале октября он уже приступал к чтению университетского курса... она не решилась спросить какого, из опасения выдать свое невежество и, следовательно, безразличие — с кем пускаться в дальнее и сомнительное путешествие.

— Знаете, где меня только не носило, а никогда еще не бывала в вашей стране... — завела она наводящий разговор. — Простите, вы постоянно в самом Лондоне работаете или больше в разъездах? Говорят, в этом городе только дым да камень и ни капельки души... неужели верно это?

Неизвестно, в отношении всех проявлял подобную терпимость мистер Пикеринг или как раз в те сутки находился в столь отменном настроении. О, конечно, у Евгении Ивановны сложилось бы иное мнение о британской столице, если бы ему самому довелось показать город своей собеседнице. На пробу он перечислил некоторые заложенные там опорные глыбы, на которых покоится один из углов всечеловеческой культуры.

— О, я с большим интересом побывала бы в Лондоне... если только можно,— не без достоинства, но с замирающим сердцем сказала Женя. — Правда, я и сама читала о нем в старых журналах, а кое-что мне рассказывал покойный отец.

— Бывал в Англии?.. по личным впечатлениям?

Женя облизала пересохшие губы.

— Да... только не по своим. У него дядя с материнской стороны служил матросом на одном корабле. Только уж давно, я его не застала на свете. — Вдруг вспомнилось наставление матери, что чем приманчивей капкан, тем острее зубья, и она ужаснулась тому, с какой неотвратимой быстротой отодвигался, погружался в ночь берег. — Простите... куда и зачем, вы сказали, мы едем-то сейчас?

— В Месопотамию, читать старые камни... Вот, опять тревога в голосе... что-нибудь не нравится в Месопотамии?

— Нет, отчего же... напротив! — И с надеждой взглянула вверх, в потемневшее небо, откуда на нее смотрели немигающие глаза англичанина.

Сообщение поуспокоило ее, кое-что ей уже известно было про эту страну, например, протекающие в ней реки Тигр и Евфрат. Кроме того, батюшка поминал на уроках закона божьего, что одно время там помещался рай.

Оставалось немножечко разведать насчет старых камней.

— Я вижу, вам не терпится хоть что-нибудь узнать обо мне,— поощрительно засмеялся англичанин,— задавайте же смелей свои вопросы! Правду сказать, отсутствие у вас интереса к моей профессии, моей семье, склонностям моим как вашего шефа... — он замялся,— я поочередно относил за счет вашего такта, проницательности, начитанности, трудной судьбы, наконец. Согласитесь, только верный друг способен столькими способами извинить нелюбознательность спутника к его особе, не правда ли? Мне хочется облегчить вам эту задачу... Конечно, вы давно догадались, что я археолог. Кроме писания довольно объемистых книг о вчерашнем, чего уж нет на свете, я вдобавок читаю лекции тем, кому предстоит продолжать то

же самое завтра, чтобы не получилось гибельного перерыва. Прошлое учит настоящее не повторять его несчастий в будущем... как всегда, впрочем, без особого успеха! Видимо, нет ничего сладостней совершения ошибок. Кстати, кафедра у меня не в Лондонском университете, а в Лидсском. Семьи у вашего спутника нет, лишь мать, очень красивая женщина, кстати... но от матери у меня лишь ее ровный характер: по всем прочим данным я пошел в отца. К сожалению, я был слишком молод, когда родился, чтобы выбрать себе родителя по вкусу. — В глазах мистера Пикеринга блеснула искорка юмора, который в его стране нередко применяется для смягчения печали и ценится если не дороже доброго сердца, то, во всяком случае, выше ума. — Признавайтесь теперь, Женни, попадалась вам хоть мельком фамилия Пикеринг?

Евгения Ивановна смущенно созналась, что встречала это слово в метро, на рекламных плакатах не то зубной пасты, не то спортивных принадлежностей.

— О, все варианты одинаково возможны,— добродушно подтвердил англичанин. — У нас в Йоркшире можно сделать универсальный набор Пикерингов всевозможных отраслей и профессий... Однако свежеет к ночи, вы еще не озябли?

Подавленная своим невежеством, Евгения Ивановна не расслышала вопроса. Между тем всего год назад это отличное имя целую неделю не сходило с газетных полос в связи с нашумевшими раскопками в Ниневии, приоткрывшими тайну ее соперничества с Вавилоном. Суровые, отмеченные разящей злободневностью размышления ученого о падении тогдашних общественных нравов в Ассирии, как признаке начинающегося упадка, газеты связывали с его общеизвестной подверженностью левым взглядам, даже несколько московской окраски... но Евгения Ивановна в тот период зачитывалась главным образом объявлениями по найму рабочей силы. Мистеру Пикерингу пришлось самому доложить ей о своих открытиях. Обласканная доверием, Евгения Ивановна призналась, что девочкой у себя на родине она тоже обожала школьные походы по историческим окрестностям, однако, сколько ни копались девчата в одном там кургане, кроме того в оползнях на тамошней речке, так ничего стоящего и не нашли. Археологию Евгения Ивановна понимала как кладоискательство без корыстной цели. Профессор нестрого отметил, что такое, хотя и смелое, но не совсем точное и не потому только, что слишком краткое, определение его науки устарело по меньшей мере на полторы

тысячи лет. В связи с этим он бегло очертил содержание археологии от ее истоков до поры, когда в отмену своего первичного, еще платоновского обозначения она стала лопатой истории. По существу, та ночная беседа на палубе велась совсем о другом, мнимая ее ученость служила маской и поводом для сближенья. Оказалось, собеседница мистера Пикеринга тоже увлекалась мифологией, даже составляла с одним там, умершим теперь человеком, почти родственником, шутливое родословное дерево эллинских богов и божепят. И вдруг в погоне за расположением шефа Евгения Ивановна вспомнила особо полюбившееся ей потопление фараона с его колесницами, который, помнится, отстегал море цепями за дерзость глупой рыбы, проглотившей его царственный перстень...

Приблизительно в таком роде получилось у Евгении Ивановны, и было ясно из наступившего молчания, что своим сообщением она не завоевала у мистера Пикеринга дополнительных симпатий.

Наклонясь, некоторое время англичанин рассматривал невидную воду за бортом, затем спрятал в футляр бинокль, запотевший от ночного тумана.

— Несомненно, Женни, вы изобрели очень экономную и своеобразную мнемоническую систему... хранить исторические сведения в этаком концентрированном виде. Но нам, археологам, доставляет много хлопот этот способ контаминации, к которому обычно прибегают природа и время... Я имею в виду чрезмерное уплотнение сокровищ... не затем ли, чтоб их уместилось возможно больше в том же объеме? — ворчливо поправился он. — Впрочем, я утомил вас своими россказнями, Женни. И холодно. И все разошлись давно. Время и нам спускаться вниз, пожалуй.

— Вы думаете... пора? — испугалась Евгения Ивановна, суматошно ища повод задержаться на опустевшей палубе. — Но зачем, зачем?

— Ну, если вы считаете это совместимым со званием секретаря научной экспедиции, то... спать, пожалуй! — зловеще пошутил англичанин.

— Давайте лучше постоим еще немножко. В общем, ночь довольно теплая...

Томительные, с новой силой, подозрения охватили ее при воспоминании о квартирной хозяйке, которая из жалости к миловидной жиличке все бралась устроить Евгению Ивановну в этот вполне благопристойный загородный пансион, где

клиенты не травмируют девушек очным выбором, а приглашают по альбому и увозят в длительные поездки на оплаченный срок, так что каждый сеанс выглядит самостоятельным светским приключением, по-видимому, совсем как это месопотамское путешествие. В ту минуту холодинки бежали у ней по спине, и никакая сила не оторвала бы от поручней ее намертво сомкнувшихся пальцев... Когда же они поослабли, почти неживая Евгения Ивановна спустилась с англичанином по лестнице — но не потому, что соглашалась на хозяйкин омут, а из возникшей вдруг жгучей потребности последний разок довериться на пробу еще одному человеку и — судьбе. Их каюты оказались в разных концах коридора. Оставшись наедине с собой, Евгения Ивановна разрыдалась от неполной, несытной пока уверенности, что теперь-то уж не погонят ее, все метлой да метлой, в одну там, позади оставшуюся щель, к Анюте.

Нет для души целительней лекарства, как слушать лепет волны за бортом да глядеть бездумно на косые паруса вдали, что, нажравшись ветра, подобно сытым коням, лоснятся на полдневном солнце и влекут рыбацкие суденышки по белым гребешкам. «О, если бы каким-нибудь попутным несчастьицем отсрочить неминуемую расплату с судьбой!» — маялась и горевала в те дни Евгения Ивановна, все более ужасаясь участившимся радостям бытия. Всякая мелочь пьянила ее сейчас, как тот ром натощак, который однажды, сам навеселе, притащил домой покойный муж и, насильно приставляя к губам, уговаривал свою заплаканную Женьку хлебнуть из горлышка для забвенья. Кстати, за время рейса до Александрии, нередко в присутствии шефа, он не раз мнился ей на палубе, мертвый Стратонов, искоса следил за покинутой женщиной, из нее самой следил — скорее грустными, чем ревнивыми глазами. «Ах, Гога, Гога,— пряча мысли, журила его за малодушие Евгения Ивановна,— жизнь такая чудесная вокруг, зачем ты сдался так рано?» Однако она не затем его журила, чтобы воскресить на новую совместную голодовку, а подкупить стремилась великодушием невинности на случай, если бы тот по свойственному мертвым коварству вздумал воротиться на все еще принадлежащее ему место. Она так устала от нищеты и необходимости подбирать наименее болезненный способ вырваться в небытие из этой чертовой ловушки!..

В Месопотамию можно было проехать дешевле и короче, но англичанину непременно хотелось за время каникул посетить друзей под Фивами; египтологию он втайне считал своим главным и несостоявшимся призванием. Уже полгода в печати то и дело появлялись сенсационные сообщения о раскопанном близ Луксора царском погребении Амарнской эпохи. Археолога влекло взглянуть на единственную в своем роде находку, затмившую его собственный ниневийский клад, и поздравить отныне знаменитого коллегу с поразительной удачей научного предвидения. Гробница Тутанхамона помогла Евгении Ивановне глубже понять источник ненасытного археологического азарта. И тут ее потянуло вообще всмотреться в прошлое людей, по-взрослому постигнуть путаный закон расцвета и падения цивилизаций. Всю дальнейшую дорогу профессор посвящал свою спутницу в сокровенные судьбы попутных стран. Держась распространенного мнения, что время — лучшее лекарство, он, в сущности, читал Жене курс вечности, как будто сердце сможет примириться с печалью, если разум удостоверится в ее обычности. Так под видом занимательных новелл была пройдена часть университетского курса по истории Эллады, раннего христианства и Левантинского побережья, куда из Египта лежал теперь их путь.

Слава Пикеринга, литератора и лектора, не уступала его известности искателя сокровищ, а ему всегда зловеще везло как в поисках их, так и в азартных играх вообще. Одна его лекция о мумифицированной пчеле из погребального венка принцессы Аменердис, полная эрудиции и поэтического блеска, обошла все школьные хрестоматии Запада, потому что знакомила с Египтом двадцать пятой династии полнее иной многотомной монографии. Но, пожалуй, ни в одной аудитории не выступал он с равной проникновенностью, как на этих уединенных семинарах перед длинношеей застенчивой шатенкой с голубыми глазами и детскими ресницами. Всякий раз Евгения Ивановна испытывала потрясенье свидетеля на этих сеансах ясновидения, в течение которых перед нею рождались и рушились великие царства Востока. Подстегнутые столетья проносились, как в кино, где сошел с ума механик, причем не утрачивалась ни одна из тех вечно живых мимолетных мелочей, что трепетным теплом согревают мрамор архаических обломков. Как иные подносят рифмы и цветы, мистер Пикеринг дарил любимой женщине воскрешенные миры, лишь бы коснулась их рассеянной улыбкой... Между делом он довольно прав-

доподобно объяснил спутнице, будто нарочно отбился от своей месопотамской экспедиции, чтобы предоставить самостоятельность одному из любимых учеников, и якобы ему пришлось немало побороться с собой, прежде чем преодолел понятную ревность к молодой смене.

— В моем возрасте следует торопиться... Вот уже закат, а ничего пока не сделано из задуманного, ради чего стоило влезать в мою стеснительно-грустную оболочку.

Стремясь окончательно увести молодую женщину от гнавшихся за нею призраков, англичанин требовал от Евгении Ивановны ежедневной, порою изнурительной работы. Ей пришлось вести путевой дневник, документированный множеством фотографий и зарисовок с архитектурных памятников, хотя изображения их продавались всюду, наравне с табаком и прохладительными напитками. Сирийское небо пылало вокруг, местная одежда и дымчатые очки не защищали от ослепительного зноя: при диафрагме восемнадцать хватало тысячной. И чуть не каждую ночь Евгении Ивановне снился игрушечный, с мальвами, садик на севере, где на грядках возится с помидорами мать, и воротившаяся из-за границы дочка торопится обнять ее, прежде чем закопают старушку, но у калитки уже стоит, не уходит, еще не посторонний, однако нежелательный теперь человек, то плачущий, то пьяный, то с рукой на перевязи, разный, и мешает, мучит, не сводит глаз с колечка волос на затылке у Евгении Ивановны, куда при жизни так любил целовать.

От Яффы длинные, голубого рифленого серебра автокары понесли путников, всех троих, на север вдоль древних караванных дорог. Усыпляемая журчаньем мотора, Евгения Ивановна сидела у окна щекой к щекотной шелковой занавеске. Мимо нее струились меловые видения развалин, овечьи отары, водоносы и феллахи на осликах, полусохранившийся замок крестоносцев, если верить подсказке Пикеринга, и другие остатки когда-то возникавших в пустыне и растаявших миражей, караваны тюков с шерстью, мусульманские кладбища с каменными чалмами на могильных столбах, леностное колесо с глиняными черпаками для подъема воды на поля нищих и еще там что-то... Все это она различала сквозь тягучую дрему, сквозь песчаную поземку за окном, сквозь смутный и неотступный, как бельмо, силуэт Стратонова. Преследование стало бы невыносимым, если бы не благодетельная звезда надежды, сопровождавшая путешественников, видная везде: и на крут-

ком вечернем горизонте, и в зрачке дервиша, просившего бакшиш на привале, и в проеме римской руины, на которую ходили взглянуть, пока машина заправлялась горючим.

В пепельной дымке проплывали мимо именитые города побережья, когда-то, по выражению мистера Пикеринга, факелами пылавшие в истории Востока. Если останавливались в Дамаске послушать классический благовест муэдзина с мечети Омайядов, нельзя стало миновать и Пальмиру — примерное, выветрившееся, без единой пальмы зрелище былой славы и разрушения. Ученый араб из местного музея с наружностью маронитского патриарха из-за круглой шапки и живописной хламиды, под которой мелко-мелко ступали старенькие европейские башмаки, водил гостей среди бывших некрополей, алтарей и акведуков. Узловатые сухожилия плюща взбегали кое-где на уцелевшие колонны, впиваясь в завитки капителей; ползучая роза, вся в цвету от корня, царапалась с ним из-за места. Старик ни кирпича не пропускал без поясненья, благоговение боролось с дремотой. В конце концов, все *это* уже не годилось ни на что, кроме как для элегического услаждения туристов... Однако, если вначале эти безличные нагромождения камня вызывали у Евгении Ивановны лишь скуку, постепенно она обучалась находить в них опознавательные приметы возраста, стиля, национального почерка, религиозной принадлежности.

Прежде чем воротиться в настоящее, все четверо сидели на обломках и в тишине, нарушаемой лишь таинственным шуршанием в листве. Суховейный вихрь, сирийский *шмук*, легонько задувал с востока, выводя на флейтах каменных щелей какой-то дикий курдский реквием. Грязно-желтое, на льва с черной гривой похожее облако вторгалось в небесную синеву, застилая вдали, если не обманывала память, отроги Антиливанского хребта.

— Какая тут злая, неспокойная пыль!.. — сказала однажды Евгения Ивановна, прикрывая рот концом голубого, со шляпы, газового шарфа. — Русский крещенский мороз кажется озорным, добродушным дедом в сравненье с нею...

— Не браните ее, Женни,— отвечал англичанин, заглушаемый поднявшимся вокруг скрежетом песчинок. — Перед вами глиняный пепел библейских царств. Он помнит слишком много, чтобы остыть, примириться, предаться заслуженному забытью...

По-русски мистер Пикеринг говорил со смешными оговорками, из которых Евгения Ивановна в тот раз не заметила ни одной. Он размышлял вслух о гигантских сгустках неистовой человеческой плазмы, которая непрерывно, в течение столетий возникала из этой почвы ради единственной, в сущности, цели — грудью в грудь сшибиться с ордами других наречий, пронзить друг друга мечами во имя демонов, в те времена владевших миром, и безжалобно раствориться все в той же песчаной поземке. С тех пор, по заключению Пикеринга, большая зола мучается и мечется в поисках прежних сочетаний, когда она была локоном красавицы, горлом певчей птицы, лепестком шафрана.

— Не слишком красиво у меня получается? — смутился он пристального взгляда Евгении Ивановны.

— Еще! — шепнула она, кивая на ящерицу, ровесницу развалин, прибежавшую послушать, и касаясь его руки. — Только не волнуйтесь так...

— Вот, все они ушли, но они по-прежнему тут! — И горсть взятого из-под ног праха дымными струйками пролилась сквозь неплотно сомкнутые пальцы. — Ничто не пропало... в истории и биологии — как в армии: при увольнении в запас имущество сдается в цейхгауз. Жалейте их, Женни... не ропщите на него, прах прежней жизни, за то, что он ластится и льнет к живым.

По привычке он закончил лекцию перечислением сект, династий, деспотов и прочих исторических жерновов, помогавших превращению руд, плодов, костей и драгоценностей в нынешние частицы пылевого помола.

Путешественники на целую неделю задержались в Дамаске. Арабский друг, как заветную шкатулку, раскрыл гостям свой город, который до него так любили Магомет, Моавия и Саладин. Иногда они забредали в кофейню местного армянина,— нигде в мире не умели готовить такого кофе. Туда надо было пробираться по загадочным проулкам, пахнувшим бараниной и миндалем. Фонтанчик плескался в мозаичной чаше посреди внутреннего дворика, и шипела на патефоне модная в послевоенные годы Аллилуйя, иногда оглашаемая собачьим визгом.

Через равные промежутки времени хозяин ударом ноги под стойкой вышибал за порог бродячую собаку, ронявшую его заведение в глазах иностранцев.

— Не узнаю своего доброго наставника, — с шутливой лаской как-то раз заметила Евгения Ивановна. — Сегодня за всю прогулку вы не обронили ни слова. Надоела самая бесталанная из его учениц?

— Напротив, я весь день скучал без вас. Вы провели его с кем-то другим... упрекали его, звали, но гнали, когда он приходил. Видимо, он дурной человек?

Евгения Ивановна опустила глаза в смятении:

— Нет, он просто несчастный и мертвый. Мне не хотелось бы сказать о нем дурное...

— О, я не интересуюсь знакомыми моих служащих.

Эта мимолетная ревность стала поводом поделиться с мистером Пикерингом повестью своей жизни. Евгения Ивановна не утаила ничего, кроме фамилии мертвеца, и, примечательно, с той поры Стратонов, точно устыдясь, перестал навещать свою бывшую жену. В последний раз он напомнил о себе в одном живописном оазисе близ Дамаска — что-то вроде Эль-Джжуд, но еще верней — Гамиз, куда путешественников пригласили на местные скачки.

Ничто из того дня не удержалось в памяти Евгении Ивановны: ни слепящее синевою небо, ни гортанные возгласы ценителей конного спорта. Ее вернули к действительности только коснувшийся ноздрей запах пота с лоснящихся лошадиных боков да вдруг появившийся хруст песчинок на зубах, когда по сигналу крючковатого насупленного шейха туча всадников в полосатых развевающихся бурнусах ринулась с воинственным кличем на воображаемого врага. Они мчались мимо, стоя в стременах и стреляя на полном скаку в знак серьезности осуществляемого мероприятия. Слезы благодарности богу и людям набежали на глаза Евгении Ивановны, естественная разрядка томительных лет нужды, унижений и страха. Все кругом, казалось ей, разделяло с нею восторг существования, даже калека с волосатым зобом, развинченной походкой проковылявший через беговую дорожку, даже прирученный, с такою надменной головкой сокол на жердочке позади хозяина. Мысли покинули Евгению Ивановну, кроме одной — «так сколько же, с к о л ь к о еще в запасе осталось у меня?». И все вычитала свои двадцать четыре из возможного срока человеческой жизни. Наступало выздоровление от прошлого, и тогда Стратонов вышел из ее сердца, но так небрежно, что она повалилась бы от боли, если бы не подоспевшая рука мистера Пикеринга. И потом англичанин тискал под скамьей ее

похолодавшие пальцы, пока ледышки не оттаяли в его ладони. Евгения Ивановна поблагодарила его долгим влажным взором... В ту же ночь бывший муж в последний раз привиделся ей во сне.

Как бы полночь и непроходимые ущелья вокруг, но ни скал не видно, ни даже собственной ноги на тропочке, ничего. Тоскливая тревожность подсказывает, что это не простое ущелье, а пограничное, с громадной, по ту сторону ночи, Россией. Где-то здесь прячется Стратонов, и тотчас какое-то загадочное, щекотное любопытство: что он поделывает в подобной мгле? И надо это срочно разузнать, пока не поздно. Ах, вот и он, чуть не наступила, у самых ног лежит на скате, откинувшись затылком в русло пересохшего ручья. Значит, вовсе не в африканском легионе, а именно здесь застрелили его при самовольной попытке вернуться без дозволения на родину... но почему-то Евгения Ивановна уже не верит лжецу. Оскользаясь на гальке, она будто случайно, в поисках брода, обходит лежащего, а сама все ищет искоса полагающихся на мертвом дырочек от пуль, а их нет. Собственно, и чернеет что-то во лбу, но так страшно нагнуться, пальчиком убедиться для верности: вдруг схватит!.. Тогда раскрывается, что Стратонов не полностью убитый лежит, а вовсе наоборот, лежит и холодно, безжалостно подсматривает за бывшей женой из-под приспущенного дрожащего века... И так застыла от ледяного ужаса при пробужденье, что, как была полунагая из-за жары, Евгения Ивановна вбежала в смежную комнату и, нырнув за марлевый полог к мистеру Пикерингу, искала у него защиты и тепла.

Сбывалась затаенная мечта англичанина, но вначале он и прикоснуться не смел к любимой, не без основания считая себя лишь заключительным звеном в цепи ее несчастий. Когда же миновал естественный паралич благоговения, дело у них пошло веселей. Час спустя Евгения Ивановна увидела в лунном свете свои голые ноги и с грешным смехом потянулась за сбившейся на пол простыней. Возникшие между ними в ту ночь отношения с переменным успехом развивались дальше и юридически закрепились приблизительно месяц спустя после переезда турецкой границы. Первая же неделя супружества открыла Евгении Ивановне пугающие преимущества ее нового положения. За лоскуток бумаги из чековой книжки разрешалось унести любую вещь с витрины, десятки рук с услугами

наперебой тянулись отовсюду... Кроме того, больше не нужно было примериваться каждую ночь, каждую ночь, как побезбольнее уйти из мира.

Турецкая часть путешествия пролегала через крайнюю глухомань, с непременным посещением исторически примечательных пунктов, куда путешественники добирались в трясучих, пыточного типа повозках, т а ш а б а р а с а х, и где их ждали непропеченные лепешки ю ф ф к а с горстью козьего сыра на обед. Везде приезд молодоженов сопровождался легким изумлением. Получалось даже: нет подходящего места на земле, где англичанин без помех, без насмешливых глаз в замочной скважине, смог бы заняться своим счастьем. Свадебный маршрут мистера Пикеринга, по большей части инкогнито и зигзагами, напоминал классическое кинобегство сквозь комические препятствия, точно вся Европа с фотоаппаратами и биноклями гналась следом. Например, за неполные три недели, оставшиеся им до г л а в н ы х приключений поездки, Пикеринги последовательно посетили развалины трех хеттских крепостей, даже раскопки в Богазкёи, где под адским солнцем энтузиасты просевали сквозь сита бывшую столицу хеттской империи в надежде заполучить хоть табличку с надписью... Словно не узнавая мест былого величия, громадные орлы кружили над зарослями дрока и глыбами грубо отесанного базальта. На них, рядом с еле заметными, на пределе исчезания, богами Востока угадывались такие же, истончившиеся до царапин заповеди их, и, стоя перед ними, Евгения Ивановна познавала первооткрывательское нетерпенье, мучительное и сладостное. По всем признакам, англичанин нашел себе подругу жизни в наилучшем для ученого сочетании с преданной ассистенткой... Полмесяца спустя молодая чета ночевала уже в Урфе, древней Эдессе, о существовании которой Евгения Ивановна узнала лишь по прибытии на место.

Ученого привлекали сюда прочные научные интересы, а в силу некоторых личных соображений он одно время едва было не поселился здесь на десяток-другой лет. В первой же загородной прогулке англичанин показал жене давно облюбованные точки, где при согласии турецкого правительства он рассчитывал разыскать ключевые документы буквально ко всем эпохам этой выдающейся переднеазиатской цитадели, некрополя многих времен и народов. По словам ученого, здесь, на сравнительно тесном манеже, тысячелетья сряду в с е грудью

сражалось со всем: юная европейская цивилизация с отступающей пустыней, Восток с Западом, хетты с хурритами, римские орлы с персидскими львами, архиепископы с ересиархами, а могущественный Велиар со здешними, в поясах из древесных ветвей, отшельниками, досаждавшими ему хуже летучей мошкары. Апостол Фома уходил отсюда на миссионерский подвиг, и три века спустя сам Ефрем Сирин в городских воротах с клиром встречал прах его, сторицей оплатившего свой минутный скептицизм... А в промежутках каратели Траяна дотла разрушат этот город, который восстановит Адриан, префект Макрин заколет здесь Каракаллу, чтобы самому пасть от меча сирийского юноши с еще более отвратительной судьбой, и, наконец, всемирно-историческая деятельность римских императоров в Малой Азии завершится пленением Валериана, со спины которого высокомерный Сапор станет отныне садиться на коня. А во тьме времен уже стоят наготове, чтоб обрушиться на Эдессу, монголы, землетрясения, крестоносцы и чума...

— Старухе есть что вспомнить в бессонную ночь. Всем она насладилась, и все насладились ею... — завершил свою лекцию англичанин. — Словом, завтра, Женни, вы станете окончательно миссис Пикеринг, и мне хочется верить, что когда-нибудь бракосочетание наше будет отмечено здешним летописцем как одно из наиболее отрадных событий местной истории.

День целиком ушел на осмотр сохранившихся памятников; на обратном пути от Немвродовых развалин постояли у оплывших каменных карьеров, где, по догадке мистера Пикеринга, когда-то резвились радужные рыбки богини Атергатис. Вечером будущие супруги отдыхали в прохладном садике приютившего их британского миссионера. Среди крохотных джунглей с лакированной растительностью ворчала бегущая вода, точно несла в себе клекот горных птиц, и перекликались туземные сверчки с кривыми саблями из-под плащей на красной подкладке. Евгения Ивановна пряталась в тени, потому что солнце палило с утра, сам же Пикеринг, по его странному обыкновению, отважно сидел лицом к своей даме на полном припеке.

— Значит, не раскаиваетесь, Женни, что разделили со мной эту экспедицию за счастьем? — спросил он, любуясь ее загаром, цветом волос и всем прочим, что когда-то прельстило и покойного Стратонова.

— О, вы милый... — И ей почти удалась та протяжная интонация, с помощью которой знакомые англичанки выражали свое восхищенье. — Одно меня тревожит: почему всегда вы садитесь против света, с таким пристальным недоверием в глазах?

— Мне хочется прочесть, что́ вы думаете обо мне, Женни.

— Прежде всего, я думаю, что вы самый красивый на свете...

Он остановил ее прикосновением руки:

— Меня крайне радует, Женни, что вы все более свыкаетесь с моей внешностью. Она со школьной скамьи доставляла мне наибольшее количество огорчений. Есть строка у Теннисона: «Show me the man hath suffer'd more than I...» [1] — в детстве мне казалось, что это про меня... Божественный гончар задумал и осуществил меня, будучи навеселе. Я догадываюсь: дарами памяти и незаурядной научной проницательности, которых во мне не отрицают даже враги, он просто загладить хотел свой непривлекательный поступок... — Грусть и юмор очень шли мистеру Пикерингу, они придавали его внешности благообразие человечности, которого ему недоставало в силу некоторых посторонних причин. — Опасно строить семью на зыбкой почве одной лишь женской благодарности. Во избежание непоправимых ошибок, Женни, я и затеял этот разговор до того, как вы бесповоротно станете миссис Пикеринг!

Тогда, краснея и запинаясь, Евгения Ивановна согласилась, что действительно у него несколько своеобразная, а в известных поворотах, пожалуй, и чуть потешная внешность, которую лишь с натяжкой можно назвать красотой. «Ах, боже мой... но ведь красота — это то, что любишь!» — непроизвольно сорвалось с ее губ, к величайшему утешению мистера Пикеринга, который уловил в этом признании не только такт или искренность, но и добрый, неразбуженный ум. Она прибавила, что причисляет англичанина к ангелам-хранителям, тайно проживающим на земле и украшающим ее скорби цветами. Что касается тела, то ведь для ангелов оно не более как маска...

— Не скрою, не все из ангелов, док, одинаково добросовестно относятся к своим опекунским обязанностям!

— Ну, лично я предпочел бы оставаться невидимым, чтобы не наделать заик из своих собственных малюток, — холодно

[1] «Покажите мне человека, который страдал больше меня» *(англ.)*.

и тускло пошутил мистер Пикеринг, высказав сожаление, что не может таскать постоянную занавеску на лице, как Моканна.

Далее невозможно замалчивать печальнейшее обстоятельство в жизни этого достойнейшего ученого и джентльмена, который в двадцать семь лет уже состоял редактором Анналов, обладая после покойного А. Г. Лейярда наиболее непререкаемым авторитетом в ассиро-вавилонской археологии. Молодые дыханья замирали в аудитории, едва он начинал свои вдохновенные импровизации... тем не менее первые минуты, от семи до пятнадцати на круг, неизменно уходили на преодоленье легкомысленного оживления среди новичков. Причина заключалась во внешности мистера Пикеринга, которая как в отдельных деталях, так и в целом не только отравляла ему личную жизнь, но затрудняла также и его политическую деятельность, внушая публике легкомысленные настроения, несовместимые с доверием избирателей. Мало того, что вследствие отчаянной худобы правая его сторона вопреки законам природы находилась как бы на левой, что, между прочим, вовсе не вязалось с его исключительным, во всякое время суток, аппетитом, самый колорит его лица оставлял желать много лучшего. Нельзя отрицать также, что, при известном освещении, тесно сближенные к переносью глаза мистера Пикеринга прискорбно напоминали двустволку. Некоторые сверх того, лишь из уважения к его учености опущенные здесь несуразности, вроде необычно длинных рук или непомерного его роста, представляли столь благодарный материал для карикатур и острот, что иные верные друзья, джентльмены даже, не лишали себя этого развлечения. Ученому оставалось, подобно солнцу, ежеминутным блеском слепить толпу, чтоб скрывать от нее свои пятна.

Семьи у мистера Пикеринга не было. Из женщин его дом посещали лишь стряпуха да престарелая, в постоянном трауре, очень строгая и когда-то красивая дама — мать. Их нечастые свидания заключались главным образом в терпеливом созерцании друг друга, с передышками — на огонь в камине. Злые, непритязательные на пищу языки не без оснований и, по крайней мере, наполовину приписывали научные успехи Пикеринга его несчастью, так как, в отличие от многосемейных археологов, вынужденных тратить свой досуг на возню с внуками,

этот имел возможность круглосуточно, как вол, заниматься разбором своих битых черепков, которые ящиками привозил отовсюду... Словом, с годами он все глубже зарывался в прах чужих гробниц, куда не проникали ни солнечный луч, ни детский смех, ни женский зов. И он так мало знал себя с этой интимной стороны, что давняя мечта о наследнике парализовалась скорее страхом непривычки, нежели возрастными сигналами. При его почти мировой известности только опасения стать газетной сенсацией и погнали мистера Пикеринга с его горькой и поздней любовью в малоазиатское захолустье.

После случайной контузии, полученной при религиозных беспорядках 1906 года в Бенгалии, англичанин страдал жестокими приступами невралгии. В поездке Евгения Ивановна привыкла оказывать ему помощь: замужество почти не прибавило ей забот. Она звала его теперь просто док, по-американски сокращая его научное звание... Смешные страхи быстро рассеялись, боги довольно благожелательно отнеслись к молодоженам. Содержимое чемоданов четы Пикеринг перетасовалось по соображениям супружеского удобства и дорожной рациональности. В угоду жене обратный маршрут был составлен via Константинополь: Евгению Ивановну так и тянуло посидеть еще разок в скверике перед Айя-Софией, где однажды ей так хотелось умереть. И вдруг накануне получения английского паспорта, когда для Евгении Ивановны открывалась дверь в желанное, обеспеченное будущее, независимое в ее положении от страха, голода или чужой низменной воли, она необъяснимо заболела.

По мере продвижения на север все более тускнели в ее глазах волшебные мелочи путешествия, а необузданная радость бытия сменялась холодом томления и одиночества. Евгения Ивановна зябла и влажными покрасневшими глазами всматривалась в такой недосягаемый на севере, затянутый сизой дымкой горизонт. Светила турецкой медицины не обнаружили в организме женщины каких-либо угрожающих изменений, однако незримый недуг смывал ее краски и сияние, как фреску со стены. Вместе с загаром сошла свежесть кожи, вслед за погасшей улыбкой омрачились глаза. Спазматическое молчание жены, в которое никак не удавалось пробиться мистеру Пикерингу, пугало его даже сильнее ее физического увядания. В предупрежденье нередкого среди русских изгнанников сумасбродного конца англичанин вопреки своим убеждениям предпринял необходимые розыски.

В секретном уголке дамского несессера нашлось золотое колечко, которого он не дарил. Осведомленного к тому времени во многом мистера Пикеринга не огорчило также вырезанное во внутреннем ободке мужское, уменьшительное, не его имя,— он знал чье. Его озадачило другое: каким образом эта маленькая ценность уцелела у Евгении Ивановны в дни хотя бы парижской нищеты, когда вопрос чести и существования решался куском хлеба. В безоблачном небе достигнутого счастья опять возникали знакомые по Дамаску тучки сомнений. Итак, тухлый, воинского звания, молодой русский господин снова повадился с черного хода таскаться к англичанину на дом?

На другой день англичанин случайно застал жену за разглядыванием ветхой, немедленно куда-то исчезнувшей газетки,— однако заплаканного лица своего скрыть от супруга Евгения Ивановна не успела. В ту же ночь, снова как-то мимоходом, он обнаружил наконец за внутренней, оторвавшейся обклейкой чемодана тот загадочный, полуистлевший в складках газетный лист, оказавшийся официальным органом Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, напечатанный, судя по заголовку, в одном из степных русских городов. Находка выдавала мистеру Пикерингу наличие второго, тайного плана в жизни его жены, по счастью, недостаточного для политического преследования в Европе. Все же, если даже пренебречь законным недоумением, через какие русла провинциальное советское издание всего годичной давности попало в обладание подданной Его величества, возникал не менее уместный вопрос: что могло привлекать беглянку в бурных большевистских филиппиках по адресу благополучно, еще со времен Герцена, согнивающего Запада, предоставившего ей пусть не слишком комфортабельное, зато надежное убежище. Правда, мистер Пикеринг слыхал стороной, что иных неисправимых бродяг нередко тяготит затянувшееся благополучие... хотя, если даже и взгрустнулось ей вдруг по свирепым потрясениям, в которых русские двадцатых годов находили сомнительную привлекательность, то какое сердце способно увлечься романтикой эпохи, для которой оно или кирпич, или мишень; по вопросу о бурях мистер Пикеринг держался особого мнения. Но тогда что именно могло привлекать его любимую женщину в *этой* стране, откуда вырвалась напропалую, где ни души не осталось у ней в живых и где, по его расчетам, того гляди, новый косоглазый Махно в папахе, как печная труба

на избе, помчится в тачанке по обындевелым гулким буеракам? Обладавший даром допрашивать тысячелетние камни, мистер Пикеринг оказался бессилен прочесть скорбную клинопись вкруг детского рта. Секрет заключался в том, что смазанная на последней полосе цинкографическая картинка изображала Базарную площадь в родном городке его жены. И не то привлекало там Евгению Ивановну, что на ней способом субботников предполагалось воздвигнуть всемирный, видимый со всех угнетенных континентов обелиск — маяк Революции, а то неизвестное англичанину обстоятельство, что на заднем плане площади виднелся в профиль мамин домик с мальвами в палисаднике. Кстати, к этому времени через британское посольство в Москве удалось получить известие, что старушка умерла вскоре после разлуки с дочкой... Лишь путем исключения нелепых или оскорбительных гипотез отчаявшийся супруг добился истины. Неохватная громада России лежала по ту сторону гор на горизонте. Она тянула к себе русское сердце даже сквозь толщу Кавказского хребта, не говоря уж о защитной броне горчайших воспоминаний, и, в случае сопротивленья, тяги хватило бы вовсе вырвать этот трепетный комочек мяса из груди.

В первом же прямом разговоре смятение жены подтвердило мистеру Пикерингу основательность его диагноза.

— Не жалейте меня, милый друг... — отрывисто отвечала Евгения Ивановна, ластясь и смешно наморщивая лоб, чтобы выражением беспомощности купить терпение супруга к надоедной, чисто русской горести. — Когда бурей срывает с дерева листок, дело его конченое. Он еще порезвится на воле и окрестность облетит, даже в непривычную высоту подымется, но сгниет все равно раньше остальных, оставшихся в кроне.

Слова ее прозвучали гладко, даже чуть книжно и безоговорочно, как заученные.

— Но самая мысль эта освобождает вас от всяких привязанностей... — неуверенно заметил было Пикеринг.

— От чего, от чего она освобождает? — из любопытства к мышлению европейца прищурилась Евгения Ивановна.

— Я хотел сказать... от обязанностей к дереву, которое без сожаления... ну, отпустило, сбросило вас. Противоестественно любить то, что платит вам ненавистью.

— И вам давно это пришло в голову, док? — чуть высокомерно усмехнулась жена.

— Эта мысль принадлежит Дидро.

Евгения Ивановна пожала плечами:

— Значит, людям большого ума легче, чем *нам*, маленьким, пускать корешки в чужую почву!

Через неделю мистер Пикеринг как бы мельком попросил совета у жены, соглашаться ли на совпавшее с его поездкой приглашение московских друзей вернуться домой транзитом через Россию. Года два назад на крупном конгрессе он откровенно высказал признательность русским за их дерзкую попытку внести здравый смысл в смертельно запутанные социальные, производственные и нравственные отношения современности. Чуть позже в научной и, главное, весьма нашумевшей статье он сопричислил Москву к городам-факелам, освещающим тысячелетние переходы на столбовой дороге человечества. Правда, в одном газетном интервью перед самым отъездом в Малую Азию ученый отвел России почетную, хотя незавидную роль горючего, чуть ли не вязанки хвороста, в деле великого переплава одряхлевшего мира, однако советский корреспондент и за это поторопился внести британского археолога в немногочисленный пока актив влиятельных друзей Октябрьской революции. Так объяснялось почти немедленное получение советских виз с небывалым в интуристской практике тех лет дозволеньем въезда через Закавказье.

Жена с молчаливой признательностью положила свои ладони на плечи мистера Пикеринга,— как он любил ее несколько крупные, милосердные руки!

— Вы у меня могучий и прозорливый ифрит из арабских сказок, док,— сказала она потом.— Обещаюсь вам, что вы ни на секунду не опоздаете к началу своих лекций. Мы даже не станем выходить из вагона: только часок, от поезда до поезда, погуляем в одном глухом городишке за Ростовом... хотя там и для вашего обозрения нашлись бы нераскопанные курганы. Так не сердитесь же, я сделана из *этой* земли, милый!

В сущности, Евгения Ивановна и ехала-то в Россию отпроситься на волю, чтоб не томила больше ночными зовами, отпустила бы ее, беглую, вовсе бесполезную теперь. Конечно, лучше бы поехать туда летом, чтобы хорошенько, на память, промокнуть в степной грозе... хотя неплохо было бы и просто намерзнуться досыта на опушке зимней рощицы, вслушиваясь в отфильтрованную снегопадом тишину. С не меньшей силой манила Евгению Ивановну и степная весна: посидеть на Пасху у родительских могилок, пестрых от яичной скорлупы, пошептаться с мамой под надсадный и утешный крик грачей. И если

на осень выпадало счастье, Евгения Ивановна решила истратить отпущенный часок на прогулку по аллее старых акаций, брести и слушать сухой звонкий сор палой листвы под ногами... Дорога вела мимо мамина домика, и можно было узнать заодно — жив ли Трезорка, сохранились ли часы с кукушкой и кто спит на сундуке за ширмой, в задней проходной.

В отмену строжайших распорядков именитые гости были впущены почти прямолинейным маршрутом из Карса через Сакал-Тутанский перевал... Торопились засветло пересечь границу. К сумеркам погода переменилась. Тучи над головой бежали в Турцию. Возле горного озера, подернутого рябью начинающегося дождя, путешественники перегрузились в открытую машину со следами долгой и героически прожитой жизни. На пустыре у Карзахи босые ребятишки самоотверженно футболили дырявый чайник, но все звуки поглощало благостное и, вопреки непогоде, розоватое безмолвие вечера. Похудевшая за один последний час Евгения Ивановна все тискала в сумочке новый паспорт, охранную грамоту от случайностей родины. Переступала ее порог робкая, торжественная: Храм. За дорогу пропиталась запахом трав, сама стала как сухая трава: казалось — вспыхнет веселым трескучим огнем, стоит спичку поднести. Вместо ожидаемых досмотров и томительных формальностей здешний библиотекарь, если только не агроном, поднес знатной иностранке букет. Она одна стояла под зонтом, остальные просто так, и все глядели на Евгению Ивановну со значением, которого она не могла пока распознать. Оратор поздравил знаменитого архитектора со вступлением на порог завтрашнего мира,— происшедшая по вине телеграфа обмолвка содействовала веселому сближению сторон... До самого Тифлиса приезжих сопровождали знаки внимания в виде интересных напитков, изобильной пищи, также ковров для состоявшегося в Ахалцихе ночлега и, наконец, разнообразных культурных развлечений. Так, несмотря на запоздалое прибытие в город, гостям был тотчас показан слон под управлением Корнилова и произведена вступительная, полуудачная попытка уложить англичанина на тостах мирового значения. Все текло приятно и без ложного стеснения, даже пропажа бельевого чемодана, который, как положено в благоустроенных государствах, скоро нашелся со вложением предмета, не принадлежавшего лично супругам Пикеринг. Всю дорогу Евгения Ивановна жадно впитывала каждый штрих и шорох: голые и

пустынные склоны пограничного нагорья, волшебный замок у Хертиписи и за Боржомом — тяжелые хвойные леса, гулкие ущелья со сбегающими на шоссе ручейками и наконец-то показавшиеся вдали за очередным перевалом снеговые, чуть размытые в осенней дымке грани Главного Кавказского хребта. Дважды суровым и влажным холодом дохнуло в лицо, и тогда Евгения Ивановна заторопилась, пока оставалось время до въезда в грузинскую столицу, осознать существо происшедших с нею перемен.

В Тифлисе они тоже очень удачно подоспели на гастроль популярной, еще петербургской примадонны, которая уже полтора поколения сряду держала знатоков в напряжении посредством своего густого неторопливого сопрано... Удовольствие начиналось в восемь, и после краткого отдыха, по дороге на концерт, гости спустились в контору гостиницы для уточнения дальнейшей программы. В кабинете директора их ждали здешние начальники, собравшиеся приветствовать новоприбывших друзей прекрасной Грузии. С глубоким вздохом Евгения Ивановна вступила в нарядное, сплошь в теплых гардинах помещение, обставленное отборными предметами уюта и комфорта из мебели покойной буржуазии.

— Хахулия! — гортанно и певуче назвался из-за необъятного стола начальник в зеленом кителе, протягивая столь же внушительную ладонь и предоставляя догадываться о значении произнесенного слова, а все остальные покрякали и с достоинством погладили усы, у кого были.

Беседа завязалась о превратностях путешествий в послевоенное время, и между прочим внимание обоих Пикерингов одновременно привлекла картина в простенке, исполненная способом не столько мастерства, как задушевной искренности. Из художественной рамы на приезжих глядел моложавый старик в черной войлочной шапочке; с рогом вина в руке он блаженно полулежал под сенью виноградных гроздей, и закат пылал позади, точно распороли бурдюк жидкого пламени.

— Перед вами наша солнечная Кахетия,— польщенный вниманием столь уважаемых лиц, пояснил главный начальник. — По утверждению виднейших профессоров медицины, наиболее благоприятное место в климатическом отношении... Итак, решено, начинаем ваш путь с Алазанской долины, исключительно чтобы вы не забыли сердечную грузинскую дружбу и любовь! — закончил он, и тотчас же все остальные в поддержку старшего товарища принялись наперебой и с поясни-

тельными жестами сообщать мистеру Пикерингу дополнительные сведения о целебном воздухе, нешелохнутой тишине и прочих привлекательных качествах этого чудеснейшего на земном шаре уголка.

Зная ее планы и намерения, англичанин вопросительно взглянул на жену, а та, счастливая и раскрасневшаяся, уже уступила под натиском столь жаркого гостеприимства. В самом деле, заезд в Кахетию давал ей время до наступления чего-то главного и совсем придвинувшегося додумать все то, чего из-за тряски или волнения так и не успела в дороге; неуверенный наклон головы был встречен единогласным одобрением хозяев. Хахулия обещал прикрепить к приезжим наилучшего на всем Кавказе гида с французским языком и прокричал в телефон тревожно знакомую фамилию, утонувшую в фейерверке грузинских слов. Спустя короткое время, в течение которого Евгения Ивановна старалась не потерять сознание, в кабинет за ее спиной вошел живой Стратонов. Она узнала его в зеркале по знакомой рыжеватой, на резинке, вельветовой куртке и таким же поношенным штанам, заправленным в помрачительно начищенные, тоже константинопольской поры краги. Загадочные ремешки и кольца на поясе гида отвлекали внимание в сторону, полевая сумка свисала через плечо; эту придуманную маску бывалого альпиниста завершали горные башмаки на двойной стоптанной подошве. Чтобы не утомлять пустяками, директор не счел нужным представить гида именитым туристам; да тот и сам почти не взглянул на них... Но вот при обсуждении маршрута Евгения Ивановна помогла мужу перевести не дававшийся ему русский оборот. При звуке ее голоса Стратонов вскинул глаза ей в затылок, и на мгновение у него стало такое лицо, словно наискось полоснули хлыстом. Можно было думать, что, захлебнувшись чем-то, он умрет сейчас. Евгения Ивановна искоса видела в зеркале, как, чуть оправившись от замешательства, он потерянно поискал себе место сесть, чтобы не стоять одному из всех, но свободное кресло было занято плащами гостей. Он тогда с независимым видом прислонился к притолоке двери.

— Не торопись помирать, кавалер, живи веселей... — по-хозяйски и вполне дружественно окликнул его Хахулия. — Ай-ай, закаленный такой вояка, а выглядывает, как б а л н о й бабушка. Прошу дорогих гостей смотреть товар лицом!

Не было ничего обидного в этом тоне шутки и снисхождения к поскользнувшемуся человеку, да и Стратонов всем

видом своим выражал готовность оправдать доверие. Требовалось согласие Евгении Ивановны, она утвердительно кивнула головой. Нечего было страшиться неприличной фамильярности со стороны бывшего мужа: битый и меченый, он слишком прочно лежал на земле, чтобы ссориться с влиятельным другом неокрепшего Советского государства. Кроме того, в поездке представлялся удобный случай вернуть Стратонову его дареное колечко, которое по необъяснимому чутью сберегла ради этой встречи. Выезд назначался на завтра... Нет, у нее решительно не имелось никаких основательных доводов отказываться от стратоновских услуг. И тогда под видом комплимента знанию языка, а на деле пытаясь условиться об отношениях в предстоящей поездке, Стратонов по-французски осведомился у Евгении Ивановны, бывала ли миссис Пикеринг в России раньше. Евгения Ивановна воспользовалась правом иностранки не отвечать на слишком частые и нескромные анкеты этой страны.

За время переезда в Кахетию Стратонов держался французской речи с целью не доставлять англичанину ревнивых размышлений. Теперь же, в разговоре наедине, в ночном цинандальском парке, французское обращение Стратонова, конечно, объяснялось лишь страстным желанием остаться неузнанным до конца. То было явное моление о пощаде... Внезапно грохот разрушения, потрясавший алазанскую ночь, прекратился во мраке позади них: видимо, шофер успешно закончил взлом намеченной двери. Кто-то шел навстречу, фонарь качался в руке, попеременно освещались ноги в толстых хевсурских носках.

— Мы можем войти в дом, человек достучался. Угодно вам протянуть мне руку, миссис Пикеринг?

Звучавший из отдаления голос Стратонова заметно приблизился. Кажется, гид рассчитывал, что все завершится в потемках и без свидетелей. Однако Евгения Ивановна изменила первоначальное намерение вряд ли из одного только опасения промахнуться по темноте. Кроме того, такая опасная тишина наступала к полуночи в Алазанской долине, что самая затаенная мысль немедля становилась слышной.

Ночью произошла суматоха. Англичанину потребовались припарки, но горячей воды не удалось добыть. Суровый быт нового мира был далек от роскоши. В шкафчике отыскался пу-

зырек с высохшими каплями датского короля и столь же царственного происхождения окаменелые порошки, сохранившиеся от прежних владельцев Цинандальского дворца. Пришлось ограничиться втиранием мягчительных средств, на что ушла половина ночи. Припадки проходили внезапно, как и наступали, без последствий.

Евгения Ивановна проснулась близ полудня. Заспанным взором она обвела обитые малиновым штофом стены, которых не рассмотрела ночью при свече. Спальня больше смахивала на запущенный тронный зал небогатого монарха, но все искупала зеленоватая парковая свежесть, что врывалась сюда, в душные сумерки, с открытой террасы. У распахнутой наружу двери, в халате и с томиком оксфордского издания в руке, сидел выздоровевший муж, какой-то в особенности длинный в то утро и, почудилось спросонья, закрутив ноги одна вкруг другой.

Женщина потянулась с блаженным сознанием, что лишения молодости не приблизили огорчений старости. Она чувствовала себя новорожденной в этой обширной, со ступеньками и балдахином, квадратной кровати, сооруженной для неистовств неизвестного властелина. Жизнь Евгении Ивановны едва началась, вечность впереди лежала нерастраченной. Сладкое онемение держалось в теле, касаться его атласистой поверхности доставляло наслаждение ей самой. Нежась и смежая веки, она забавлялась тем, как расплывается ее супруг в стрельчатом световом пятне. Вдруг представилось, что в нижнем этаже, прямо под нею, с папироской в зубах лежит на тахте Стратонов и нагло смотрит на нее, нагую, сквозь ковер, простыни и потолок.

Полусознательное ощущение стратоновской близости весь остаток ночи преследовало Евгению Ивановну, только сном и можно было отбиться от него: так и сделала. И правда, Стратонов сперва отстал, едва сомкнулись веки, но вскорости догнал и, как ни противилась, обнял всем своим существом, живой и без недостатков, которые так старалась подметить накануне. И так плотно у них перемешалось все, что нельзя стало распознать, где кончался один и начиналась другая... Внезапно спальня расширилась до размеров площади, залитой праздничными людьми, и кровать, похожая теперь на катафалк, двинулась сквозь расступавшуюся толпу, притворно не замечавшую происходившего...

Разбудил щекотный холодок в ногах, одеяло сползло на пол. Две розы, которых раньше не было, лежали на ночном столике возле кровати. В том же положении, только одетый и выбритый теперь, мистер Пикеринг сидел на том же месте со справочником на колене; сквознячок шевелил лепестки рисовых страниц. За время недозволенных событий он успел отлистать историю Кахетии от пленения Агсартана Второго до несчастий Теймураза Первого. Как положено в любовных сказаньях, бедное чудовище караулило свою крошку в полном неведении, что его обкрадывают.

Заслышав движение, оно раскрутилось в обратную сторону и приблизилось к жене.

— Вы так бились во сне, Женни,— сказал мистер Пикеринг, опершись в резное изголовье кровати,— как если бы вам пришлось убегать от погони... Я дважды подходил к вам.

Евгения Ивановна ужаснулась словам мужа.

— Дурной сон... — поспешно согласилась она, натягивая одеяло до подбородка. — Что же вы не разбудили меня, док?

— Когда я подбежал, вы уже улыбались.... и я решил, что прошло. Так что же именно гналось за вами, дорогая?

Ничего не слышалось в его обычном голосе, кроме вкрадчивой ласки, которая в глазах застигнутого преступника всегда сходит за прием коварства. Невозможность оправдаться в своей вине толкнула Евгению Ивановну защититься первой подвернувшейся на уста неправдой. Ей даже не пришлось особенно притворяться, она действительно часто задумывалась в тот период о маминой смерти, ставя ее в причинную зависимость от незаконно закопанных на огороде двух серебряных подстаканников и золотых часов отца, подношения сослуживцев. И, чтобы убедительней выглядела история, Евгения Ивановна начала с того памятного дня, когда какая-то из тогдашних недолговечных властей впервые перекопала у них полусадьбы в поисках несчастных ценностей.

— А у мамы помидоры с грядок еще не убраны...

Англичанин прервал жену на полуфразе:

— Не трудитесь, Женни... Рассказывать сны — все одно что развертывать горелую бумагу: они рассыпаются!

В страхе утратить доверие этого человека Евгения Ивановна сделала неуклюжую попытку привлечь его к себе, лишь бы заглушить в нем тайные подозрения. Англичанин бережно разомкнул ее руки у себя на шее. Она так и поняла, что муж

не желал вникать в измену, которой, в сущности, не было, вместе с тем его не соблазняли подонки нежности после другого. С отчаяния, что могла назвать во сне чужое имя, Евгения Ивановна разрыдалась. Раскаянье вязало женщину в узлы, кидало о подушки. Пальцами одной руки растирая в кашицу подвернувшуюся розу, англичанин выжидал конца припадка со стаканом воды в другой. Рубашка сбилась с плеча, детские слезы катились на голую грудь. Ничто так не убеждало в невинности жены, как это крохотное бесстыдство.

Когда всхлипывания стали реже, мистер Пикеринг счел возможным вмешаться в стихавшую бурю.

— Успокойтесь, не бегите от меня, не напрягайтесь со мною, Женни. Я ваш вечный друг... и скорее выпейте эту воду,— заговорил он, кладя исцеляющую руку на еще содрогавшееся плечо. — Что́ бы ни случилось, самое худшее, я не причиню вам боли... успокойтесь же, вот так, так. Кстати, не кажется ли вам, что откуда-то понесло прелестным кухонным чадом? Не представляю себе иных запахов, с равной силой благовествующих о земном благоденствии. Не зря в древнейшем Израиле, со времен благополучного приземления Ноева на Арарате, бог изображался в виде ноздрей, вдыхающих жертвенный дым. Я расскажу вам за завтраком эту занятную историю, кстати происшедшую поблизости, в ста тридцати километрах к югу отсюда, по меридиану, но... одевайтесь же теперь! Вы взяли себе в мужья феноменального обжору, дорогая.

Здесь Стратонов вторично постучал в дверь. К несчастью, время завтрака бесповоротно истекло, зато обедали в Кахетии по-крестьянски рано. Полчаса спустя все трое через анфиладу нежилых парадных комнат проследовали в столовую. Сказывалось утомление минувшей ночи, беседа не ладилась, несмотря на обилие вина и присутствие директора совхоза, признанного т а м а д ы республиканской категории. Некоторое оживление наступило лишь в конце, когда англичанин выразил несдержанное восхищение цинандальским меню. Изысканный и безвестный мастер пищи жил и творил для немногих в алазанской глуши. Польщенный признаньем знатока, директор сообщил, что повара зовут Котэ, и, кажется, собирался в кратких чертах накидать биографию артиста, но тут его вызвали по хозяйству: горячая уборочная пора наступала по всей Кахетии. За четверть часа, пока он бегал в контору,

Стратонов успел по секрету приоткрыть гостям, что сюда, в кулинарный эдем, наезжают из Тифлиса начальники закалять организмы к генеральным схваткам за человечество,— причем как бы песочек похрустел у него на зубах. Вслед за тем у Стратонова произошла та досадная перепалка с мистером Пикерингом, которую нельзя рассматривать иначе, как стремление любой ценой подняться из ничтожества в глазах женщины.

Краем глаза, не поворачивая головы, Евгения Ивановна все время наблюдала своего раздраженного визави. После ночных сумасбродств в качестве призрака живой Стратонов показался ей почти мертвецом. За столом чуть наискось против нее сидел недобрый, невыспавшийся и, главное, совсем немолодой человек. И, значит, никто не собирался подстреливать его в том приснившемся Евгении Ивановне ущелье, а, видно, свалили ударом по челюсти, отчего до сих пор нижняя часть лица то и дело непроизвольно смещалась влево. В возмещение чего-то навеки утраченного этот господин отпустил поэтическую шевелюру, и она, пожалуй, даже шла бы ему, если бы ее чаще прополаскивать в теплой мыльной воде. Огрубелые руки, обтрепанные обшлага с булавками вместо запонок, с расстояния ощутимая нервная усталость — все без утайки рассказывало о стратоновском бытье на достигнутом берегу. Он жил пусто и одиноко, без надежды, без любящей женщины, в озлобленье постоянного страха. Ни одно из подмеченных горьких обстоятельств не доставило Евгении Ивановне желательного облегченья.

Пощипывая кисть винограда, Стратонов докладывал о прошлом Цинандальского имения и, между прочим, о прежних владельцах нынешнего винного совхоза, знаменитой семье Чавчавадзе, в особенности подробно — эпизод с мюридами Шамиля, как они ровно семьдесят лет назад схлынули сюда с горных стремнин и утекли назад в чаду пожарища, приторочив к седлам двух грузинских княгинь. И хотя Евгения Ивановна и без того молчала, ей ясно становилось, что профессиональным многословием, изобилием сведений гид старается заполнить целиком предоставленное ему время, чтоб не оставалось пробела для посторонних вопросов и объяснений. Выяснилось кстати, что с конца прошлого века имение перешло от разорившихся хозяев к последней русской династии и в кро-

вати, где провели ночь супруги Пикеринг, неоднократно почивал сам Александр Третий.

Сообщение вызвало у мистера Пикеринга неосторожную шутку, что это был, помнится, самый крупный по размерам русский царь... Опустив глаза в тарелку, гид молчал долю минуты.

— При жизни этого государя иностранцы даже у себя дома, в Европе, воздерживались от неосторожных суждений по его адресу... — шелестяще и как бы вскользь произнес он в тоне исторической справки.

И так интересно становилось Евгении Ивановне наблюдать возрастающее смятение этого падшего человека, что решилась не напоминать пока, как вскоре после Февральской революции тот же студент Стратонов, кипя гневом против самодержцев вообще, рассказывал ей анекдотцы из жизни того же Александра: про его уединенные выпивки с садовником, привычку таскать в голенище флягу с коньяком, про его варварские соло на геликоне.

Англичанин дружелюбно подлил вина в бокал Стратонову.

— У меня не было намерения задеть ваши политические убеждения,— с искренним сожалением сказал Пикеринг. — Ростом я даже несколько выше, чем помянутый Александр. Про меня тоже острят у нас, в Лидсе, что из всей нашей профессуры я произвожу на студентов самое неизгладимое впечатление... правда, несколько в ином смысле, чем хотелось бы.

Стратонову выгоднее было не замечать его примирительного маневра.

— Прошу извинить внеслужебную вольность, но многие посетители с Запада вообще склонны ронять шаловливые мысли о нашей национальной трагедии... — не унимался он, стремясь жизнеопасной бравадой перед мужем набить себе цену в глазах его жены. — Что не мешает им, однако, уносить из советских ресторанов в качестве сувенира пущенные в обиход дворцовые салфетки с вензелями покойного монарха. Видимо, несмотря на просвещение, в Европе до сих пор имеется спрос на добрый кусок веревки от повешенного... Правда, я не замечал этой тяги за вашими соплеменниками, но, уверен, и среди них найдутся, как говорится, интересующиеся поспать ночку-две в императорской кровати...

И, не давая опомниться потрясенному мистеру Пикерингу, гид распространился об особой разновидности иностранцев,

которые приезжают пострелять горных козлов в кавказских заповедниках, утоляют жажду коллекционным винцом и по получении даров высказываются у себя в газетных интервью о полезности социализма для России.

— О, вы действительно так думаете? — ошеломленно косился англичанин.

— Бросается в глаза при этом,— с разгону, поднимаясь и торопясь довершить свой бунт до возвращения хозяина, заключил Стратонов,— что ни один из таких быстрых друзей не попросился покамест к нам на вечное жительство. Я кончил и... мерси за внимание. Итак, будем продолжать нашу работу?

План последовательного обозрения Алазанской долины был составлен еще в Тифлисе. Вторая половина дня полностью посвящалась знакомству с кахетинским вином — с его историей, производством и подвалами совхоза. В целях наилучшей подготовки к последней, наиболее ответственной части была предпринята небольшая прогулка в окрестностях Цинандальского дворца. Директор самолично проводил гостей под сень парка, сплошь составленного из могучих платанов, ливанских кедров и стеркулий. Мимоходом Стратонов, на пробу, справился у англичанина, не производят ли эти вековые деревья впечатления затаившихся демонов, готовых искрошить любую бурю в своих мускулистых объятиях. Тот отвечал довольно сдержанно, что нет, не производят. Тогда из жгучего желания сгладить дурное впечатление от давешнего выпада против Запада Стратонов по возможности почтительно осведомился у профессора Пикеринга, не возникало ли у того когда-либо научного интереса к прошлому Кавказа. Нет, суховато отвечал тот, не возникало... Тем временем они оказались на самом обрыве цинандальской цитадели. Вековые каштаны, чьи плоды похрустывали под ногами, нависали над пропастью с каскадами колючего кустарника. Далеко внизу простиралось уставленное редкими кипарисами каменистое пространство, внушавшее жажду полета и окаймленное сиреневой каемкой гор.

— Отсюда вы можете наблюдать начальное шествие кахетинского вина... — из-за спины и вполголоса подсказал Стратонов, снова и снова давая себе мысленный зарок не сердить отныне своих клиентов.

В том году виноград созрел неделей раньше обычных сроков, и сбор его по всей долине начался как раз накануне. Провинившийся гид безответно спросил у гостей, не кажется ли

уважаемым господам, что все говорит шепотом в это утро: листва, вода, даже птицы. Только перегруженные корзинами нового урожая арбы лениво скрипели там, внизу, по дорогам. А за спиной, по ту сторону парка, в полную силу стучали давильные машины на мокром цементном полу, и, показывая рукою на разрушительные каландры, где умирала благородная красота виноградных гроздей, чтобы приобрести пьяную мудрость вина, Стратонов стал посвящать своих спутников то в различия сортов Будешуре и Муване, то в особенности мартовской подрезки растений, а от Евгении Ивановны не ускользнула насмешливая переглядка виноделов, когда он распространялся о преимуществах прививки на лозу Берландиери в условиях черноземной полосы.

Вдруг старший из них, грузин с нависшими бровями и с руками, по локоть мокрыми от будущего вина, зачерпнул стакан вспененного виноградного сока и с непокрытой головой протянул его скучавшей гостье — древнее горское рыцарство сквозило в его медлительном жесте. Ее глаза блеснули в ответ, ее миловидность на мгновение стала слепительною красотой, она поднесла к губам и откинула голову, так что распались по плечам стриженые волосы и обнажилось розовое горло, и она захлебнулась, и несколько капель пролилось мимо рта, ей стало весело, она засмеялась. И, салютуя вечной женственности, старик дважды кончиками пальцев, пока пила, коснулся своих прямых, как турьи рога, перекрученных усов.

Вряд ли стакан пресного виноградного сусла заслуживал такого показного восхищения. Видимо, женщине захотелось хлестнуть кого-то по глазам своей расцветшей прелестью. Тревожно поглядывая на жену, понемногу разгадывая роль Стратонова, англичанин смятенно спрашивал себя, не являлся ли сам он для Евгении Ивановны орудием мести, жестокость которой усиливалась его внешностью. Когда отправлялся в ее страну, он не мог предвидеть этого унизительного состязания с малопочтенным русским господином, и самая оскорбительность его в том заключалась, что уж не оставалось возможности избегнуть его теперь.

Евгения Ивановна поймала на себе внимательный взгляд мужа.

— Оно же совсем безгрешное, без единой хмелинки пока... попробуйте, док! — оправдывалась она и отдавала стакан с недопитым глотком и алым краешком от прикосновения губ.

Против воли втягиваясь в игру, англичанин капля по

капле отпивал это неродившееся вино, тем не менее терпкое и жгучее для него, как если бы на адском пламени настоянное,— отпивал и не сводил глаз с противника, безучастно ударявшего прутиком по крагам. Они отошли, каждый с острым предчувствием какого-то своего, близкого и неизбежного теперь отчаяния или торжества впереди. И, словно назначая место для предстоящего поединка, Стратонов сообщил гостям, что в ближайшую ночь в селении Алаверды, на противоположном берегу Алазани, открывается осенний храмовой праздник, сопровождаемый ежегодичной ярмаркой. На нее съезжаются представители едва ли не всех кавказских племен, даже дальние лезгины. Туда двадцать километров трясучего, местами адски пыльного проселка, но лишения поездки с лихвой окупятся обилием экзотических впечатлений.

— Это мне знакомо... Алаве́рди, Алаверды́,— применяясь к ударению, вспомнил англичанин. — Это транзитный пункт многих азиатских орд, когда-либо прорывавшихся на юго-запад Европы. И в нем, помнится, древний храм, основанный каким-то благочестивым странником...

— Вы хорошо выучили свой утренний урок, мистер Пикеринг,— пронзительно похвалил Стратонов, потому что приметил утром оксфордский справочник у англичанина на столе. — Храм построен старцем Иосифом из числа тринадцати монахов, посланных сюда Симеоном Столпником из Антиохии.

— Как вы сказали?.. С т о л п н и к? — прервал на непонятном ему слове англичанин.

— О, это Stylites! — пояснила мужу Евгения Ивановна и напомнила одноименную поэму Теннисона с любимой цитатой-девизом мужа: — «Show me the man hath suffer'd more than I!»

Без особой нужды и опять вряд ли только для мужа она бегло прочла все восьмистишие целиком; три года назад в бухте Мод она ни слова не знала по-английски. Стратонов тем временем, слегка улыбаясь, чистил пятнышко на рукаве, пока англичанин, воркуя и держа руку Евгении Ивановны, производил над нею интимные супружеские пассы.

— Раз зашла речь, то я позволю себе прибегнуть к вашей учености с одной моей старинной путаницей... — продолжал Стратонов, лаская англичанина коварным взором. — Тут у меня помечено в книжке, что Алавердинский храм выстроен в седьмом веке, а помянутый Столпник жил на рубеже четвертого и пятого. Кроме того, в середине шестого Хозрой Великий

начисто опустошил Антиохию, так что навряд ли она после подобной экзекуции была в состоянии не только рассылать за границу легатов, но и в своих-то собственных пределах поддерживать христианское вероучение... Позвольте, я повторю вам задачу! — И он терпеливейшим образом растолковал врагу координаты головоломки. — Не поможет ли мне разобраться в моих смешных затруднениях уважаемый мистер Пикеринг?

Кончики ушей у англичанина слегка окрасились, он машинально сорвал красную ягоду с тисового деревца на обочине, и затем энциклопедическая машина ученой памяти пришла в движение. Ошибку бывшего соперника мистер Пикеринг поймал почти немедленно, но хотел выяснить теперь, действительное ли незнание было причиной вопроса или разгаданное намерение пошатнуть в глазах жены его научный авторитет.

— Антиохии после Хозроя и незачем было посылать сюда миссионеров,— приступил он к распутыванью клубка. — К тому времени христианизация Грузии вчерне была уже закончена. В шестом веке Прокопий Кесарийский называет грузин яростными христианами. Следовательно, этот памятник мог быть построен не позже пятого века... У вас помечено — в седьмом? Дешевизна книги, несомненно, повышает спрос на нее среди простого населения, но... рекомендую покупать британские справочники: у нас не экономят на авторах такого рода, на корректуре... да и на бумаге, пожалуй. Кстати, насчет вашей осведомленности: у вас тоже имеется вадемекум под рукой или вам приходится часто бывать здесь по службе?

Тот обнажил белые, не все в целости, зубы довольно откровенной усмешкой:

— Кахетия не включается в туристические маршруты из-за отсутствия оборудованных баз, как вы могли подметить прошлой ночью. Именно об этом мистер Пикеринг хотел меня спросить?

— Нет... мне интересно, господин Стратонов, это вы по собственному почину балуетесь историей на досуге или ваша фирма требует от своих служащих специального образования для занятия должности... которую вы исполняете в такой своеобразной и недопустимой манере?

Разговор сам собою перешел на французский, как бы для соблюдения равенства в оружии, и вдруг снова прорвалась русская речь.

— Я служу... — озлился Стратонов,— и мои услуги оплачены вами в иностранной, очень ценимой у нас валюте: мы

бедны пока... Как известно, наши союзники не поделились с нами плодами победы, в основном купленной морем русской крови... И мой ручеек там же. Видите ли, для постройки новой России нам требуется много денег... в том числе на замену моих ботинок, готовых окончательно развалиться под вашим взглядом, мистер Пикеринг! — И вот уже не было сил вовремя остановиться. — И вообще, когда союзники России покинули ее в беде, я вынужден был временно уйти за границу... пока не решил вернуться домой, приносить посильную пользу отечеству... пусть даже на осушке болот! Для этого мне пришлось защемить в себе душу, предать свою мечту, даже совершить подлый поступок, воспоминание о котором сжигает меня доныне...

Его монолог прозвучал не менее наивно, чем перечисление случившихся за целую неделю событий в ответ на чье-нибудь неосторожное how do you do? Пятнистый румянец, срывающаяся речь и ряд других мелочей выдавали в тот момент бедственное состояние Стратонова. Судя по всему, сейчас он согласился бы даже на небольшое служебное преступление, лишь бы загладить свою вину. Мистер Пикеринг кинул жалобный взор на жену, ради которой с утра терпел чисто русские переживания. Держа зеркальце в ладони, Евгения Ивановна красила губы, рука дрожала, солнечный зайчик резвился на щеке.

— Я подозреваю,— не прекращая занятия, заметила она,— что господин Стратонов затеял свою неуместную исповедь ради кого-то третьего, кого нет среди нас.

Карандаш сточился, она бросила под куст пустой золоченый цилиндрик.

Прошло некоторое время, прежде чем гид вернулся к своим обязанностям. Стало понятно, что им уже не удастся расстаться без какой-то заключительной трагической концовки. С минуту трое шли молча, как бы отдавая дань дикому очарованию окружающей природы. Так, незаметно, они очутились близ того места, откуда начинали осмотр. Трудно было придумать уголок укромнее для какой-нибудь загадочной поэтической тайны. И действительно, в диких зарослях на краю цинандальского плато пряталась уютная, с куполом, белокаменная беседка, память о которой, по словам Стратонова, стоило увезти с собою в Англию.

— Нам остается взглянуть на судьбу одной такой мечты,— с дрожью в голосе приступил он, грудью заслоняя до

поры зрелище позади себя. — Не следовало бы показывать это иностранцам, если бы здесь не подтверждался давешний, хотя и недосказанный намек миссис Пикеринг, что одним сожалением не воскресишь навек загубленного. По преданию, в этом месте русский поэт Грибоедов обручился со своей невестой. Она была из рода Чавчавадзе, ее звали Нина, ей было тогда пятнадцать лет. К несчастью, вследствие соблазнительной уединенности не все посетители относились с чуткостью к этому романтическому гроту любви...

С видом скорбного свидетельства гид отошел в сторону, и гости замерли на пороге с протяжными, слившимися воедино возгласами гнева и изумления. Пол беседки был равномерно загажен до последнего сантиметра, даже в углах, что наводило на размышления о постоянстве людских привычек и преимуществах настойчивой тренировки: не наступить. Вязь из сомнительных рисунков и надписей на двух языках покрывала известковые стены, помнившие девический лепет Нины. Евгения Ивановна просительно стиснула локоть мужа.

Обернувшись, мистер Пикеринг с отвисшими краями рта уставился в дрянный матерчатый галстучек гида.

— Я обещаю моей дорогой жене,— с ледяной яростью произнес англичанин,—скрыть от властей в Тифлисе ваше дерзкое и болезненное поведение. Нам обоим было бы одинаково неприятно, если бы наш визит в эту страну стал причиной самой крупной неприятности из всех, уже испытанных вами.

Старомодным жестом англичанин предложил руку жене, побледневший Стратонов едва успел уступить им дорогу.

По счастью, на обратном пути гостей перехватил директор, торопившийся самолично ознакомить их с материальной стороной дела: подразумевалось посещение коллекционных, под землею, цинандальских кладовых. Сочтя необщительность англичанина за признак наступающего припадка, он предложил проверить целебное действие хмельных алазанских сокровищ на заграничном недуге. Своим согласием мистер Пикеринг проявил величайший такт и понимание всемирно-исторических обстоятельств. В сопровождении почтительнейшего теперь Стратонова все трое спустились в сводчатые погреба, где во тьме, из пряной подвальной затхлости зарождается одно из тончайших благоуханий земли. Однако ни циклопическая, в три человеческих роста, праматерь цинандальских бочек, ни пробы из замшелых бутылок повышенной давности, ни очевидное раскаяние забытого в отдалении гида — ничто не

могло подправить настроение чувствительного гостя. Правда, подчиняясь молящим взорам жены, мистер Пикеринг отказался от первоначальной мысли о немедленном отъезде домой, зато решительно отверг и предложение посетить ярмарку в Алаверды под предлогом, будто ночь без сна и под открытым небом смущала его, неугомонного ходока по арабским пустыням. Прямо из погреба, снова под руку с женой, он проследовал в отведенное ему помещение, и затем в продолжение двух часов с четвертью супруги смотрели из-за спущенных оконных занавесок, обмениваясь отрывочными суждениями по поводу происшедших событий.

Даже для Кахетии очаровательный день тот был пронизан золотистым послеполуденным сияньем. Далекий горный ледник вызывал в памяти лезвие каменного ножа из полупрозрачного лилового минерала. Облака осеняли его, подобно призракам с воздетыми руками, что крайне умиротворяюще действовало на настроение. Вдобавок возвращение прежней дорогой, через Карс, требовало новых, довольно хлопотных отсюда переговоров с Москвой. К концу дня, когда ничего не подозревавший директор снова поднялся к гостям, Евгении Ивановне удалось уговорить мужа, чтобы он счел себя жертвой еще не законченной в России политической борьбы. И наконец провинившийся гид с таким убитым видом высидел эти полдня на самом припеке внизу, что после повторного совещания с женою мистер Пикеринг согласился испить до дна предложенную чашу.

И тогда оказалось, что все уже готово для увеселительной поездки. За углом главного здания, отвалясь на приспущенную покрышку, дребезжал и содрогался транспортный, со спущенным верхом механизм, знакомый по переезду от пограничного озера Хозапини до Тифлиса. После погрузки ковров, вина и различной пищи небольшой кипятильный бак был прикручен проволокой к багажнику — на случай, если снова, не дай бог, что-либо стрясется с ценной головой товарища Пикеринга.

Когда машина тронулась, последним на переднее сиденье вскочил за день похудевший до сходства с тенью, вовсе неслышный теперь Стратонов.

Автомобиль, повелением властей прикрепленный к гостям на срок их пребывания в Грузии, когда-то являлся венцом техники, и, по преданию, на нем ездил сам наместник Кавказа.

Время и, возможно, неоднократные падения с горных вершин превратили его из хрупкого заграничного бьюика в закаленный невзгодами отечественный биук. Передвижение с его помощью обычно пугало новичков, но едва убеждались, что возврата нет, тотчас открывались и привлекательные стороны путешествия на нем, как во всяком головоломном предприятии.

На продавленных сиденьях гостей уже ожидали два винодела из соседнего Телиани. В круглом багряно-оптимистическом лике одного читалась приверженность к телесным утехам, зато аскетическая внешность другого говорила о склонностях как раз духовного порядка. Подобно Марфе и Марии, по их собственным словам, они взаимно дополняли друг друга в ответственнейшем поручении тифлисского руководства показать гордым британцам чисто кахетинское гостеприимство. По суровой осанке обоих мистер Пикеринг принял их сперва за местных министров, чем в начале пути несколько стеснялось их общение, но причудливые дорожные приключения с каждым километром все теснее сближали пассажиров. Они равномерно взлетали на выбоинах дороги, или дружно валились вперед на крутых спусках, или же, напротив, уютно и со зловещим визгом уплотнялись в кожаные подушки при внезапном рывке куда-то вперед и вверх. И чтобы время текло без скуки, у них то с треском поломки выключалась скорость, то закипало в радиаторе и деревянная пробка на пакле выстреливала ввысь, как от шампанского, после чего шофер снова затевал такую джигитовку на поворотах, что тело ненадолго утрачивало весомость, заодно пульс, а также надежду на лучшее будущее. Посредством этих несложных приемов парень за рулем стремился внушить иностранцам уважение к своему ремеслу.

К радости англичанина, оба телианца оказались такими чудесными, простыми виноделами — веселые, гордые, прямые, без всякой подделки кахетинцы, что невольно забывалась недавняя обида. Уже с полдороги тот, что потолще, все кричал на ухо Стратонову, чтобы пересилить адский дребезг биука:

— Переведи ему, генацвале, чтоб имел представление. Вся долина, полтораста верст, сплошное вино... вино пополам с огнем течет в жилах Кахетии. Напареули — читал на бутылках? — налево за рекой будет, вон где ишак идет. Гурджаани, Карданахи — слышал?.. — дальше помещается, в направлении — мимо вон тех белых ворот, за кипарисами. Всю

Алазань под звон бокалов проехать можно. Когда потребуется, пусть прямо мне напишет: Мир, Грузия, Сигнахский уезд, больше ничего не надо, прямо на мое лицо. Вышлем наилучшее, какое сами на свадьбах пьем. Будь человек, переведи ему мою фамилию, кацо!

Тот переводил, волнуясь, прибавляя от себя и нарочно ошибаясь, чтобы с полным правом обращаться к Евгении Ивановне за помощью. Теперь Стратонов сидел спиною к ней, со связанным барашком на коленях, но опять всю дорогу ее мучило неотвязное ощущение, что не сводит с нее покорных и молящих глаз.

А уж потянуло влагой с Алазани и прибавилось дорог, которыми во всех направлениях была иссечена местность. Они сливались в одну, похожую на обсохшее русло, если бы не изрубленную колеями, уводившую к лиловым распадам гор. Все чаще биук обгонял всадников, нередко по двое в седле, или запряженные волами арбы семейных. Хозяин шагал обок с колесом, старики качались на передке, из крытого коврами возка сверкали черные глаза многочисленного потомства. На ярмарку ехало все живое, дома оставались собаки. Резиновая груша давно охрипла, шофер криком и размахиванием рук прокладывал себе дорогу.

Если не обманывала даль, снеговой хребет приблизился на расстоянье выстрела. Вечерело... тем легче на померкшей синеве различались теперь отдельные горные ярусы, одетые в лес, в зеленый войлок альпийских лугов, в розовое облачко, в зияющее ничто. Воображение последовательно расселяло на них монахов, пастухов, орлов и ангелов... Скоро видение завалилось за надвинувшиеся слева, как бы верблюжьей шкурой обтянутые холмы. Разговоры затихли. Быстрый вечер бежал навстречу, по сторонам дороги повисали подмытые туманом кипарисы. В похолодавшем воздухе дохнуло кизячным дымком, и обреченный барашек стал проявлять понятное беспокойство; тощий телианец, привстав, коснулся его рукой, как бы приглашая к мудрости... Вдруг из-за оливковой рощи вымахнул строгий куб Алавердинского храма с охваченной закатом шатровой кровлей.

Разминаясь и утрачивая нить беседы, все вышли на вытоптанное кукурузное поле. Где-то рядом, в сумерках вблизи шумел ярмарочный табор, как бы орда в походе. Тонкая пыль висела в воздухе, похрустывала на зубах. Стратонов полез за платком вытереть лицо, и что-то, сверкнув оранжевым

лучником, выпало из его кармана. Хотя он успел наступить ботинком, Евгения Ивановна опознала давешний цилиндрик от губного карандаша, кинутый ею на траву цинандальского парка. Тревожное, выжидательное озорство охватило ее всю...

— Прошу любить эту землю, нашу щедрую старую мать! Кахетия, в а ш а́ да живет вечно! — возгласил толстый телианец и, поцеловав пальцы, благоговейно коснулся ими летучего праха под ногами.

Пока стелили ковры вокруг ощипанного тутового дерева, а шофер вдохновенно раздевал баранью тушку, смиренный Стратонов повел гостей смотреть собор. Согласием на его дальнейшие услуги англичанин выразил степень привязанности к своей жене. Было нелегко пересечь этот текучий однодневный город, который, из ничего возникнув накануне утром, распадется завтра к ночи. Тотчас за овражком спутников подхватил кипящий людской поток и, как цветную гальку редкой формы, повлек с собой мимо отпряженных возов и бесчисленных палаток. Всевозможные, куда ни глянь, гастрономические соблазны, трескучие, как их грузинские названия, клокотали в котлах и на жаровнях или, вздетые на шомполах, весело постреливали струйками искусительного чада — не хуже, чем на базарах Пикеринговой Ниневии. Кипами, под самый верх полотняных навесов, дразнили англичанина еще не остылые груды пухлого, с хрустким угольком чурека, да еще все это в окружении здешнего вина — в кувшинах, козьих или буйволиных десятипудовых бурдюках, косых бутылях пузырчатого, архаического стекла и вот уже в стаканах, полных доверху, только руку протянуть. Все чаще, как бы с познавательной целью, мистер Пикеринг задерживался у прилавков, и, подметив его интерес к простонародным лакомствам, Стратонов стал прилагать усилия вовсе потерять англичанина в толпе. Скоро, уже по ту сторону ярмарки, оглянувшись украдкой, он убедился в достигнутом успехе.

Вчера начавшийся торг был теперь в самом разгаре. По берегам людского потока громоздились в небрежных навалах все соблазны горца. Сумасбродной пестроты московские ситцы, еще пахнущие не то жавелем, не то северным сеном, чередовались с кахетинскими кошмами и бурками, а всякая домашняя утварь — от луженых кастрюль вместимостью в полбарана до паласов на глинобитную стенку сакли — красовалась вперемежку с долговременными, особо прочными для молодых

зубов сластями самых завлекательных расцветок. Телавские гончары, свесив тяжкие руки меж колен, сидели на корточках возле своих творений — в пределах от детских безделок и свистулек на три пронзительные ноты до стоведерных узкогорлых чор, впрок зарываемых на усадьбе с крестьянским вином. И рядом сигнахские шорники, расположась на траве, стерегли свои высокомерные шедевры: стройные седла с томными луками, наборы сбруй с финифтяными пряжками лезгинской работы, кубачинские уздечки и пояса в чеканном, с чернью, серебре, которое похвалил бы сам Бека Опизари, и самое дорогое из снов джигита — мозаичной шагрени туфельки с золоченым каблучком, что так и просятся на ножку милой. Сумерки удваивали таинственную прелесть раскиданных под ногами сокровищ.

— Да где же мы его с вами посеяли, нашего долговязого мистера, вот беда! — срываясь на мальчишеский фальцет, вновь и вновь приступал Стратонов, все смелей становился от безошибочного ощущения, что и Евгению Ивановну захватило колдовское завихренье вокруг. — Давайте руку, я вам помогу выбраться на берег... Черт меня давеча толкнул в эту запущенную беседку, где я и сам ни разу пока не побывал! И потом все хочу спросить и забываю, верно ли, будто это ужасное несчастье произошло с мистером Пикерингом где-то не то в Каире, не то в Бомбее?

— Какое, какое несчастье? — силясь перекричать поток, откликалась Евгения Ивановна несколько общительнее, чем полагалось бы ей теперь.

— Какое, сами знаете... мне намекнули еще в Тифлисе. А ведь это могло жестоко отозваться на его мозговой деятельности потом!

— Не понимаю... какое?

— Ну, будто его грохнули палкой по голове при каких-то там колониальных обстоятельствах...

Обманутая тоном участия, да еще в такой толчее, Евгения Ивановна не поспела, на миг всего опоздала отбиться, опровергнуть, на место поставить этого битого, полупрощенного, от гадкой скорби своей извивающегося господина, а дальше поздно, вовсе неприлично стало защищаться, вступать в пререкания, даже просто обсуждать с ним любое несчастье мужа, тем более что к делам колониальной администрации тот никогда отношения не имел. Все же она решилась объяснить, что контузия произошла почти случайно, от кустарной и через окно

другому предназначавшейся бомбы, и тотчас же Стратонов согласился, что бомба для джентльмена не в пример лучше палки. А Евгении Ивановне уже плакать хотелось от обиды и путаницы, а больше всего от отчаяния, что самой этой дерзостью своей гид посмел напомнить ей наконец о прежней близости.

— Да оно и не важно за чтó, уж верно натворил чего-нибудь по молодости... Руку, руку давайте! — кричал Стратонов и тянулся поверх толпы.

На бугре перед ними громоздился алавердинский собор св. Георгия... И вот, не позволяя Евгении Ивановне ответить, Стратонов засыпал ее таким количеством тотчас забываемых исторических сведений, что даже странно становилось, каким образом столь многое могло произойти в такой крохотной точке земного шара. Булыжная, с канавой посреди, мостовая вела вверх, к воротам крепостной толщины. Подламывались каблуки, и начинало раздражать обилие прошлого, хотелось назад, в простонародную толпу садовников и пастухов, туда, к певцам и танцорам, к юношам с ястребиным профилем и строгим змеиноглазым девушкам, которые, при пламени костров и взявшись за руки, раскачивались в двойном хороводе перхули. Гулкий молитвенный полумрак стоял в храме, и как бы из благоговения к тишине Стратонов читал свою лекцию чуть не в самое ухо Евгении Ивановны, но она-то знала — почему, и, не смея отодвинуться из страха еще большего сближенья, она по холодку на щеке узнавала, как ловит он ноздрями разделяющий их воздух, а для сокрытия производил руками всякие рассудительные движения, показывал с притворным равнодушием гида то на каменные колонны в поясах пылающих свечей, то на полурасчищенную фреску, где из мглистых потемок выступала щегольская нога византийского лучника, то на мучительно осунувшееся, как у него самого, лицо Федора Тирона, склоненного на арке с мечом в руке. Старый, в зеленоватых прослойках грузинский камень просвечивал сквозь апостолов и пророков, придавая им пленительную смутность призраков. Вдруг Евгения Ивановна попросила Стратонова говорить чуть медленнее — для мистера Пикеринга, который тем временем догнал их наконец: ей даже не потребовалось обернуться, чтобы убедиться в присутствии мужа. Что-то дожевывая, англичанин с напряжением вникал скорее в интонацию, чем в самый смысл того, о чем с опущенными веками докладывал Стратонов.

Евгения Ивановна сняла соломинку с замшевой куртки мужа.

— Судя по вашему довольному виду, вы сытно поужинали. Что вы там ели, док?.. так вкусно?

— Нечто из библейской кулинарии с огненной начинкой... во всяком случае, надолго запоминается. По меньшей мере до завтра я просто небезопасен в пожарном отношении.

— Если это по виду походит на наши пельмени, только крупнее и круглее, возможно, это было хинкали: с непривычки ошеломительная еда... — поддержал со стороны Стратонов, но супруги Пикеринг не сочли нужным заметить его сообщение.

— Самое странное, Женни,— в полушутку, интимным шепотом продолжал Пикеринг,— что, занимаясь реконструкцией отдаленных эпох, мы, наука, как-то пренебрегаем гастрономической стороной. А такого рода исследованья дали бы ценнейшие сведения об исторической эволюции вкусов, иностранных влияниях, об экономических ареалах пищи наконец.... Итак,— снисходительно и отраженным, через жену, вопросом обратился он к гиду,— какие еще беды натворил в Грузии разоритель, Шах-Аббас?

Плач ребенка поманил Евгению Ивановну в боковой придел собора. Происходили местные крестины. Древний, с фрески сошедший старик в заношенной епитрахили известкового цвета скороговоркой тянул молитву, византийский лучник из купола гулко подтягивал ему вместо причта. Многолюдная горская родня толпилась вкруг купели в кольце оплывающих свечей. Танцующие на сквозняке пламена последовательно выхватывали из плывучего сумрака морщинистый, срезанный черным платком старушечий профиль, небритую пастушью щеку на фоне выцветшего архалуха, склоненную подбородком к черкеске живописную голову старика. Все они грустно, как сквозь толстое стекло веков, созерцали орущего потомка... Две другие семьи с иной неотложной надобностью и тоже чуть ли не с прадедами во главе дожидались очереди на ступеньках алтаря. Притягательная успокоительная магия обряда заворожила Евгению Ивановну, пока внезапный приступ тошноты не заставил ее стремительно выбежать на паперть. Никого не было вокруг, даже нищих, только звезды, последние. И хотя сразу все прошло от первого же глотка сыроватой, к ночи, прохлады, Евгения Ивановна прислушалась к насту-

павшей в ее теле новизне, бессознательным движением приподняв грудь, точно взвешивая ее при этом. Видно, сказались утомление многомесячных скитаний, жирная пища, соборная духота, пропитанная ладаном, чадящим воском и, почудилось, запахом пеленок, а возможно, и вид полузадушенных кур, крестьянской платы за требу, которых священник за ноги потащил в алтарь.

Тем временем туманная мгла окончательно поглотила горную панораму, лишь над алавердинским очагом стлалась полная светлынь. Зарево бесчисленных костров играло на низких тучах, погода портилась. С паперти все звуки ночи — гул праздника, блеянье овец, даже писк комара, прилетевшего издалека за своей долей на пиршестве, — сливались в урчанье глухонемого исполина, выражавшего свое земное, вполне телесное удовлетворение. Где-то еще ближе, похожие на биенье сердца, чередовались гулкие удары бубна, местной дайры, и в мерный ритм ее так причудливо и неведомо откуда вписывалась в сопровождении то сплетающихся, то снова распадающихся голосов таинственная мелодия, выполняемая на тари... Шаг за шагом, без спутников, Евгения Ивановна спустилась поближе в неповторимое наважденье алазанской ночи, что струилась внизу, в тумане горелого жира и дымящихся ветвей. Дисковое колесо грузовой арбы проковыляло мимо, следом явился мелкорослый удалец в черкеске с газырями и с кинжалом, достаточным по длине нашарить сердце в мамонте; под музыку наемных музыкантов, откинув крылатые рукава и словно весь Кавказ приглашая в танец, он вихрем мелькнул в расступившейся было толпе и канул в ночь. Рослый чеченец в бурковой шляпе и с тушей на плече прошел так близко от Евгении Ивановны, что тяжкая капля чего-то упала ей на белую туфельку с бараньего рога... Только теперь Евгению Ивановну и нашли мужчины.

Не без труда они отыскали свою стоянку под тутом. С видом священнодействия телианцы хлопотали над шашлыком. Груда прогоравших углей источала сытный, дразнящий чад. Отблески костра перламутрово отражались в бараньей шкуре, закатанной мехом внутрь, и эта подробность дополнительно обострила в глазах Евгении Ивановны дикую прелесть приключенья... Когда же сняли с шомполов прожаренное мясо, все с поджатыми ногами уселись на ковре вкруг скатерти; слово было передано вину. Оно щедро полилось за женщин, за детей и ласку, которыми они дарят своих любимых,

за Англию тоже, чтобы не переводились в ней простосердечные пастухи и виноделы, за все, чем живо живое, и в первую очередь за гостей, которые унесут с собою на подошвах прах кахетинской земли. И после каждого тоста Стратонов украдкой пил еще за нечто, известное ему одному... В передышке между тостами один из телианцев привел из ночи слепых певцов, мествире.

Шестеро с зияющими глазницами один за другим вышли из темноты, словно нанизанные на вертел. Каждый держался за плечо товарища впереди себя: вожак шел с весело откинутой головой, шаря палкой дорогу. Схожие по несчастью, как братья, они разнились лишь возрастом, да еще — один был вооружен волынкой, а другой чем-то из четырех скрепленных серебром тростинок, а третий зурной, сазандари; руки остальных терялись во мраке. Внезапно передний споткнулся о пустое ведро — и как бы волна паденья с постепенным ослаблением пробежала по цепочке; первый едва не свалился в огонь, а последний так и не узнал о возможной катастрофе... Певцам дали по куску мяса на лаваше и поднесли вина, после чего велели показать уменье. С треть минуты регент усердно вгонял воздух в свою волынку, потом надутые щеки опали, и кожаный пузырь с человечьим голосом запел у него под мышкой. Музыка перемежалась словами, песня была длинна.

Едва угадываемые на грани ночи и тлеющего костра крестьяне и женщины с малютками на руках слушали концерт слепых; по их суровым лицам читалось незамысловатое содержание песни. Она, верно, была о том, как хорошо было бы все, что есть на свете, если только добавить к нему то, чего нет. Не зная перевода, каждый из гостей подложил под музыку собственные слова. Евгения Ивановна бросила скользящий взгляд на Стратонова. Захмелевший, тот полулежал вдали, вне ковра, как ему досталось, подошвами в костер, и сосредоточась на синих, бегучих язычках огня. Женщиной овладело запретное желание немедленно проникнуть в его мысли, хотя она и сочла бы унизительным для себя выслушивать теперь стратоновские оправдания за константинопольский поступок.

Отставив подальше недопитое маджари, молодое вино, она, не поднимаясь, приникла к плечу мужа.

— Хочу знать, о чем задумался мой достоуважаемый эсквайр?.. позволено ли мне проникнуть в его сокровенные мысли?

Тот отвечал вполголоса, чтоб не мешать слепцам:

— Помните, я водил вас смотреть парижскую копию Слепых старшего Брейгеля? Шестеро таких же незрячих, как эти, бредут гуськом, и передний оступился в канаву, и вот уже всем остальным в разной степени передалось неблагополучие с вожаком. Только что на ваших глазах, Женни, в точности повторилось то же самое событие, и подмеченный художником механизм будет действовать в той же последовательности, пока неизменны физические координаты, на которых построен мир... — И затем профессор стал пространно излагать свои взгляды на назначение искусства, которое, полагал он, состоит не в отражении бытия в тесном зеркальце ограниченного мастерства, не в подражании, которое заведомо бедней оригинала, тем более не в повторениях, потому что кому под силу повторить солнце, кроме его творца? Цель искусства, по словам англичанина, заключается в осознании логики явления через изучение его мускулатуры, в поисках кратчайшей формулы его зарождения и бытия, а следовательно, в раскрытии первоначального замысла.

— Художникам не надо бояться отвлеченности: поправки на эпоху неминуемо внесет самый материал, из которого соткано событие! Такая задача вполне посильна человеку: когда-то и вселенная была лишь идеей, начальным штрихом в черновом чертеже и, значит, может быть выражена на клочке бумаги в ладонь величиною. Пусть эта формула громоздка сегодня... по мере накопления человеческой зрелости она будет сжиматься до размеров поэтической строки, иероглифа, наконец, магического знака, с которого и начался однажды творческий акт. И дело художника — уложить событие в объем зерна, чтобы, брошенное однажды в живую человеческую душу, оно распустилось в прежнее, пленившее его однажды чудо... and that's all! Из чего вы вправе вывести безжалостное заключение, Женни, что я безнадежно пьян... но все равно, все равно, мне хорошо сейчас, как божеству в последний день творенья.

Он говорил, необычно волнуясь и многословно, не затем ли, чтобы подольше удержать эту женщину близ себя. Евгения Ивановна настойчиво высвободила плененную мужем руку. Немножко не своими словами она сказала мужу, что скоро им пора уезжать, а ей хотелось бы еще раз обойти на прощанье этот великолепный первобытный шабаш, пока не развеялся вместе с ночью.

— Пойдемте, док!.. только я накину пальто вам на плечи.

Англичанин взглянул жене в глаза, которые она не успела прикрыть ресницами. Теперь все трое знали о наступлении неизбежной минуты. Плачевный русский господин по ту сторону костра торопливо, словно в предчувствии чего-то, угольком из костра раскуривал трубку.

— О, Женни... — мужественно усмехнулся Пикеринг. — Я без преувеличенья становлюсь божеством, но ваша просьба застает меня в промежуточном состоянии: отнялись излишние для небожителя ноги и не отросли крылья пока. Может быть, господин Стратонов не откажется разделить с вами эту прогулку?

Услышав свое имя, Стратонов машинально отодвинул расплескавшуюся кружку с вином и принялся искать шляпу, словно без нее не мог приступить к исполнению службы. Шляпа скоро нашлась, на ней сидел шофер. Искоса, из-под приспущенных век женщина следила, как ее бывший муж почти в невменяемом состоянии возвращает смятому войлоку более-менее приличный вид для ношения на голове. Собственно, по душной ночной погоде, даже с зарницами порой, можно было обойтись и без головного убора, но теперь шляпа доставляла Стратонову спасительное ощущение официальности и, значит, служебной неизбежности предстоящей прогулки. И вдруг Евгения Ивановна содрогнулась от догадки, как мучительно и п р о ч н о умирал этот человек, чтоб занять нынешнюю должность гида при иностранцах. Женские каблуки прошли по ковру, колебля налитые стаканы. Как раз телианец провозгласил неуместный и пророческий тост: «Пусть это вино множит в нас пламя жизни и гасит его прежде, чем родится угар разочарования». По уходе жены англичанин долго созерцал темную жидкость в стакане, как бы забыв ее предназначение.

Шофер крикнул по-грузински слепцам, и те послушно растворились в поднявшемся к рассвету речном тумане.

Алазанская ночь была на исходе, праздник удерживался теперь в пределах нескольких центральных улиц. В посветлевшем небе кружили проснувшиеся птицы, среди поредевших ларей возникал будничный гам, состоявший из стука молотков, переклички сердитых голосов и визга удаляющихся колес. Табор снимался с места. Изредка попадались распростертые у костров фигуры, застигнутые хмелем или сном, да еще

утренний ветерок кое-где принимался подметать обрывки бумаги и сена на покинутых стоянках.

Евгения Ивановна замедлила шаг, чтобы то и дело отстававший Стратонов мог догнать ее, но расстояние не сокращалось. Она сделала вид, будто заинтересовалась кучкой торговцев, шумно деливших артельные барыши. Стратонов вынужден был остановиться рядом. Зрелище освещалось самодельным факелом из консервной коробки. Профиль Евгении Ивановны очертился каемкой алого сияния, и это подчеркивало пугающую новизну в ее лице с такою властной, просто недоброй теперь усмешкой, при тех же беспомощных, как раньше, только набухших, может быть, искусанных губах.

— Уже светает, трудно заблудиться сейчас... — торопясь, пока с ума сводящее любопытство к этому человеку не подернулось пеплом отвращенья и скуки, заговорила Евгения Ивановна. —Мне лучше было отправиться одной, а вам оставаться с мистером Пикерингом. Он не слишком свободно владеет языком...

— Ну, незнание языка не составляет неудобства для богатых. Монета лучший переводчик.

Евгения Ивановна покосилась на спутника, который огрызался задолго до обвинения.

— Кажется, вы принимаете моего мужа за финансиста... впрочем, мне понятна ваша недоброcть к нему. У нас в городке, откуда я родом, наличие самовара у соседей или ротонды на лисьем меху тоже нередко становилось причиной острых классовых расслоений. Однако мистер Пикеринг как раз небогатый человек. Он всего лишь ученый, и, по моим наблюдениям, это известно даже в Месопотамии... Кстати, его последняя работа еще не переведена в вашей стране?

Значит, еще не забыла константинопольского одиночества: боли в ней было больше, чем ненависти. За неимением своего — Стратонов был поставлен в необходимость защищаться чужим оружием, пользуясь отсутствием его хозяев.

— Охотно отвечу вам, если пообещаете мне минутку терпения.

— О, вы даже не подозреваете, насколько я терпелива, господин Стратонов.

Последовала небольшая пауза, в течение которой гид рассматривал подобранный из-под ног прутик.

— Хорошо... но разрешите по-русски: об э т о м трудно на иностранном диалекте,— волнуясь, начал Стратонов. — Вели-

кие светочи России давно пророчили ей особую, героическую, в смысле отсутствия европейского эгоизма, историческую миссию... которая долгое время служила темой яростных споров целых поколений у нас и поводом для юмора пошляков за границей. Между тем тут опасно скалить зубы... речь идет о стариннейшей и, главное, всеобщей людской потребности в мире, добре и правде, то есть об установлении на земле высшей человечности... условно назовем это мечтой о золотом или праведном веке. Не поблекшая от многих противоречивых толкований, осмеянная и преданная столько раз на протяжении столетий, она доныне теплится искоркой в сердцах... ну, бедноты, что ли! — запнулся он на слове, — и, как Европа недавно убедилась, довольно сильно жжется в случае нужды. И вначале утоление этой ненасытной жажды было предоставлено доброй воле и отеческой совести государей, духовенства и вообще старших лиц, но потом ввиду разочарований и задержек младшие сами попытались сдвинуть дело с мертвой точки. Я веду к тому, что все прежние революции надо рассматривать лишь как разведку боем: генеральная битва начинается здесь и завтра. Вы сейчас увидите, *почему* и *что* именно объединяет *нас*, в этой стране, сегодня.

С незаурядным юридическим красноречием, хотя и в школьном объеме, Стратонов накидал спутнице родословную помянутой мечты. Опустив для краткости седую древность, он приступил прямо с потрясений западного средневековья, именно от великих крестьянских войн, связал реформацию с социальным кризисом христианского вероучения, «когда окончательно раскрылся творимый у алтарей сговор... ну, богатых, что ли! против меньшой и нищей христовой братии», вывел отсюда утопистов нового времени, которых назвал «интеллектуальным мятежом против темного царствия божьего», для чего сопоставил Civitas Dei Августина с Civitate Solis Кампанеллы, коротко блеснув латынью, несколько скрасившей его напыщенную неискренность, поокруглил, где не сходилось, и так, через энциклопедистов и ранний социализм, донес Прометееву искру до заголовка ленинской газеты.

Стратонов закончил сообщением, что перед решающей схваткой могучие силы включились в эту всемирно-освободительную эстафету.

Евгения Ивановна кротко улыбнулась в его сторону:

— Действительно, это большое приобретение для земного шара, если вы имеете в виду лично себя. Мы все там, в Ев-

ропе, очень рассчитываем на вас, Стратонов, что вы не подведете.

Шагов десять только один прутик стратоновский посвистывал, подсекая головки ломкой подорожной травы.

— Здесь, в Кахетии, отлично делают шашлык, и мне крайне приятно, что под его влиянием ваше настроение несколько улучшилось,— сказал потом Стратонов.— На этот раз вы не догадались, миссис Пикеринг... я не себя имел в виду, а огромную Россию, взвалившую на свои плечи предсказанный ей подвиг. В сущности, это все тот же путь к звездам, но в отличие от прежних — окольных,— через небо, здесь предполагается двинуть туда кратчайшим, земным маршрутом, сквозь гору и напрямки. Допускаю, это потребует жертв, но вдохновение подобных эпох вселяет в современников каталептическую стойкость и длительную нечувствительность к страданию!

— Надеетесь снова уцелеть при этом? — невесело усмехнулась Евгения Ивановна.

— Конечно, смех хорошо для здоровья, но у меня такое предчувствие, что Европа еще неоднократно побледнеет, когда эти люди примутся за дело вплотную.

— О, вы меня пугаете своими угрозами, Стратонов. Опять задумали что-нибудь адское?

Прутик сломался наконец в стратоновской руке.

— Боюсь, миссис Пикеринг, что тут одним английским юмором делу не поможешь. Не в угрозах суть, а в поучительной наглядности русского примера!

— Простите, в каком смысле наглядности? Если вы собираетесь на собственной судьбе показать, как оно получается, то... нет, вы действительно думаете, что это может толкнуть на подражание Европу?.. Но мы отбились от темы. К сожалению, я все еще не поняла, к чему вам такое длинное вступленье.

— А к тому... — вскипел под ее взглядом Стратонов,— к тому, что его наука о черепках, обломках давно умершего может повременить, когда дымят и вопиют о мщенье разоренные гнезда живых. И пока непросохшая кровавая испарина войны и революции лежит на челе России, ей просто не до сочинений вашего супруга... Да, и на кой черт ему лишний лавровый листок в венке всемирного признания, если и без моего там хватит на семейный суп! — Вдруг испугавшись своего исступления, он осекся и некоторое время молчал, прикрыв

лицо руками, чтоб вернуть самообладанье. — Извините мне недопустимый тон, миссис Пикеринг. Я плохо спал ночь накануне, вдобавок мое маджари заедал изюмом, а это не рекомендуется даже среди пьяниц...

— ...тем более на работе,— с мягким укором согласилась Евгения Ивановна. — Мне немножко известна ваша биография, а потому понятно и состояние ваше, но, поверьте, ваши хозяева так недоверчивы, что... если бы даже видели ваше усердие, вряд ли это помогло бы вам улучшить свое положение. Давайте сменим разговор!

Строгим трезвящим холодком повеяло от этой женщины с непрочитанными мыслями. В самом деле, должность свою Стратонов мог получить лишь после достаточной проверки, наверно, с публичным покаянием в многолюдной аудитории и, возможно, на более жестких условиях, исключающих повторную оплошность. Ему вовсе не следовало пускаться в обсуждение таких вещей с женою иностранца, и теперь приходилось повернуть вышесказанное в правильную сторону, чтобы без риска доложить в рапорте по начальству о состоявшейся прогулке... Итак, по словам Стратонова, даже краткое знакомство с обстоятельствами России последней четверти века объясняет страстное стремление русских заняться социальной перестройкой: два подряд военных разгрома, выродившееся верхнее сословие, постоянные тьма и голодуха в пьяном тумане, неоднократная пальба в безмолвствующий народ, преступная война и, наконец, возраставшая пропасть между достатком и нищетой — все это естественный повод, чтобы в полной мере проявился национальный темперамент.

— Эта героическая решимость любою ценой пробиться вперед безмерно возвышает мою страну в мнении всех честных людей мира,— с упорством отчаяния заключил Стратонов.

— Мне было крайне интересно слушать вас,— примирительно сказала Евгения Ивановна,— к тому же вы так красиво говорите, что я даже подозреваю, не писали ли вы стихов когда-то... однако вам недостает искренности. Я слышала в Тифлисе, что люди в вашей стране растут не по дням, а по часам... но, право же, Стратонов, лично у вас это получается как-то уж слишком быстро... если сопоставить с тем, что вы говорили меньше суток назад. — Она помолчала, пока яд сказанного не проступил румянцем на его щеках. — Кроме того, у нас не предвидится официальных приемов в Тифлисе, и во-

обще мы торопимся домой к началу учебного года... так что у меня просто не будет случая намекнуть о вашей лояльности кому-либо из влиятельных здешних лиц.

...Близился восход, стрельчатые лучи из-за кромки гор все явственней обозначались в слегка прозеленевшем небе. Намахавшись чужой и грозной идеей перед воображаемой Европой, Стратонов обессиленно молчал. В посветлевших сумерках он с тоской и на глазомер прикинул, много ли осталось тропки, по которой шли. На его беду, ее с избытком хватало на мучительное, неминуемое теперь объясненье.

— Вот вы хотели давеча упрекнуть меня моим невежеством... — вкрадчиво заговорил Стратонов, чтоб отсрочить расплату,— а ведь книги-то этого сверхпочтенного археолога я читал еще задолго до вашего знакомства с ним. И уж коли на то пошло, одна все еще бесконечно дорогая мне, лишь по низости и слабости моей безвозвратно утраченная девушка из степного русского городка могла бы подтвердить... что о ниневийских-то его открытиях я рассказывал ей, пускай в пределах газетной статейки!.. под сочельник однажды, на самой последней елке старого режима, накануне революции. Живо помнится, я только что прибыл туда на Святках из петербургского госпиталя... — И, с горя кидаясь напропалую, он так правдиво, так интимно накидал ей подробности их самой первой встречи на гимназическом вечере, что Евгения Ивановна невольно ощутила вновь запах воскового чада и подгоревшей хвои, сладостную робость наедине с боевым офицером и такую манящую для провинциалки пестроту столичных новостей. — Кстати, меня еще на больничной койке поразила авторская осведомленность о секретах древнего Востока... особенно этот волшебный дар реконструировать прошлое по сущим пустякам! Мне показалось даже, только очевидец, нет, современник только!.. мог с таким блеском подсмотреть, запомнить, воспроизвести будни Ниневии, ее первозданный быт и толчею узких улочек и вообще весь тот ассиро-вавилоно-нумидийский, черт возьми, колорит. И надо признать, что в этом случае он сравнительно неплохо сохранился, ваш супруг, для такой почтенной давности... Нет, в самом деле, миссис Пикеринг, мы все в Тифлисе, от самого Хахулии до начальника отдела кадров, все время любовались на вашу счастливую чету и, сравнивая старую гвардию с нашим непрочным, опаленным поколением, коллективно дивились его способности в таком возрасте сохранить столь завидный жар души... не правда ли?

Увлеченный сомнительным вдохновеньем, он сказал в тот раз втрое больше, чем приведено здесь, никак остановиться не мог от сознания ничтожности своей, от ревности и бессильной ярости, потому что все это бесследно тонуло в вате иронического, изучающего молчания. И настолько очевидна была нынешняя разница между ними обоими, настолько понятна подоплека безнадежных стратоновских выпадов против человека, которого и помыслить не смел в соперниках, что Евгения Ивановна воздержалась от заступничества за так и не названное лицо. Только все пристальней глядела на эти корчи, выдававшие смятение Стратонова, смесь покаянного отчаяния и безоговорочного признания обвинений, которые не были покамест ему предъявлены... Тогда, стремясь как бы загладить свою вину, Стратонов принялся расхваливать некоторые очевидные достоинства англичанина, именно те из них, что само собою подразумеваются в джентльмене и приобретают двусмысленно-обратный оттенок от чрезмерной похвалы. Вдобавок он делал это с теми неприлично-снисходительными преувеличениями, какими счастливые любовники стараются вознаградить отсутствующего мужа за понесенный урон и тем самым умножить наслаждение кражи... Вдруг он ослабел, оборвался и смолк.

На его удачу, тихое, мелодичное пение послышалось сбоку. Евгения Ивановна остановилась, сделав тормозящее движение рукой. Пожилые грузинки, видно подруги, хотя совсем разные, все трое в одинаковых головных, с серебром, уборах, чихтакопи, сидели порознь на расстеленном ковре. Пока их квадратные неуклюжие мужья грузили в арбу порожние бочки, они вполголоса пели что-то для самих себя, верно, воспоминанье о невозвратном прошлом, изредка приподымая бровь или вскидывая палец... Четвертая, помоложе и в черном газовом платке, играла им на чонгури.

— Так на чем же вы остановились, господин Стратонов? — сказала потом Евгения Ивановна, отходя и все не отрывая глаз от зрелища, которое, видимо, ей хотелось получше закрепить в памяти. — Вы молчите несколько больше, чем вам положено по должности. Продолжайте... только не на личную тему, умоляю вас. Лучше расскажите, сколько вина добывается в Алазанской долине и какие еще цари закопаны под здешней землей...

— Вино не нефть, и было бы правильнее спросить, сколько

производится вина. Кроме того, по-русски говорят — в здешней земле,— сквозь зубы поправил Стратонов.

— О, не будьте придирчивы к бедной женщине, которая, в конце концов, не по своей вине так долго не пользовалась родной речью,— очень тихо сказала Евгения Ивановна.

Тогда, стиснув зубы и лишь бы заполнить чем-нибудь оставшийся до отъезда час, Стратонов продолжил лекцию с утомительным на этот раз обилием эпитетов и запятых. Между прочим, он высказал мысль, что горная теснота и наличие крупных винных погребов должны были бы способствовать сближению людей на Кавказе. В этом смысле Алазанская долина, по его словам, годилась бы под банкетный зал для мирных конгрессов: есть чем залить обиду, запить победу. Однако на практике именно здесь, несмотря на суровые запреты, доныне нередки случаи кровной мести. Памятливость на причиненное горе поражает не только природных обитателей долины, но и кратковременных гостей. Даже женщины, по наблюдению Стратонова, становятся здесь жестоко безразличны к тому, какие нравственные пытки терпит их злосчастный и непреднамеренный обидчик. Гид выразил предположение, не растворено ли в местной воде какое-нибудь токсичное микровещество, растравляющее совсем было зарубцевавшиеся раны.

— На протяжении суток вы вторично упоминаете о своих несчастиях, милейший Стратонов,— с каким-то веселым и терпеливым удивлением усмехнулась Евгения Ивановна. — Но скажите, вам действительно пришлось столько претерпеть в жизни, что поминутно требуется сочувствие даже от посторонних лиц?

— Бывают у нас такие, чисто русские, недуги, от которых нет ни забытья, ни исцеленья... — еле слышно отозвался тот.

— А вы уверены, что испробовали для этого все средства, имевшиеся в вашем распоряжении? — еще пронзительней улыбнулась Евгения Ивановна и неторопливо прошла вперед, предоставляя гиду догонять, когда оправится от понятного замешательства.

Щебнистая, вкруг всей ярмарки, тропка круто сворачивала на пустырь с раскиданными на нем деревьями еще не обозначившейся в рассветном сумраке породы. Стратонов поравнялся с Евгенией Ивановной на самом повороте, у последнего ларька с продажей всяких напитков. Здесь, ввиду

начинавшегося разговора, он попросил дозволенья покинуть ее на минутку.

— Во всех цивилизованных государствах,— пошутил он сквозь зубы,— приговоренным полагается чарка перед казнью... мне хотелось бы воспользоваться моим правом. Будьте спокойны, ничего не случится: я на работе!

С ходу и наугад вытаскивая мятые бумажки, он устремился к ларьку. На стук из-под приподнятой ставни выглянуло непроспавшееся апокалипсическое существо в каракулевой тиаре набекрень. Стратонов опорожнил стеклянную кружку, взглянул на небо и, выкинув на прилавок дополнительную мелочь, заказал чего-то в стаканчике помельче. Он отмахнулся от пирожка, который протянул ему хозяин в кончиках пальцев, деликатно вытертых о безрукавку, и воротился пригасший с виду, но злой и затаившийся в себе.

Для начала Стратонов спросил миссис Пикеринг, не пора ли назад, на стоянку, а то похолодало и, наверно, англичанин беспокоится о пропавшей без вести жене.

— У него нет причин для этого, он же не одну отпустил меня сюда... с вами!

— А если он догадается, с кем он отпустил свою жену? — дерзко пошел на сближение Стратонов.

— Ну, он и без того знает все о нас обоих. Кроме других признаков, большой человек узнается по тому, что после первой же беседы кажется, что знакома с ним вечность... Во всяком случае, о вашем существовании мистер Пикеринг догадался задолго до того, как увидел вас в Тифлисе.

— Это делает честь его проницательности... — дерзко намекнул Стратонов и чуть было не похвалил своего преемника за способность к правильным умозаключениям. — Кажется, я в самом деле нахлестался сегодня с горя... и все же не судите меня, не выслушав оправданья!

— Но, право же, вы напрасно так убиваетесь, Стратонов,— очень искренне сказала Евгения Ивановна. — Правда, для меня было неожиданностью встретить вас уже дома, на родине... но я же не упрекаю вас. Я просто полагала по врожденной доверчивости, что вы умерли.

Его перекосило, как на дыбе:

— О, тогда я понимаю разочарование леди, которую потянуло навестить родные могилки. И каково же было бедняжке увидеть одного близкого покойника сидящим, так сказать, на могильной плите, выпивающим и закусывающим... — И тут

что-то впервые прорвалось и зазвенело в его голосе: — Но, кто знает, не умираю ли я перед вами в сто тысяч первый раз!

— Безумный, когда же вы успели столько? — холодно посмеялась Евгения Ивановна.

— Да, я умирал от боли и горя при разрушении армии, от позора в скотском трюме при эвакуации, от голода вместе с вами, от стыда за самую свою живучесть, наконец. Я умирал ежечасно, возвращаясь домой с пустыми руками, ловя на себе взор заплаканных глаз, опять и опять убеждаясь в бесполезности своего существования... И признайтесь по совести, разве вам не стало лучше без меня?

— Вы правы разве только в том смысле, дорогой Стратонов, что одинокой миловидной женщине легче устроиться за границей... — негромко согласилась Евгения Ивановна.

Темный румянец залил ее щеки. Вспомнилась одна ночная прогулка с мужем по какой-то очень знаменитой трущобе в Малой Азии; англичанин предпочитал первое знакомство с памятниками древности производить при луне, когда тишь и завеса ночи глушат машинный трезвон, скрадывают навязчивый колорит современности... Незнакомство с планом города завело их к полночи на полную притонов окраину. Гнусная, в два марша лестница сводила куда-то вниз. Надсадное мычание струн и кривляние теней на глиняной стене, курдская брань и смрад горелого мяса вместе с прыгающими оранжевыми бликами — все убеждало, что здесь помещается филиал преисподней. Видимо, адский разгул был там в разгаре... Вдруг полуобнаженная женская фигура с воплем вырвалась оттуда и махом, через все ступеньки, бескостная и развевающаяся вся, канула во мрак ночной улицы и судьбы. Англичанин успел удержать под локоть свою жену, едва не втянутую в вихревую воронку движения. Мало человеческого оставалось в промелькнувшей мимо твари, но если б даже втрое короче длился эпизод, все равно Евгения Ивановна опознала бы в несчастной свою тогдашнюю русскую подружку. На одной с нею койке, пока не приютил Анюту милосердный и рябой тунисский негоциант по оливковому маслу, они полгода промаялись вместе в Константинополе после стратоновского бегства. При втором замужестве у Евгении Ивановны явилась привычка часами иногда, в каком-то наркотическом

оцепенении, созерцать эту зарубку на памяти, зараставшую диким мясом забвения. С тех пор все чему-то поверить не могла, и вот впервые краем рта усмехнулась жестокой радости наконец-то осознанного избавленья.

Разгоряченное лицо ей приятно и так своевременно похладил ветерок с полноводной в это время года Алазани. Река объявилась тотчас за белесой отвесной скалой, на которой доцветал куст шиповника. Захрустела галька под ногами, тусклым блеском напоминавшая скинутую шкурку змеи. Евгения Ивановна сказала об этом Стратонову, тот не ответил. Возвращались другой дорогой, тропинка вилась меж диких камней, накиданных вешнею водою.

— Что я мог предложить вам тогда, кроме совместного самоубийства?.. И разве смел я позвать вас с собою, если шел на верную смерть во рву, у первой же пограничной заставы? — тихо сказал Стратонов. — В меня стреляли столько раз...

— И что же,— поинтересовалась Евгения Ивановна,— всякий раз промахивались?

— О, если бы только это... С того дня, как меня выпустили на волю, я был пятновыводчиком, массажистом, подсобной шкурой у спекулянта, склейщиком фарфора, еще чем-то... всем, кроме мертвеца. Меня гнали отовсюду: бродяга, пусть с неполным университетским образованием, всегда подозрителен вельможе, читающему по складам. Но все те годы я жил только негаснущим светом, который остался во мне от вас. Пусть, не хочу отменять судьбу... Вы уедете завтра, я останусь дожигать себя в белой горячке. И ночь эта не повторится, как жизнь. Но все равно, люблю вас, как фанатик поклоняется божеству: без надежды на отклик. В каждом звуке, пленявшем меня с тех пор — горный гром, шум травы, щебет птахи,— только ваш голос слышался мне в мире. Назначьте мне любую боль, лишь бы выжечь воспоминания о вас...

Со щекотным любопытством Евгения Ивановна вновь подумала, что, несмотря на седые виски, Стратонов по-прежнему грешит стишками. Живо вспомнился другой, чуть выцветший в памяти гимназический вечер в апреле семнадцатого года, где выздоравливающий офицер читал под рояль трескучие вирши с упоминанием чугунных оков самодержавия, обагренных кровью знамен и других красот адвокатского красноречия тех лет.

— Вам не следует говорить мне подобные вещи, госпо-

дин Стратонов,— строго, почти чопорно предупредила Евгения Ивановна.

— Ах, все равно мне, все равно... Я просто пьяный от встречи, пьяный, как от спирта натощак! — напропалую твердил тот, как со дна ямы, на которую надвигалась плита. — И все равно в памяти вашей до гроба сохранится та священная ночь нашего бегства и обрученья. Помните, мы стояли безмолвные на коленях... старухи плакали с образками в руках. Я вложил колечко в горячую полудетскую ладонь, которая сомкнулась навсегда. Сам бог послал мне вас по молитвам всех матерей в моем роду... и все равно, все равно, как бы ни разводила нас жизнь, с той ночи мы не разлучались ни на мгновенье. На моем тифлисском чердаке есть табуретка, на которую никто не садится, потому что в сумерках на ней сидите вы. И я знаю, з н а ю, вам нравится сидеть на ней... Никуда не зову вас, нищему хватит и призрака. Теперь вы уйдете и оттуда. Это последний рассвет, который мы делим вместе... все равно, все равно! Простите Стратонову его несчастия... и да будет благословенно во веки веков имя ваше, Женни!

Для убедительности он завершил свое признанье легким, чуть воровским прикосновением к ее локтю, и тогда Евгения Ивановна ударила его по лицу, совсем не больно ударила из-за повторного на протяжении той ночи приступа дурноты... Собственно говоря, она совсем легонько ударила его, однако с достаточной силой, чтобы навсегда лишить этого человека иллюзий, неприличных в их нынешних отношениях.

— Вы поступаете нехорошо, господин Стратонов, называя меня именем, которым пользуется мой муж... и то не всегда,— дрогнувшим, но твердым голосом упрекнула она при этом.

Прикинуться, будто не заметил происшествия, Стратонову никак нельзя стало. Он собрался было корректным поклоном поблагодарить нарядную иностранную даму, которая своим поступком избавляла его от дальнейших угрызений совести, но не успел. Вслед за тем недомогание Евгении Ивановны разъяснилось самым естественным образом, так что не пощечину, а именно следующий за нею момент надо считать наиболее болезненным в казни Стратонова. Неодолимая тошнота подступила к горлу Евгении Ивановны, швырнула ее на колени, едва успевшую на несколько шагов отбежать от гида. Несмотря на попытку сдержаться, зажать рукою рот, о н о

прорвалось сквозь пальцы. Хотя в ту ночь было много острой и непривычной еды, никак нельзя было объяснить это отравленьем. Больше того, именно эпизод этот показал Стратонову, что в описанном положении будущая мать английского ребенка и не могла поступить иначе.

Когда отвернувшийся, растерявшийся Стратонов отважился снова взглянуть на Евгению Ивановну, она, все еще на коленях, вытирала руку пучком голубоватой местной полынки.

— Так все внезапно, извините... где-то у меня там платок, дайте сюда! — прерывисто и жалко попросила Евгения Ивановна и перемогалась, пока Стратонов поодаль рылся у ней в сумке парализованными пальцами. — Да, тот самый, спасибо... и заодно возьмите со дна кольцо в бумажке, ваше прежнее. Хотела при отъезде... но уже все равно теперь! — И до повторенья приступа еще раз успела извиниться за доставленные хлопоты, которых, в сущности, не было.

В тон ей, себя не помня, бормотал и Стратонов, что какие же тут хлопоты, напротив, обслуживать клиентов и есть главная его обязанность, чтобы ни в чем не терпели неудобств, и кабы посуда под руками, он даже мог бы сбегать за водой, хотя бы речной, некипяченой на первое время — поблизости.

— Ничего, я обойдусь, скоро будем дома. Только отвернитесь теперь... пожалуйста!

Пока, поднявшись у Стратонова за спиной, она оттирала и стряхивала с себя что-то, он все насмотреться не мог на такое холодящее в ладони, тусклое золотце, которое в тот раз, вспомнилось точнее, сам надел на безымянный пальчик этой женщины.

— Взять под руку? — спросил он потом чужим голосом.

— Нет, у меня хватит сил добраться. Уже проходит... но прибавим шагу, пожалуйста, я так устала.

Они двинулись назад прямо полем, с двух сторон обходя большие камни и препятствия, где попадались. Солнце взошло незамеченно, день надвигался пасмурный вследствие туч, которых откуда-то набежало целое небо. Как опустела за один тот час алазанская местность! И стала видна скопившаяся на ботинках пыль.

— Я навсегда сохраню самые добрые воспоминания об этой поездке в Алаверды, — на глубоком вздохе сказала по

дороге Евгения Ивановна. — Скажите, здешняя ярмарка повторяется ежегодно?

Вопрос был задан по-французски, и он означал согласие предать земле и забвенью одно совместное, досадно подзатянувшееся приключение в их жизни. Житейская практика давно приучила Стратонова мужественно сносить любые удары действительности, даже наловчился в самых жестоких передрягах находить универсальное утешенье неудачников, что могло быть и хуже, но вдруг еще не испытанная тоска охватила его при мысли, чем наполнить себе душу, если оттуда вынуть эту последнюю боль.

— Да, традиционная осенняя ярмарка приходится здесь на престольный праздник, так называемое Воздвиженье креста господня... — попривыкнув к удобствам своего нового положения, отвечал Стратонов тем речистым языком, какой применяют гиды для удобства рассеянных, глуховатых иногда туристов. — Вследствие усиленной антирелигиозной работы... порою с привлечением не одних только просветительных мероприятий!.. удается направить религиозный фанатизм местного населения в русло обычного крестьянского праздника. Я очень рад, что до вас, как и до мистера Пикеринга, дошло очарование этого несколько экзотического развлеченья... — И краткая лекция завершилась перечислением простонародных товаров, составляющих предмет торга на алавердинской ярмарке.

Под предлогом набрать сухих сучьев для костра Стратонов поотстал на обратном пути. Поразительно, что англичанин как-то не обратил внимания на появившуюся прямо перед ним Евгению Ивановну. В ее отсутствие телианцы успели водрузить на заморского гостя черную войлочную шапочку, означавшую посвящение в почетные кахетинцы. Кулинарные неистовства ночи сменились пиршеством ума,— Евгения Ивановна застала самый конец дискуссии на важнейшую тему дня. Мистер Пикеринг охотно соглашался со своими новыми друзьями, что жить по-старому в мире становится все опасней для человечества со столь взрывчатой цивилизацией и что прогресс следует подчинить идеям общественного гуманизма, однако настаивал, с другой стороны, что величие любой идеи мерится достигнутым с ее помощью благосостоянием населения, а не количеством жертв во имя ее... Беседа протекала на довольно упрощенном словарном уровне, зато местами необыкновенно бойко, во всяком случае, без существенных запинок —

как всегда, когда собеседники ведут ее на третьем, недостаточно освоенном языке. Нехватка слов возмещалась оживленным жестом, общеупотребительными фигурами из пальцев, также идеографическим указанием на предметы из окружающей действительности, и, видимо, мистеру Пикерингу очень пригодился его навык работы с иероглифическими текстами. Впрочем, обе стороны уже достигли той блаженной степени взаимного понимания, когда переводчика с успехом заменяет вино.

Может быть, этим обстоятельством и объяснялась неподвижность мистера Пикеринга, даже когда воротившаяся жена его опустилась рядом на ковер. Но хотя по-прежнему, с видом глубокой заинтересованности кивал он хозяевам пира, все его внимание целиком поглотили таинственные мелочи, которые с таким точным и низменным отбором подмечает ревность,— вроде впалых щек, пыли на юбке жены или необъяснимого исчезновенья гида.

— Господин Стратонов решил набрать хворосту для прощального костра,— по-английски ответила Евгения Ивановна его единственному и беглому взгляду. — Мы с ним обошли почти все кругом, и вдруг мне ужасно захотелось домой... никуда больше, только д о м о й! ...но я совсем не представляю себе, док, это очень далеко от Лондона, наш Лидс?

— Нет, четыре с половиной часа поездом... — сказал англичанин, не замечая съехавшей набекрень кахетинской шапочки и бесчувственно глядя в точку перед собою.

— Мне давно хочется посмотреть Лондон, я должна знать с в о ю столицу. Мы непременно съездим, когда устроимся, хорошо?.. Н а ш дом далеко от университета?

— О, всего двадцать минут ходьбы. Это на Cottage Road.

— И парк какой-нибудь найдется поблизости?.. Нам довольно скоро потребуется, чтобы хоть маленький был поблизости парк.

— В семи минутах находится the Hollies.

— И сразу по приезде возобновим наши вечерние прогулки перед сном... так надо. Там, в общем, большие деревья или не очень?.. От больших деревьев всегда такая умиротворяющая прохлада. А какая-нибудь церковь тоже найдется в окрестности?

— Да, совсем рядом, St. Chad's.

Вконец обессилевшая, откинувшись затылком к тутовому дереву, Евгения Ивановна изнеможенно прикрыла глаза. Она

постаралась представить себя через пять лет, но странно, ей никак это не удавалось. Нашарив рядом, она пожала холодную, как в параличе, руку мужа, и та не ответила на пожатье.

— Я так думаю, милый, что из меня получится неплохая хозяйка. И так как моя умерла, я буду вдвойне любить вашу мать... я правильно сказала это по-английски?

— Нет, по-английски надо сказать просто I shall love her,— неуверенно пока поправил мистер Пикеринг.

Никто кругом не слышал их, телианцы в двадцати шагах посменно тормошили лежавшее на дне биука тело. Это они старались вернуть шофера в мир огорчений, к предстоящей транспортной деятельности, из его блаженного небытия. Вдруг Евгения Ивановна приникла к мужу ослабевшим телом.

— Уедем скорее домой, ради бога, завтра же... мне нехорошо здесь, не могу больше.

Его плечо дрогнуло под ее щекой.

— Вы заболели, Женни?

— Не знаю, я ничего не знаю... но, кажется, скоро нас будет трое.

Потребовалось дважды сообщить мистеру Пикерингу эту новость, чтобы тоскливое чувство покинутости полностью сменилось торжественным сознанием наступающих перемен. Медленной чредой и уже не возвращаясь, тени тягостных раздумий уходили с его лица. Он поднес к губам руку жены и, задержав на весу, долго рассматривал ее влажные крупные, такие нелживые пальцы.

— Повторите мне это, теперь по-русски,— попросил он в третий раз.

Здесь вернулся Стратонов и, бросив в костер всю охапку хвороста, отошел прежде, чем занялось. Все еще раз опустились на кошму оказать честь заплясавшему огню. Ненадолго, за клубами пламени и дыма, Стратонов стал почти не виден супругам Пикеринг. Гид с опущенной головой сидел на шоферской кошме, уставясь взором в груду проросших травой булыжников, оставшихся от ремонта дороги. По таинственному совпадению, крайний имел форму сердца, только в наивном детском начертании. Ровно такой же находился у Стратонова в груди. Потянуло захватить его с собой на память об алазанской ночи. Камень легко вынулся из неглубокого, источенного ходами ложа. Черное существо шевельнулось на дне ямки, подняло зловещий крючок. Стратонов с

силой вернул камень на место, после чего сконфуженно занялся приготовлениями к отъезду. Ему досталось скатать ковры, кроме того, сложить в багажник порожние бутылки и немытую утварь праздника. Все это он проделывал без понуждения и с расторопностью, свидетельствующей о раскаянии и сноровке.

Наступившая затем пора прощанья разделила присутствующих на два неравных лагеря. На одной стороне оказались супруги Пикеринг, а на другой сбившаяся в кучку толпа местных жителей и зевак. Прослышав о редкостных посетителях, многие от соседних костров, легко опознававшиеся русские в том числе, пришли проводить их с бокалами вина в дальнюю дорогу. Хотя по всемирной славе и внешности своей англичанин заслуживал гораздо большего внимания, все почему-то смотрели не на англичанина, а на его молоденькую жену, озиравшуюся вокруг с молчаливой приглядкой запоминания, особо пристальной ко всему, с чем разлучаешься навеки.

И тогда обострившемуся зрению Евгении Ивановны приоткрылась суть происшедших с нею перемен. Все, что светилось в глазах у провожающих: скромная гордость и хозяйские заботы, трудовые огорчения и порой трагические будни,— все это уже не принадлежало ей. Евгения Ивановна узнала это не с желанным чувством облегчения, а — какой-то щемящей, виноватой тревоги и уже ничем не возместимой утраты. Теперь она была начисто избавлена от печалей бывшей родины, от нынешних ее бед и тех, что поджидали всех этих людей впереди, от порою непосильных трудов и переживаний эпохи, роднивших их, как грозный исторический пароль. Рукой дотянуться — так было близко до них, а уже морские расстояния отделяли их от Евгении Ивановны, и когда она издалека, почти робко улыбнулась остающимся, они отвечали ей с приветливым холодком, потому что прощаться с чужестранкой по-старому, по-домашнему, стало теперь невежливо, не положено.

Тут мистер Пикеринг принялся благодарить хозяев пира. Он справился, между прочим, не бывает ли у них попутных оказий в Англию? Нет, отвечали телианцы, на данном отрезке времени таких оказий у них как-то не предвидится.

— Живите хорошо, чтобы всегда пламенела вечная мысль, как доброе кахетинское вино,— почти без акцента произнес на прощанье англичанин.

— Копай свое прошлое так,—в том же приподнятом тоне отвечали телианцы,— чтобы это помогло стать честней и краше будущему.

— Мшвидобит... — с неожиданным усилием выговорил мистер Пикеринг, уже осведомленный, что по-грузински это означает д о с в и д а н и я.

— Гуд бай, генацвале! — засмеялись телианцы, с обеих сторон дружественно касаясь его плеча.

Шофер пришел спросить, не стоит ли поднять брезентовый верх на б и у к е: тучи над перевалом сулили близкую непогоду впереди. Минуту простояли с опущенными руками, предоставляя молчанию довести до конца недосказанные речи. Толпа расступилась на гудок, Стратонов с ходу вскочил на свое сиденье. Наклонившиеся по ветру, мимо двинулись серые подорожные сорняки.

...За всю жизнь, пожалуй, никуда так страстно не хотелось Евгении Ивановне, как в Англию теперь, в загадочную, туманную Англию, поскорей, где ей предстояло умереть весною следующего года. Надо полагать, снова постигшее мистера Пикеринга одиночество и заставило его пожизненно, с головой зарыться в наиболее успешные свои, эдесские раскопки, навечно закрепившие за ним мировую славу... Кстати, британские медики объяснили ему гибель жены послеродовым осложнением; диагноз был бы точнее, если бы, помимо истории болезни, они располагали скудными сведениями о своей пациентке, изложенными в этой повести. Ввиду того, что англичане никогда не разлучаются со своей страной, владея чудесной способностью привозить ее с собою на новое местожительство, они, по слухам, почти не болеют тоской по родине в русском ее пониманье. Под недугом н о с т а л ь г и и там подразумевается всего лишь далеко не смертельное недомогание от изменения климатических условий, разрыва с привычной средой, обедненного общения с людьми на чужом языке. Вот так же и в прошлом: попытки не испорченных западной цивилизацией наших беглецов вывезти с собою горстку сурового русского снежка в страны более умеренного климата завершались неудачей,— он неизменно таял.

...Но в самую минуту отъезда с Алазани миссис Пикеринг чувствовала себя на редкость легко, вплоть до ощущения полной невесомости порою, хотя и со щемящей болью падения в сердце, какою, впрочем, и должна сопровождаться смена родины. Когда же машина тронулась в дорогу, что-то заставило женщину оглянуться... Сквозь мутное овальное окно за спиной видно было, как среди поля разгорался покинутый костер. Ветер вычесывал из него пригоршни искр, они неслись вдогонку. Потом б и у к повернул за оливковую рощу, и рядом с царапинами времени на целлулоиде обозначились подвижные царапины дождя.

1938—1963

БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-КИНЛИ

Киноповесть

ОТ АВТОРА

На примере заурядного человека автор стремился показать переживания многих честных и симпатичных людей на Западе, также накидать предположительный ход вещей, если дело с разоружением затянется и международная жизнь останется без изменений.

Как это сразу видно, страна, люди и прежде всего рассказанные события явно вымышлены автором, хотя последние, по его глубокому убеждению, пока не состоялись единственно по нерасторопности изобретателей и бизнесменов. Поэтому даже комические сцены, если они найдутся здесь, должны читаться и сниматься всерьез, даже в грустном стиле, как возможный вариант действительности.

Хотя и недолговременное, появление дьявола — в разговоре со священником — не должно смущать присяжных мыслителей. Это всего лишь условная философская категория, принятая на Западе в рассуждениях о добре и зле.

Этим памфлетом автор подает свой голос за желанный мир на земле.

ГЛАВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

М-р Мак-Кинли, клерк, 49 лет.
М-с Шамуэй, вдова, 50 лет.
Мисс Беттл, девушка, 32 лет.
Изобретатель.
Шеф конторы.
Мосье Кокильон.
Его супруга.
Священник.
Хозяйка, ее муж и дочка.
Сэр Самуэль Д. Боулдер.
Администратор фирмы «BS».
Председатель в сенате.
Оратор там же.
Продавец.
Ребята из свиты Боулдера.
Соседи во дворе.
Потаскушка.
Дьявол.
Дети.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ НА ЭКРАНЕ

Сейчас вам будет показана забавная история некоего м-ра Мак-Кинли, из которой всякий сделает выводы по силе разумения. Он задумал сбежать из своей жизнеопасной эпохи, вместо того чтобы сообща с современниками внести в нее коекакие поправки. Это совсем напрасное приключение могло длиться почти триста лет, если бы герой своевременно не пришел к более разумному решению.

Одновременно — по развернутой, в меркаторской проекции, карте планеты гуляют дымки и вспышки всех происшедших с начала века военных бурь и сражений.

На фоне сатанинского хаоса звуков: отдаленной артиллерийской пальбы, воздушных тревог, грохота обвалов, визга падающих бомб, сигналов горниста к атаке, стонов, крика и довольно некрасивой брани — странноприятная, властно запоминающаяся, как позывные райской радиостанции, куда-то вдаль манящая мелодия. Одно захлестывает другое.

Надписи на экране следуют поверх рваного, загнанного человека, который из глубины набегает на экран, мечется, потом в отчаянии замирает на месте, раскинув руки и с поднятым к небу кровоточащим лицом, посреди абсолютно голой, бескрайней, исковырянной местности.

Голос диктора. За минувшие полвека в небе над нами то в отдалении, то почти рядом непрестанно гремели тучки очередных международных осложнений. И так сложилось, что все наперечет детские воспоминания мистера Мак-Кинли были подсвечены тревожным и как бы праздничным отсветом войны.

Следуют кадры, снятые в виде выцветших неподвижных фотографий. По застылой улице с толпою на тротуарах ликующей походкой движутся войска. Отличный день, выкинутые вперед на марше ноги, сверкающие трубы оркестра. Толстая прозаическая стрелка указывает на тоненького, лет четырех мальчика, который на руках матери с видимым удовлетворением наблюдает шествие пехоты, уходящей к назначенным ей подвигам и могилам.

Диктор. Познакомьтесь, юный господин на руках у миссис Мак-Кинли и есть симпатичный герой нашей повести. По молодости он еще не понимает, что перед ним происходит отправка экспедиционного корпуса в Европу, и тем более не предвидит, какие приключения ожидают его самого впереди.

Фотография оживает, все начинает двигаться со старинной скоростью в 16 кадров, мигать и галдеть. Слышны две-три музыкальных оркестровых фразы, потом видение замирает.

Диктор. Все это остается у нашего маленького наблюдателя далеко за пределами детской памяти... Более глубокий след в душе мистера Мак-Кинли оставили начальные радости бытия, в особенности подарки, которые время от времени слал своему любимцу его дядя, одинокий фермер из Канзаса.

У стола, на котором только что закончилась баталия оловянных солдатиков, тот же худенький мальчик с ружьем, саблей и барабаном на перевязи. Внезапно видение оживает, слышна короткая, прерываемая стрельбой из пугача барабанная дробь, и снова все застывает.

Диктор. С любимым дядей юный мистер Мак-Кинли познакомился лишь три года спустя, в госпитале, где тот находился на излечении после мировой войны.

Такая же подслеповатая, постепенно яснеющая фотография. Вооруженный игрушечной саблей мальчик в каскетке стоит перед забинтованной культяпкой в хирургическом кресле; в просвет меж повязок выглядывает крупный трагический глаз. Дядя тянет руку к племяннику, который с визгом пря-

чется в коленях у матери. И снова посредством обратного хода кадров все становится на свои места.

Диктор. Благодаря длительным скитаниям дорожного инженера, старшего Мак-Кинли, по Европе и колониальным захолустьям, познания ребенка о войне значительно обогатились как с парадной стороны...

— пленительно для детского воображения сменяется караул у знаменитого дворца,
— подобно событию, перед мальчиком проходит фантастический офицер в перьях на шляпе, в лентах и эполетах, с громадным волочащимся палашом,
— гарцует на смотру опереточного вида кавалерийская часть в одной восточной столице.

Диктор. ...так и с изнанки...

— закутанный в дымную мглу, колониальный, с пальмовыми крышами, красиво горит подожженный поселок,
— легкие пушки весело палят по отступающей толпе туземцев,
— но вот и они сами бегут навстречу удирающим поработителям с копьями и другим самодельным оружием наперевес.

Затем следует целая серия родственников — сняты по двое, по трое, поодиночке, большинство мужчин в военной форме. Одновременно возникают два голоса: глуховатый — Мак-Кинли, и другой, скороговорчатый, нетерпеливый временами,— мисс Беттл. Видимо, на квартире у Мак-Кинли происходит маленькая пирушка, музыкальные отзвуки которой и всплески голосов то и дело врываются в разговор.

Мак-Кинли. Ну, здесь еще раз мой дядя... как он выглядел раньше, до постигшей его неприятности. Это мои родители... я очень похож на отца, не правда ли?

Мисс Беттл. А по-моему, еще больше сходства с вашей матерью!

Мак-Кинли. О, я бы очень хотел, благодарю вас! У него тяжкая судьба. Отец погиб при бомбежке Амстердама... я был уже на военной службе. А вот и я сам в военной форме, еду в Африку бить Роммеля. Вам нравится, мисс Беттл?

Мисс Беттл *(с заминкой)*. Я бы не сказала, что война — ваша стихия, мистер Мак-Кинли!

Лишь теперь видна женская, еще без колечка на безымянном пальце, рука мисс Беттл, листающая, как выясняется, старинный семейный фотоальбом. Большинство снимков относится к военному времени.

Мистер Мак-Кинли смотрит на милую руку девушки. Его воображение надевает ей на палец обручальное кольцо, которое затем исчезает.

Мак-Кинли. Ну, здесь я отравился рыбой, лежу в лазарете. Это почта горит в Таммерзее... необыкновенный дым, похож на летящую утку, правда? Тут мои разные друзья тех лет... как видите, я самый трезвый между ними!

Дальнейший диалог невидимых пока собеседников, временами переходящий как бы в журчание ручейков, ведется при чередовании совершенно неподходящих к теме снимков. Одинокий солдат мокнет в карауле под проливным дождем, опрокинутый грузовик пылает на разбитой дороге, расстреливают у стенки шпиона с завязанными глазами.

Мисс Беттл. У вас тяжелый опыт за плечами, мистер Мак-Кинли.

Мак-Кинли. И, к сожалению, он не молодит... все труднее становится по утрам отрывать голову от подушки.

Мисс Беттл. Ну, это бывает и у меня к перемене погоды... Какая, однако, жаркая ночь! Неужели же у вас не сохранилось других, более отрадных воспоминаний?

Мак-Кинли. Что вы имеете в виду, мисс Беттл?

Мисс Беттл. Хотя бы сердечные привязанности. Ходят слухи, что вы самый влюбчивый человек на свете... что почти каждую на улице вы провожаете взглядом. У нас в конторе вы даже слывете под именем Синей Бороды. *(Кокетливо.)* Ну-ка, признавайтесь, где вы их хороните?.. Неужели в этой комнате где-нибудь?

Мак-Кинли. О да, они у меня здесь, всегда под рукой.

Мисс Беттл. Так сколько же их было всего?

Мак-Кинли. Не ревнуйте меня к могилкам, мисс Беттл.

Точно из-за отвращения к гадким картинкам войны, объектив сползает сперва на колени мисс Беттл с дешевой сумочкой на них, потом своенравно, зигзагами блуждает по комнате с оставшейся от родителей старомодной, под стать фотоальбому, мебелью. В поле зрения случайно попадают то ноги мужчины, то несколько острый локоть его собеседницы, то их совместное, плечо к плечу, отражение в смутном зеркале, со спины. Лишь бы оттянуть главные сведения, объектив даже выглядывает на улицу, но там нет ничего примечательного, кроме пляшущей ночной рекламы. Тогда, как бы нехотя, объектив возвращается на собеседников, участников объяснения. Это Мак-Кинли и его сослуживица из конторы двумя этажами ниже, худенькая мисс Беттл, еще достаточно миловидная и, наверно, даже привлекательная лет десять тому назад. Она могла бы составить отличную пару м-ру Мак-Кинли, благообразному мужчине лет сорока шести на вид, несколько пасторского облика, с оплывающей фигурой и поразительно неподвижным, всегда без улыбки лицом, выражающим глубокомысленное уныние. Вследствие какого-то органического поражения голова у него чуть набок. Впрочем, это маленькое уродство не портит его, а на службе даже придает ему вид сосредоточенной внимательности к клиенту.

Мисс Беттл. Вы не находите, что здесь очень душно, мистер Мак-Кинли? Как же люди в Африке живут?

Мак-Кинли. Я принесу вам что-нибудь выпить, мисс Беттл.

Он удаляется на свет и музыку в соседнее помещение, гостья неспешно движется по комнате. Ей попадаются на глаза главным образом характерные для холостяцкого быта несообразности. На камине она находит шесть положенных лицом вниз женских карточек. Вот оно, кладбище неосуществленных мечтаний! Все красотки, в одинаковых рамочках, с засушенным цветочком под стеклом. Прежние, более ранние, помоложе. Следовательно, седьмая по счету, повернутая лицом к стенке, должна быть она сама, мисс Беттл?.. Так и есть! Молниеносно она обследует содержимое коробочки рядом. В ней

припасенное заранее обручальное колечко, так и не доставшееся ее неизвестным соперницам. Мисс Беттл обнадеживающе улыбается себе в зеркало... Впрочем, она успевает отойти к окну, когда, удостоверившись в отсутствии жильца, в комнату заходит пожилая полная женщина, квартирная хозяйка м-ра Мак-Кинли.

Хозяйка. Ну, сделал он вам предложение наконец, этот ужасный человек?

Мисс Беттл. Пока нет, миссис Перкинс. Что-то мешает ему произнести решающее слово...

Хозяйка. За четырнадцать лет, что он живет у нас, мы так изучили его характер, что решили нарочно устроить для вас обоих эту вечеринку...

Мисс Беттл. Вы так добры к нам, миссис Перкинс.

Хозяйка. Ну, не теряйте бодрости. В атаку, и смерть холостякам!

Ночная улица за окном, движение огней, сквер внизу. Над площадью нависает загадочный рекламный транспарант: «Первый в мире сальваторий Боулдер и К°».

Возвращается м-р Мак-Кинли с бокалами, один из них — для невесты.

Они чокаются, отпивают по глотку, потом — глаза в глаза:

Мисс Беттл. Что вы любите больше всего на свете, мистер Мак-Кинли?

Мак-Кинли. Детей.

Мисс Беттл. О, мне известно, вы кумир всех ребятишек в нашем районе. За что же вы так любите их?

Мак-Кинли *(тихо и внятно)*. За беспорядок, за хлопоты, за бесконечные тревоги, которыми они наполняют нашу бездарную порой житейскую скуку.

Мисс Беттл смятенно и признательно тискает ему руку. Молчание. Кто-то заглядывает в дверь, видит скрещенные руки этой незадачливой пары и благородно исчезает. Нервное мигание световой рекламы за окном.

Мисс Беттл. На каждом шагу эта мрачная реклама... на спичках, в трамваях, в подземке, даже на тротуарах под ногами... Что они продают в конце концов?

Мак-Кинли. Не помню, какой-то газообразный соус, в котором покойники сохраняются без порчи хоть тыщу лет. Патент из серии ДОУ... Видимо, что-то по транспортировке скоропортящихся грузов на дальние расстояния.

Доносится танцевальная музыка.

Мак-Кинли. Хотите потанцевать?

Мисс Беттл. Да... *(Они танцуют в довольно тесном пространстве.)* Почему вы не женились в свое время, мистер Мак-Кинли?

Мак-Кинли. Ну, видите ли.. я одинокий, невеселый человек. И потом... я вам открою секрет. После простуды на фронте: мы простояли целую ночь в окопе по пояс в воде... и вот у меня всегда немножко... как видите, шея набок.

Мисс Беттл. О, это не портит мужчину в вашем возрасте, напротив... Это может выглядеть и достоинством в глазах разумной жены. *(Очень душевно.)* А ведь у вас могло бы быть уже множество детей... да и теперь... если, конечно, спохватиться не слишком поздно. Что же мешало вам завести их?

Мак-Кинли. Страх...

Мисс Беттл. ...страх утратить свои холостяцкие свободы?

Мак-Кинли. Нет, другое. Я столько нагляделся детских несчастий в последнюю войну. О детях мало писали в газетах и судебных следствиях... В те годы еще более крупные купюры зверства были в ходу. Но так уж у меня устроен глаз, везде я вижу в первую очередь их. Они лежали даже под откосом у дорог... и у них были такие суровые, ничем не умолить, прокурорские лица. Так вот: я не могу взять на себя ответственность перед моими будущими малютками. Вот и сегодня: опять обещают серию проб новой водородной бомбы, а мир так верил в наступившее затишье.

Мисс Беттл *(убежденно)*. Вы благородный человек, но теперь войне баста, она не встанет больше, она убила себя. Мой сосед... тоже вот прозевал жизнь, теперь наверстывает!.. Вчера в кино со мной обронил шутку, что отныне накал войны будет мериться количеством пены

на устах противников. Это очень обнадеживает, правда? *(Приблизив к нему лицо.)* Прошу вас, не прячьтесь больше, взгляните мне в глаза, Мак-Кинли!

Он медлит, не хочет, отстраняется: он серьезный человек. Но ревность делает свое дело.

Мак-Кинли. Кто этот шутник?.. Я его знаю?

Мисс Беттл. На днях фирма переводит его в Африку.

Похожая на ультиматум пауза.

Мак-Кинли *(со вздохом)*. Хорошо, давайте встретимся в очередную субботу на том же месте... Кстати, я приготовил для вас одну вещицу!

Мисс Беттл. Но вы опять обманете?

Мак-Кинли. В тот раз объявили репетицию, воздушную тревогу номер один. Все утро город был в панике...

Мисс Беттл. Свиданье было назначено на вечер! *(Безответное молчание.)* Пойдемте же, повеселимся хоть немножко, бедный мистер Мак-Кинли.

Диктор. Общеизвестно, что, передавая детям накопленные труды ума и рук, боль и надежды сердца, мы через этот взнос в будущее приобретаем право волноваться за весь род людской в его историческом пробеге. Это и есть единственно доступный нам вид бессмертия. Но, не имея склонности к азартным играм, мистер Мак-Кинли гнался лишь за тем простым счастьем, которое происходит от общения с малышами, доверчивыми и бескорыстными гражданами земли.

Мистера Мак-Кинли знают в районе, и едва он появляется в ближайшем сквере, все ребячье население немедля, словно под действием магнитной силы, устремляется к нему. Он невозмутимо движется со своеобычно поджатой на сторону головой, и, едва опускается на скамью, десятки ребячьих рук тотчас же обследуют содержимое его карманов, портфеля, свертка, даже сжатых кулаков. Это напоминает налет воробьев на вишневое дерево. Удостоверясь в напрасности дальнейших поисков, стайка разлетается — каждый уносит что-нибудь с со-

бою. Родители и няньки с улыбкой наблюдают эту привычную сценку. Всем интересно, чем кончится у этого смешного господина его неутоленное влечение.

Он задерживается на скамье поглазеть на прохожих. Идет не очень молодая, несколько полная женщина, и м-р Мак-Кинли тотчас видит в воображении, как он сам шагает под руку с нею, ведя за собою сперва одного, другого, четвертого и пятого — и вот уже целую вереницу детей! Старшая девочка катит колясочку младшего братца впереди; очаровательный мальчуган с беззвучным, как всегда у призраков, барабаном завершает шествие семьи Мак-Кинли. (Кстати, эта привычка м-ра Мак-Кинли к машинальным прикидкам такого рода проявляется в продолжение всей повести о нем.) И куда ни посмотрит по дороге домой, всюду либо это повторяющееся в разных вариантах искусительное видение, либо рекламные объявления фирмы «Боулдер и К°».

Образцы рекламных объявлений на пути м-ра Мак-Кинли

«Не скупитесь, не торопитесь умирать. Жизнь продолжается. Обращайтесь в районные отделения фирмы «Боулдер и К°».

«Комфортабельно, выгодно, безопасно. Сальватории Боулдер и К°».

«Ваши шансы уцелеть ограничены. Первые две тысячи сто мест в сальватории Боулдера проданы. Завтра станет поздно».

Мистер Мак-Кинли после ужина присел отдохнуть с газеткой.

Образцы газетных заголовков

«Крупные бои в Индонезии. Озеро пылающего напалма. Рекордный взрыв артиллерийских складов».

«Новое военное ассигнование. Еще 30 000 000 чего-то там на баллистическое вооружение».

«Коронация водородной новинки Королева Смерти. Воронка в полкилометра глубиной».

«Совещание атлантических штабов. Пробная мобилизация семи офицерских возрастов».

Мистер Мак-Кинли присаживается к телевизору.

Образцы программ по всем каналам. Спуск на воду авианосца, и за кадром кто-то смеется на столь наивные, старомодные игрушки прошлого. Это старая кинохроника, сопровождаемая хлестким скороговорчатым обзором комментатора:

«...Посмотрите на эту беззащитную, глупую игрушку, и вы поймете, какой детской поступью двигался вчерашний прогресс. Боевое вооружение состояло лишь в напрасной трате бессчетных ассигнований... и даже странно, что, вопреки таким промахам, человечество все еще осуществляет свой древний благородный девиз: через страдания и лишения — к звездам! Если вчерашняя война, как правило, представляла собою лишь развлекательную прогулку с веселыми фехтовальными поединками, хоровыми спевками и пирушками у бивачных костров, с веселой круговой чаркой или ночными приключениями на сеновалах в завоеванной стране, то ныне человечество становится перед более серьезной задачей воспитания боевого духа. Надвигается так называемая объемная концентрированная война, при которой всякая жизнь абсолютно выключается в обреченных секторах благодаря значительно повышенному коэффициенту полезного действия у современного оружия. Мы вступаем в эпоху, когда один человек простым нажатием кнопки может поднять на воздух соседний материк, хотя, правда, нет гарантии, что он сам успеет усмехнуться при этом своей удаче. Поэтому, если вчера еще...»

Мистер Мак-Кинли включает следующий канал.

Там художественный фильм. Рыскающие в ночном небе прожектора. Сквозь грязь и сумрак непогоды, поминутно прячась по горло в стылой воде артиллерийской воронки, шестеро ползут взрывать железнодорожный мост. Тянущие за душу визг и стук шарящего вокруг пулеметного обстрела.

Мистер Мак-Кинли мужественно ищет чего-нибудь для вечернего отдохновения.

Почему-то без всякого словесного сопровождения выступление какого-то осатанелого общественного деятеля, видимо сенатора. По выражению лица и жестикуляции нетрудно догадаться о содержании его речи.

Телевизор стоит у самого изголовья кровати Мак-Кипли. Уже с головой на подушке он наугад поворотами рычажка подбирает себе что-нибудь утешительное на сон грядущий. Ему попадается атака, и солдаты в шлемах бегут сквозь убийственно раздражающее мельканье куда-то в дымную тоскливую мглу. М-р Мак-Кинли закрывает глаза, но и во сне видит продолжение начатой телепередачи. Только теперь и он сам бежит с атакующими, пока не взрывается что-то у него на плече, и он падает, но уцелевшей рукой в воинском ожесточении хватает из-под ног свою другую, оторванную вместе с автоматом в ней, и продолжает этот вдохновенный бег к гибели.

Очнувшись, м-р Мак-Кинли некоторое время лежит, одолеваемый звуковым хаосом сражения, потом пьет воду и беспомощно бредет к окну. Где-то плачет ребенок. Над городом, вдалеке, несокрушимо стоит огромный, грозный, сверкающий, на длинных металлических фермах, плакат:

«Не падайте духом, Боулдер и К° спешит к вам на помощь!»

Но в голове м-ра Мак-Кинли еще держатся впечатления сна. Бодрый, маршевый, подхлестывающий мотив гремит над спящим городом, огромные ночные призраки с походной выкладкой идут сквозь него в сумрак неба.

Диктор. Задолго до излагаемых событий в продаже стали появляться всякие патентованные средства, способные если не ослабить некоторые великие изобретения по части термоядерной энергии, то хотя бы выключать рассудок на время их действия.

В море шарлатанских выдумок выгодно выделились два разных по стоимости и принципу действия средства, лишь в силу посторонних причин не получившие широкого распространения. Третье вызвало наибольший спрос у современников и сыграло особую роль в судьбе нашего героя.

Надпись

По должности м-р Мак-Кинли присутствовал на заседаниях Высшего Научно-Лицензионного Совета, где получали утверждение все три эпохальных контризобретения.

В уютном, нарядном зале идет заседание Высшего Научно-Лицензионного Совета. Экспертные пройдохи, штатные работники, гении разных специальностей. За особым столиком м-р Мак-Кинли ведет протокол, рядом пульт для команд в проекционную и другие подсобные помещения.

Председатель *(с видом иронического разочарования по поводу современной цивилизации)*. Следующим пунктом у нас... *(справившись с повесткой)* о, пытливая научная мысль предлагает вашему вниманию, господа, некие оптимистические пилюли с очаровательно-зловещим названием Дрим. Автор — доктор Френсис Липпинсток. Несколько забегая вперед, я скажу, что перед нами феномен, достаточно показательный для нашего печального времени, господа! Если не ошибаюсь, мистер Кинрей, вам предстоит докладывать об этой радостной новинке?

М-р Кинрей *(с поклоном, методично, даже скучно)*. Представленные Фармацевтическим обществом на наше рассмотрение так называемые оптимистические таблетки созданы для защиты расшатанной психики населения от некоторых... я бы сказал, все более усложняющихся впечатлений атомного века и представляют собою довольно благодетельное, хотя, на мой взгляд, чрезмерно сильное, я бы даже сказал — двойного действия! — средство... с одной стороны, на основе общеизвестных подавляющих растительных алкалоидов круга Scopolia, усиленных добавкой тетраэтил-свинца... а с другой стороны — присоединением редко применяемых пока сверхвозбудителей из курарипов, которые являются четвертичным аммониевым основанием производных дибензилизо-хинолина. Указанное средство пластично и властно действует на спинной мозг, правда, иногда с длительным побочным параличом всех лицевых мышц и впоследствии конечностей... что открывает, впрочем, блистательные возможности для военного применения!.. Несомненный элемент

новизны заключается здесь в последовательном включении составляющих элементов... прошу вас, мистер Мак-Кинли!

Пока докладчик чертит на доске химическую формулу пилюли, на экране рядом по мановению Мак-Кинли возникает увеличенное изображение пилюли в виде шарика с помещенным внутри зловеще колючим ядром.

М-р Кинрей. Я имею в виду остроумнейший механизм воздействия. Как видите, курарин начинает свое контрдействие в условиях столбнячного затишья, образовавшегося после растворения скупуламино-содовой оболочки. В человеческом организме получается как бы бешеное завихрение, почти внутренний взрыв, и это стойкое ошеломление, я бы сказал, надежно охраняет психику от вторжения даже наиболее грозных внешних возбудителей. Таким образом, до сознания пациента вовсе не дойдет никакая бомба: ему просто будет не до нее... Я пока кончил, сэр!

Председатель. Благодарю вас, доктор Кинрей! Что ж... если в условиях термоядерного бедствия пренебречь сохранностью самого потребителя, то, несомненно, это счастливая находка в мировой фармакопее... хотя лично я предпочел бы полстакана виски со стрихнином! *(Все жмутся и подавленно улыбаются.)* Что там имеется из документов?

Мак-Кинли *(привстав)*. Здесь также прислано заключение Института ядохимикатов, где в целом подтверждается благоприятное мнение доктора Кинрея. Следует читать, сэр?

Председатель. Полагаю, в этом нет нужды. Имеются вопросы у коллег?

Восторженный старичок (*с юным голосом и крохотным личиком)*. Я считаю эти пилюли необычайной находкой нашего времени... и не забывайте, что по дешевизне ингредиентов ведь это же доступно для самых необеспеченных слоев населения!

Лысый ученый *(похожий на дога с вислыми ушами)*. Но доктор Кинрей указал нам лишь, в чем именно состоит самый эффект применения, а вот какие производились пробы на живом материале?

М-р Кинрей *(с поклоном в сторону кивнувшего ему председателя).* Постараюсь вкратце... Любые воздействия на подопытную личность, включая выстрелы холостым пушечным зарядом почти в самое лицо испытуемого, неизменно вызывали у него после приема всего только двух пилюль припадок гебефренического... признаться, довольно заразительного для окружающих смеха. Если позволительно польстить присутствующим здесь авторам, то мне еще не приходилось наблюдать ничего равного по силе воздействия на кору головного мозга...

Трое присутствующих, очень разных по внешности и возрасту фармацевтов-изобретателей, скромно улыбаются.

М-р Кинрей *(с соответственным теме юмором).* ...если не считать травматическое вмешательство — скажем, наезд автомобиля или падение с крыши небоскреба! Число залпов доводилось нами до семи... Примечательно, что в дальнейшем самый показ пилюли вызывал у клиента немедленный приступ такого же рефлекторного веселья, благодаря которому он становился совершенно безразличен к окружающей обстановке. Единственным минусом средства надо считать остаточные явления слабоумия длительностью до полугода и выше. Кстати, подопытный субъект находится здесь и, если угодно уважаемому собранию, может быть представлен для осмотра и обследования...

М-р Кинрей с видом утомления опускается на свое место.

Председатель. Все это крайне соблазнительно... Однако не лучше ли вместо этого выслушать замечания авторов?.. Желаете, мистер Липпинсток?

Один из авторов, с чертами раннего палеозоя в лице, мелкими поклонами благодарит аудиторию за аплодисменты, потраченное время и оказанное внимание.

М-р Липпинсток. Нами доставлен сюда также стреляющий механизм, и мы могли бы повторить эксперимент в присутствии уважаемого собрания!

Председатель. О, я не вижу в этом особой нужды!.. Сущность открытия и без того очевидна, а у нас еще довольно большая программа впереди.

Слегка заикающийся ученый. Мне все же хотелось бы удостовериться в нынешнем состоянии подопытного лица!

Председатель подает знак согласия. Служители вводят на помост представительного, непричесанного господина в длинной белой сорочке. Доктор Кипрей с безопасного расстояния показывает ему припасенную пилюлю. Следует взрыв раскатистого смеха, и затем постепенно всем собранием овладевает такое же угрожающе-смешливое, вплоть до катания по полу, беснование, в котором порою слышится нежелательный патологический всхлип. Подопытного господина уводят.

Диктор. Второе изобретение, которое при некоторой доработке могло стать вершиной человеческого гения, опиралось на одно поразительное, знакомое нам со школьной скамьи соображение высшей математики.

Тот же самый, с тем же председателем зал заседаний Научно-Лицензионного Совета, только состав его несколько иной. В прежней позе сидит за своим пультом и м-р Мак-Кинли, производя необходимые по ходу собрания манипуляции.

Докладчик. За немногими исключениями, вы все мечтали в юные годы о полете в межзвездное пространство к своей первоначальной родине. Это пленительное, в детстве сводившее нас с ума стремление, ставшее ныне достижимым, господа, связано с одним общеизвестным математическим парадоксом. Он гласит, что за сравнительно краткий срок, проведенный воображаемым пассажиром в ракете, движущейся на почти предельной скорости, на Земле протечет несоразмерно больший отрезок времени. Я позволю себе напомнить уважаемому собранию, что вывод этот естественно вытекает из уравнения... Попрошу вас, мистер Мак-Кинли!

Тот включает рычаги, на экране появляется формула —

$$t_1 = t_0\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

Д о к л а д ч и к. ...где t_0 есть наше земное время, t_1 — время ракеты...

Г о л о с а *(нетерпеливо)*. Все понятно, понятно, продолжайте... Дальше!

Д о к л а д ч и к. Следовательно, в случае разгона ракеты до скорости V с разностью в одну стотысячную от C можно добиться того, что за время двухлетнего пребывания в космосе на земле пройдет четыреста — пятьсот лет. А это и есть оптимальный срок, на который благоразумие повелевает нам покинуть этот мир, ввиду чреватого опасностями международного перенапряжения...

Г о л о с с м е с т а. Прошу одну рядовую справку. А не поступало ли заявок на какой-либо более целесообразный способ избавления от войны... скажем, обыкновенное разоружение?

П р е д с е д а т е л ь *(строго)*. Призываю вас к порядку. Здесь не место для красной пропаганды, сэр! Продолжайте, мистер Клиффорд...

Д о к л а д ч и к. Учитывая страстное и понятное стремление современников к бегству в достаточно безопасную неизвестность, достоуважаемый доктор Ричард Ластиг, знаменитый также своими классическими исследованиями океанского дна, построил предлагаемую вашему вниманию вместительную комфортабельную ракету... Пожалуйста, очередную серию, мистер Мак-Кинли!

М-р Мак-Кинли последовательно включает несколько диаграмм, астронавтических расчетов, фотографий и чертежей огурцеобразного летательного аппарата в разрезе.

Д о к л а д ч и к. Как видите, к услугам смельчаков здесь имеются бар, парикмахерская, бильярдный зал, ванны с постоянно циркулирующей после очистки водою. *(Обращаясь к председателю.)* Надо ли оглашать цифровые и прочие сведения, помещенные в проспекте, сэр?

П р е д с е д а т е л ь. Ну разве только общие указания...

Д о к л а д ч и к. Ракета запускается в космическое пространство на двухгодичный срок, который используется для посещения незнакомых планет с попутным сбором гербариев или, скажем, по желанию, изучением древних языков. Первый пробный запуск ракеты осуществлен неделю назад с мыса Канаверал... ввиду сложившихся

традиций, а также имеющихся там проверенных пусковых установок. Отправка сопровождалась значительным грохотом и внезапным сиянием, столь характерным для несовершенных устройств этого типа. Связаться с пилотами, чтобы справиться о самочувствии пассажиров, пока не удалось, ввиду того что, по расчетам, корабль находится сейчас уже за пределами солнечной системы... *(со вздохом)* и, возможно, еще дальше!.. Кстати, изобретатель прислал письмо с предложением двух мест для желающих членов Лицензионного Совета.

Кто-то с места. Надо думать, по цене это доступно лишь для избранных?

Докладчик. Мистер Ластиг оба места предложил gratis, бесплатно.

Председатель. Имеются ли среди присутствующих джентльменов желающие даром побывать в отдаленнейших провинциях мироздания?

Задумчивое молчание, по рукам собрания идет отлично сработанная модель ракеты доктора Ластига. Тем временем Мак-Кинли рассеянно смотрит на свесившийся со стола краешек газеты с объявлением:

«Новый сальваторий Боулдер и К° в Гималаях. Глухо, глубоко, гигиенично. Запись круглые сутки».

Диктор. В отличие от столь рискованных способов эвакуации человечества из современности, фирма Боулдер предложила более экономный и впервые с гарантией полной физической сохранности тела и рассудка.

Голос диктора *(вперебивку с надписями)*. Идея сальваториев — обителей спасения в переводе — стала осуществима после случайного открытия, происшедшего еще в тридцатых годах в глухом уголке Канады. Школьный учитель мосье Жак Кокильон, несмотря на почтенный возраст пытливый химик-любитель, неожиданно и путем смешения веществ домашнего обихода получил в своей крохотной лаборатории прозрачное, студенистого строения воздухообразное вещество, противоречившее всем общепринятым представлениям о газе. За очевидную ненаучность поступка министерство образования уволило изобретателя из школы, а местная печать успела вдоволь поглумиться над стариком, когда несчастная

случайность раскрыла миру истинную ценность находки, вскоре вошедшей в мировую практику под именем коллоидального газа. По ошибке оказавшись в контейнере с указанным газом, мосье Кокильон впал в состояние глубокого и длительного сна, несмотря на трехлетние попытки национальной медицины вернуть учителя к жизни, причем уже через полгода было констатировано заметное улучшение его здоровья. Изношенное сердце мосье Кокильона приобрело четкий, здоровый ритм, а возрастная седина сменилась прежней смолевой окраской волос. Маленький домик в Канаде стал местом паломничества мировой науки, взявшейся за разгадку этого биологического феномена.

С середины надпись на экране сменяется картинками довольно заурядной местности, где произошло великое открытие.

Захолустные с крупными стогами сена луга. Низкое небо, вересковые заросли на опушке сквозного соснового бора. Старинный автомобиль, за рулем фермер с потухшей трубочкой. Он объясняет нам с экрана, как проехать к дому мосье Кокильона. Невдалеке дощечка с указателем: «До музея Кокильона — два километра». Из-за холма виднеется колокольня кирхи и купа деревьев — сад прославленного теперь ученого. Одноэтажный домик; вокруг туристические автобусы, грузовики. С одного как раз сгружается громадная эмалированная машина для изучения здоровья мосье Кокильона.

Лаборатория, самодельные приборы, термостаты и насосные установки. В углу киоск для продажи открыток и жетонов с изображением мосье Кокильона. В другом углу, под стеклянным колпаком, лежит он сам — сатанинской внешности господин с хохолком и бородкой; с сюртука свисает гораздо позже прикрепленный орденок.

С чеканным металлическим звуком качается стрелка постоянного пульсометра, и автоматические перья бегут по бумажным лентам, фиксируя состояние различных физиологических функций в спящем гении. Пока группа ученых из Европы вполголоса беседует с хранительницей музея, пожилой, тощей и в старинном пенсне на ленте мадам Кокильон, парикмахер в противогазе подстригает усы и бородку у мосье Кокильона, после чего метелочкой смахивает образовавшийся сор с его щек и галстука.

Мадам Кокильон *(со вдовьим бесстрастным лицом и заученным тоном).* Три года назад, господа, в непогодный осенний вечер, продрогнув на охотничьей прогулке, мой муж зашел погреться в соседний бар *(указывает на фотографию бара с мордатым буфетчиком за стойкой, с бутылочной коллекцией спектральной расцветки за его спиной)* и часа два спустя, среди ночи, неизвестным образом оказался здесь, в экспериментальном помещении, где — видимо, зацепившись ногой и падая,— сам же открыл рукавом впускной газовый кран. Вбежавшая на стук мадмуазель Лизбет обнаружила мосье Кокильона с бутербродом в зубах на полу, без чувств и уже в довольно высоком газовом слое. Поскольку состав газа еще не изучен до конца, трехлетние попытки пробудить мосье Кокильона не привели ни к чему. Вместе с тем, во избежание летального исхода, медицинский совет в Оттаве запрещает выносить мосье Кокильона из газовой среды. *(Касается рукой фотографии своего супруга на стене — серого, довольно противного, анемичного старика.)* Здесь вы видите прежнего мосье Кокильона, откуда можете заключить, что теперь он выглядит гораздо лучше. Открытый им газ Кокильона обладает благотворным влиянием на любое органическое вещество. Как видите, надкушенная ветчина на бутерброде с тех пор еще не испортилась, а этому букету, господа, уже три года!

Ученые качают головами, переглядываются, обмениваются научными непонятными словами.

Первый из них *(взволнованно).* Я уверен, когда его разбудят наконец, настанет новая эра в медицине...

Второй. ...особенно в случаях неизлечимых покамест заболеваний. *(Сличая портрет с оригиналом.)* Но, знаете ли, мадам, он у вас чертовски поправился за это время, этот дьявольский Кокильон!

М-м Кокильон *(сокрушенным, доверительным тоном).* Он молодеет с каждым днем, господа... я просто теряюсь, что будет, когда он очнется: это всегда был такой донжуан! Кстати, обратите внимание, господа: случайно попавшая туда, под стекло, муха успела увеличиться в четыре с половиной раза за тот же срок.

Посетители отходят в сторонку, чтоб не мешать. Как раз надвигается кинoаппарат в окружении целой группы озабоченных операторов, и начинается научно-документальная съемка феноменального насекомого через толстую тубу с телеобъективом.

Д и к т о р. Вторая мировая война завершилась общеизвестной, еще небывалой убойной силы новинкой, и с той поры технический прогресс продолжал свое стремительное шествие, по отзыву трезвых наблюдателей, в не совсем желательную сторону.

Вихрь переслоенных одна другою картинок — паник, эвакуаций, маршировок, взрывов, заседаний какой-то высокоавторитетной, поразительно нерадивой организации по разоружению — и всё дипломаты, дипломаты — бритые, холеные, очень довольные жизнью — за коктейлями, ленчами и просто так, за перекуром в кулуарах.

Д и к т о р. И тогда среди нарастающего международного беспокойства весь мир облетела весть, что секрет мосье Кокильона разгадан, что сам он разбужен наконец, что его неоднократно видели в разных общественных местах.

На экране мосье Кокильон, запечатленный на нескольких фотографиях: выпивает с кем-то в баре гостиницы; он же в трусиках на пляже с игривой и привлекательной дамой, отнюдь не супругой; он же при выходе из патентной конторы.

Д и к т о р. Стало известно также, что секрет газа приобрел какой-то никому пока не ведомый Боулдер и в ближайшие за тем полгода пророчество о великой будущности открытия мосье Кокильона блистательно оправдалось... однако несколько в неожиданном направлении.

На железных дорогах Европы и трансамериканской автомагистрали, на караванных дорогах Африки и Азии, в портах и на аэродромах, даже на телеэкранах в исполнении поющих красоток на всех языках мира — неотвязчивая, языкастая реклама:

«Не старейте, не хныкайте, не сдавайтесь — «BS».

Диктор. И вдруг эти две буквы: «BS». Сальватории Боулдера становятся на Западе паролем спасения, выражающим стремление граждан любой ценой избегнуть потрясения надвигающейся термоядерной войны.

Так образовался концерн с легендарным коммерческим размахом, поглотивший крупнейшие химические, сталелитейные, горнорудные и другие предприятия мира. Уже не любовь, не голод, не алчность, как раньше, а страх стал править человеческим поведением на Западе, и Сэм Боулдер стал его Премьером. Эта загадочная вначале фирма строила глубоко в недрах гор и на дне океанов надежные, горизонтального образца убежища, в которых желающие за известную сумму могли бы переждать, вернее — переспать ближайшие два-три века, пока на планете не установится политическая погода, благоприятная для человеческого существования.

На экране странички из проспекта фирмы и ее филиальные предприятия пока только в долинах Гималаев и в Скалистых горах. Снаружи — сравнительно невзрачные, хотя и прочные плоскокрышие сооружения, все остальное и главное — далеко под землей.

Диктор. Имя Боулдера приобрело ореол незримого, победившего смерть избавителя. Впервые мир взглянул в лицо этого неукротимого предпринимателя, оседлавшего самую доходную эмоцию человека — Страх, когда старик был выставлен кандидатом на пост президента.

И вот черед газетных заголовков с отказом этого человека от предлагаемой чести. Он одинок, ему за восемьдесят, он не любит власти, его хобби — тюльпаны.

Наконец мы видим на экране этого седого, угрюмого старца с пронзительным взором и стиснутыми на коленях кулаками.

И тотчас же на экране — выступление министра обороны с требованием двух миллиардов на новейшее ракетное оборудование.

Спекулятивная горячка на бирже. Акции «BS» лезут вверх!

Потом тот же Сэм Боулдер сажает тюльпаны, сидя на скамеечке. Чьи-то неслышные руки, разного цвета и много, помогают ему в этом священнодействии.

На экране дневные и ночные очереди у контор предварительной записи в сальватории Боулдера — толпа во всевозможных одеждах, в разных столицах Земли. Оживленная, с участием полиции, свалка у входа из-за боязни упустить шанс на спасение.

Вывешивается в окне объявление: «Не спешите, сохраняйте человеческое достоинство. Места хватит на всех. Начато экстренное бурение в материковых базальтах Антарктики».

И снова Боулдер со своими тюльпанами. Вот, сидя в шезлонге, он созерцает их царственное, до самого горизонта, цветение.

И, наконец, новое испытание знаменитой Н-бомбы с повышенными коэффициентами убойного действия.

Заголовок

«Рекорд смерти. Ничего живого — ползающего, плавающего, летающего, бегающего — в кубе со стороной 800 километров!»

На экране взрывной гриб особо причудливой формы. Похоже, что у него сбитая набок, ухмыляющаяся физиономия.

Диктор. Этот вставший над миром призрак и стал фирменной маркой «Боулдер и К⁰».

Всевозможные отклики моды на это — от дамских причесок и пирожных вплоть до модных значков с непременным водородным грибом в петлицах у молодых людей бездельного вида.

Диктор. Год назад никто не предполагал, что можно добывать такие бешеные деньги из обыкновенного человеческого страха. Запасы этого сырья и безграничные недра земли обеспечивали концерну рекордные доходы: взнос делался немедленно, а получение товара отодвига-

лось на века. То было стихийное стремление продлить дыхание путем бегства в любую неизвестность из эры оружия, несправедливости и социального насилия. Временами это приобретало черты и размах политического движения... впрочем, мистер Мак-Кинли, чтобы не повредить себе на службе, избегал вникать в события, а тем более объединяться с кем-либо в поисках выхода, который напрашивался сам собой... Он приложил чудовищные усилия, чтобы пробраться на пресс-конференцию, которую окончательно окрепшая фирма давала представителям общественного мнения, газетным агентствам, иностранной прессе.

Беснующаяся толпа в чаянии пропусков у входа. Портрет Сэма Боулдера, похожего на Дарвина, только постарше, встречает в вестибюле надписью: «Добро пожаловать!» Переполненный круглый зал заседаний с опоясывающими галереями для публики. Юпитеры выхватывают для ведущейся киносъемки отдельные детали из этой гудящей сумрачной бездны. Всюду поражающие выражением нетерпеливого внимания людские лица, лишь один м-р Мак-Кинли, хотя и стиснутый с боков, сохраняет прежнее невозмутимое спокойствие, даже ухитряется делать какие-то заметки в блокноте, особенно при демонстрации процедурного фильма, и это дает основание думать, что уже в то время он был готов принять свое буквально головоломное решение.

Над президиумом, где красуются священники, генералы, дамы-грымзы благотворительного вида, висит гигантская фирменная марка — термоядерный гриб с подписью внизу: «Хотите попробовать?» На трибуне заканчивает свое выступление представитель фирмы, корректный, со стальным голосом господин, почти надменный порою от сознания своего превосходства, отсутствия серьезных конкурентов и безвыходного положения будущей клиентуры.

Гул стихает.

Представитель фирмы. ...Таким образом, господа, за ничтожное, сравнительно с целью, вознаграждение фирма несет всем отчаявшимся единственную в наше время надежду, если не считать, хе-хе, московских деклараций! *(Выразительно смеется.)* Однако, идя навстречу имущественным различиям клиентов, при заключении

договора мы вынуждены сделать некоторые практические поправки на неизвестность. Поэтому при высадке в любой точке будущего все клиенты, вне зависимости от оплаченной категории, получают гарантированный горячий завтрак, пачку сигарет, десять долларов в валюте даты прибытия и приспособленный к любым случайностям комбинезон взамен истлевшей за это время одежды... Но, разумеется, желающие могут при поступлении в сальватории делать сверх того банковские взносы, возвращаемые с повышенными вдвое и втрое против обычного процентами. Таким образом, выгодность нашей сделки так же очевидна, как и ее гуманность. Кроме того, за средний срок пребывания у нас в двести пятьдесят лет вы фактически экономите уйму денег...

На экране возникает таблица экономии из среднего расчета в три века:

на ботинках —
на сигаретах —
на выпивке —
на чаевых —
на докторах —
на интимных удовольствиях.

Представитель фирмы. Нам остается просмотреть документальный киноочерк, как же все это совершается у нас!

Зал смотрит информационно-процедурный фильм.

На экране снят забавный, восточного типа толстячок, видимо не подозревающий о происходящей съемке. Его колебания, испуг, смущение уступают затем место явным признакам удовольствия. Клиента раздевают, ловкие, стерильно белые, невозмутимые девицы моют его струями мыльной воды, он попеременно скрывается в облаке пены и пара, его массируют с помощью многорукой электромашины с одновременной подводкой профилактических токов через провода, подключенные к различным точкам тела.

Он чертовски конфузится в своих трусиках, когда эти элегантные, высокие, печальные богини в медицинских халатах прикасаются к нему, без единого, впрочем, слова. Слышно его

замирающее хихиканье, так как, несмотря на пугающую новизну и щекотку, это довольно приятная, в общем, операция!

Короткий смешок бежит по залу.

Голос представителя фирмы. Обратите внимание, с какой тщательностью удаляются из организма не только телесные, но и духовные шлаки. Прежде всего — устранение из памяти всех поводов для психического, наиболее зловещего в наши дни, склероза. Лаборатории фирмы «BS» курируются лучшими психиатрами и невропатологами мира. *(Со смешком.)* Бедняга не догадывается, что мы за ним наблюдаем. По десятизначной шкале счастья, составленной Люзье и профессором Виджнарачава из Бомбея, наши клиенты достигают девяти с половиной баллов. На десятом месте помещается уже полное освобождение от житейских печалей, так называемая нирвана... Но сами понимаете, что один факт приобретения места в сальватории не освобождает нашу клиентуру от налогов, семейных обязательств и воинской повинности!

Тем временем электрический подъемник без прикосновения рук бережно перекладывает одетого теперь в розовый хитон волосатого толстячка на предварительную тележку, которая покрывается тканью небесно-голубого цвета. Все это подвергается дополнительной обработке на подготовительном контейнере, в том числе особым бактерицидным облучением, ибо, по словам диктора, как и всякие живые существа, микробы в коллоидальном газе Кокильона также усиливают свою вирулентность. Толстяка с номером 215, серия ПР на пятке вдвигают в продолговатое, таинственно освещенное помещение, которое затем герметически завинчивается подобием огромной круглой пробки. Со вкусным сипеньем откачивается воздух, уступающий место газу, который, как нам видно в смотровую щель, вызывает блаженную улыбку у засыпающего клиента.

Голос представителя фирмы. При этом клиент видит сон, заказанный им по особому меню... Пардон, миссис Грэйс, что было заказано господином двести пятнадцать, серия ПР?

Дама смотрит перфорированную учетную карту. (Происходит их служебное перешептывание.)

Голос представителя фирмы. Пардон, оказывается, это не для широкого оглашения... наша фирма гарантирует полное инкогнито, но данный случай исключительный... клиент принят нами с большой скидкой. Этот уважаемый и знатный, разорившийся на прошлогодних беспорядках господин происходит из Ирана... *(Игриво.)* Намекну лишь: клиентом заказано нечто вроде бурлеска в восточнорайском стиле!

Пока знатного иранского господина водворяют на отведенное ему место в подземной скале, играет приятно запоминающаяся, шелковистая музыка... и когда впоследствии м-р Мак-Кинли попадает в какое-либо житейски-затруднительное положение, он подсознательно слышит ту же мелодию.

Диктор объясняет устройство солнечных, поддерживающих режимные условия в сальваториях, практически вечных батарей, так как, по его словам, ученые сомневаются, чтобы в ближайшую тысячу лет человеку стало посильно погасить солнце с целью доставить противнику предельно крупные неприятности.

Дальше следуют вопросы на пресс-конференции.

1-й вопрос. Имеется ли у клиента «BS» право прервать заключенный договор, если политическая погода установится наконец раньше обозначенного в договоре срока?

Ответ. Разумеется... если вы в своем контракте обусловите такой пункт. В таких случаях производится выплата тридцати пяти процентов оставшейся суммы в валюте франкодаты прибытия.

2-й вопрос. Поступит ли коллоидальный газ в продажу отдельными баллонами?

Ответ *(со смешком снисхождения)*. Боже, для чего вам это, и как же вы предполагаете им воспользоваться без специального оборудования?

— Я имею в виду многосемейных... у кого нет наличных средств на покупку нескольких индивидуальных кабин.

— Вот я и спрашиваю, какими средствами вы достигнете герметичности в домашних условиях? Ваш газ просто вытечет...

— Но раз вы говорите, что он коллоидальный, значит, он может стоять на месте!

— Да как же сможет что-либо устоять, черт возьми, когда начнется этот адский термоядерный апокалипсис?

Следует перебранка, шум недовольства кругом — зашиканная, потертая жизнью личность снова пропадает в море голов.

3-й вопрос. Какая гарантия, что ваши клиенты проснутся в обозначенный срок, а не останутся навечно замурованными в горе?

Ответ *(после некоторой паузы)*. Простите, ваш вопрос имеет скорей философское, чем практическое значение. Но я постараюсь ответить... Конечно, наши фирменные гарантии не больше, чем гарантия уютной загробной жизни в религии, которую вы исповедуете. Однако на кладбище вы же отправляетесь вовсе без всякого договора! А в данном случае вы имеете дело с реальными, достоверными юридическими лицами, зарегистрированными в Департаменте торговли. *(С высокомерным терпением.)* Дошло наконец? Мерси... следующий!.. Простите, говорите громче, в микрофон, пожалуйста, ничего не слышно из-за этих проклятых прожекторов.

4-й вопрос. Меня интересует, насколько тесно бывает в этих... ну, ваших сейфах на среднюю цену.

Ответ. Простите, вы собираетесь там играть в бридж или заниматься по утрам гимнастикой?

— Я все же настаиваю на ответе, мистер менаджер.

— Видите ли, себестоимость проходки в граните на такой глубине крайне высока, приходится ужиматься! Королевские, самые дорогие у нас апартаменты строятся в размер трамвайного вагона, а на среднюю цену, как вам сказать... ну, с тем же приблизительно комфортом... как помещалась мумия в египетском саркофаге.

5-й вопрос *(с другого конца зала)*. Скажите, ваших клиентов тоже потрошат при этом, как в Египте?

Дерзость вопроса вызывает у высокопоставленного администратора строгий, даже негодующий взгляд.

Ответ. Интересно... это у вас наследственный оптимизм — плясать на похоронах или вы пользуетесь пилюлями Липпинстока?

Общий шум, смех, возгласы, аплодисменты, шиканье.

6-й вопрос. Чем вы объясните участившиеся слухи, будто ваша уважаемая фирма «BS» всех своих клиентов тотчас по усыплении складывает штабелями на дне приспособленной для этого непромерзающей шахты, после чего их заливают известью на заказанный срок?

Вопрос задан раздельным, невозмутимым, отчетливым голосом. Скандальное замешательство, почти сенсация. Все торопятся разглядеть загадочного разоблачителя, а фоторепортеры — сделать снимки для газет. Вопрос принадлежит мистеру Мак-Кинли, который, стоя в своем ярусе, невозмутимо ждет ответа с головой набочок и заложенной за борт пиджака рукой. Растерявшийся было администратор со сдержанной ненавистью щурится влево и вверх, на скандалиста.

Ответ. Прошу вас оставить в бюро внизу ваши адрес и фамилию, сэр. В отмену наших правил вы получите личное приглашение фирмы на осмотр нашего местного филиала заодно с государственной Приемочной комиссией.

Мистер Мак-Кинли благодарит поклоном и, вытирая испарину напряжения с лица, снова принимается за свои таинственные заметки и чертежи в записной книжке. Конференция продолжается.

Надпись на экране

Тем временем на противоположной половине планеты было объявлено о частичном роспуске своей армии и ликвидации авиабаз на чужих территориях, об одностороннней отмене всеотравляющих термоатомных испытаний.

Газетные извещения с заголовками по этому поводу.

Диктор. Таким образом, к тому времени, как Мак-Кинли собрался сделать официальное предложение мисс

Беттл, военная тема схлынула с экранов и газетных полос, в мире значительно повеселело.

В назначенную роковую субботу м-р Мак-Кинли проснулся в отличном настроении. Напевая, он готовит себе завтрак, напевая, бреется, напевая, к недоумению соседей-пассажиров, едет в автобусе на службу, напевая, работает у себя в бюро. Он весь в предчувствии назначенных на этот день скромных радостей наступающего уик-энда.

До окончания занятий ему остается лишь снести шефу неотложные бумаги на подпись... Поглядывая на часы, он отправляется к нему в приемную и застает там вопиющий беспорядок, за который кто-то заплатит потерей места. Секретарши нет, неисправный диктофон оказывается включенным. М-р Мак-Кинли невольно становится свидетелем происходящего у шефа сверхсекретного разговора.

Шеф *(раздраженно)*. Простите, я так и не понял ни черта из вашей болтовни. По характеру вашей заявки вам нужно в военное министерство. Но у вас нет ничего на руках... вдобавок, по выяснении дела, вы еще, оказывается, энтомолог! Чего вы хотите?.. Объяснитесь ясней и покороче...

Изобретатель. О'кей, я повторю, босс!.. Мои трехмесячные раздумья о современной войне привели меня, знаете, к довольно безотрадным выводам. Как это ни дико звучит, но именно война в наши дни оказалась наиболее запущенной областью человеческой деятельности. Несмотря на все новинки более емкого, чем когда-либо, истребления, война вырождается на наших глазах, приходит к собственному бесславному отрицанию, из бизнеса превращается в нонсенс. Судите сами, босс, классическая война имела целью утоление назревших эгоистических, в национальном масштабе, вожделений за счет непроворного соседа, то есть по возможности дешевое и эффективное ограбление слабейшего... но, прошу внимания, ведь современная-то термоядерная бойня в положение ограбляемого неминуемо ставит самого победителя, хо-хо! если бы даже такой объявился вдруг в силу непредвиденных капризов провиденья!.. Вы следите за развитием моей мысли? В самом деле, в то время как всякая полнометражная, как она мыслилась дедам, война предполагала в качестве приза

аннексии и контрибуции, то, с вашего позволения, кто именно оплатит вам расходы нынешней войны, босс, когда в результате ее противник начисто исчезнет с лица земли, а его надежно опустошенная, вдобавок зараженная территория станет на много лет адской радиопоражающей ловушкой? Черт возьми, да вам не достанется даже труп врага, чтобы утолить на нем воинский экстаз и раздражение! Напротив, собственные налогоплательщики учинят вам крупные уличные неприятности, тогда как избавленная от житейских хлопот жертва ваша будет безнаказанно потешаться над вами оттуда, ха-ха... если только допустить загробное существование!

Шеф *(начиная вслушиваться)*. Довольно свежие мысли!.. Так в чем же, собственно, ваша идея?

Изобретатель. Я имею в виду, босс, что нынешняя высокопроизводительная атомно-водородная война при всей своей мнимой свирепости крайне, я бы даже сказал — непозволительно гуманна... и прежде всего бессмысленна! Вы нажали кнопку — нет столицы противника, а ее население даже без особых болевых ощущений, потому что этак в девятнадцатую секунды, окажется на километровой высоте в виде розоватого вулканического облачка. Однако единовременно с вами нажмет кнопку и ваш компаньон по развлечению... И вот вы сами также плывете по небу в состоянии этакого газообразного пепелка, хе-хе!.. и даже не успев занести в дневничок свои попутные переживания. Кстати, вы слышали смешной анекдот про двух чудаков, которые со скуки съели по жабе за скромное взаимное вознаграждение, сколько помнится, в полсотни монет? Так вот, к концу года ожидается выпуск так называемых пакетных бомб, в один прием смывающих целые материки... но ведь это же коммерция безумия, босс!

Его собеседник угрожающе шевелится, переставляя предметы на столе.

Шеф. Э-э, позвольте-ка, как вас там... вы это, кажется, насчет нак называемого разоружения?

Изобретатель. Наоборот, мистер Гровс! Если бы оно случилось, у вас-то еще хватило бы на первое время хлебных крошек в кармане — перебиться, а мне первому и сразу придется с голоду подыхать. Так вот, слушайте-ка

меня поприлежней наконец, пока я не сбежал к вашему конкуренту... Фу, жара какая!

Действительно, воздух почти раскален, как это бывает там накануне осени. Напрасно жужжат вентиляторы. Чрезвычайно своеобразной и лютой наружности изобретатель составляет себе из напитков на столике загадочную смесь, смотрит на просвет, сознательно терзая разбуженную любознательность шефа, потом пьет, созерцая в окне плывучий, из-за полуденной дымки, вид этих застылых стоэтажных кристаллов. У изобретателя хватает нахальства расстегнуть ворот рубашки,— тогда становится видна его грудь, заросшая черным волосом, как, верно, и все остальное тело.

Он продолжает, время от времени давясь хрипучим, металлическим, вроде как при переключении шестерен, смешком.

Изобретатель. Я говорю — напротив, босс. Раз в поколение хорошая потасовка только бодрит прогресс, но я предлагаю взамен бессмысленной концентрации грубой убойной силы применить более тонкие психологические воздействия. Пора освежить войну, вернуть ей былое мистическое величие, этот начисто утраченный ею апокалипсический ужас с его великолепной свитой из адских псов, ухмыляющихся скелетов и прочей замогильной чертовни, как это изображено во фламандском бреду у Брейгеля!.. Снова призвать на вооружение зубовный скрежет, первобытную щекотку страха, затрагивающего наиболее сокровенные биологические клавиши, этакое порабощающее волю смертное содрогание, трепет почти предельной боли, однако без спасительного летального исхода. Настало время, босс, ввести в обиход нечто поцелесообразнее этих ворчливых и разорительных грибов с сердитой шляпкой, черт бы их побрал, и вместе с тем нечто такое, чтоб человечество завизжало, как младенец на коленях у Вельзевула, босс! Я даже предвижу создание двусторонних психологических средств на манер липпинстоковских пилюль — с одной стороны, мобилизующих чувство самосохранения, а с другой — вызывающих физиологическое отвращение к собственному бытию... У-ху-ху, представляете себе современную мотодивизию, пораженную судорогой кровавой рвоты на марше? Надо только пошарить в исторических хрониках,— может, там и отыщется что-

нибудь вроде великолепного белкового яда Борджиа или того знаменитого лейстеровского насморка...

Шеф. Да, это и вправду увлекательно... тут непочатый край работы. Вы истинный поэт, продолжайте же, прошу вас!

Изобретатель. Словом, отныне вам следует производить не падаль, не бесполезных калек, а прежде всего сумасшедших! Вообразите шествие танцующих в кровоточащих лохмотьях безумцев, которые своею грозной непоправимой немотой, х-ха, красноречивее расскажут о вашем могуществе, чем даже горы гниющих тел. Что-нибудь в духе византийского Василия Болгароктона, который отпустил на родину полтораста тысяч ослепленных им пленных... по десятку слепцов на поводыря! Словом, у меня уйма замыслов в голове и несоответственно мало возможностей!.. Для начала я могу предложить гибриды новых, гомерической отвратности и баснословной плодовитости насекомых, каких еще не бывало на свете... правда, в ограниченном количестве пока. При виде моих трехголовых жучков я и сам тороплюсь опустить глаза, чтоб не слишком расстраиваться. Я мог бы в трехмесячный срок наладить их серийное производство, в условиях гарантированного сбыта, разумеется... а пока угодно ли вам взглянуть на эти картинки? Каковы милашки!

Слышен шелест бумаги и удовлетворенное крякапье шефа.

Тем временем в приемной собралось много служащих. Не спуская глаз с аппарата, они внимают чугунным перекатам изобретательского баса. Какая-то стенографистка тихонько плачет в углу, но вот пугается общего внимания и, улыбаясь, делает вид, что красит губы. В окне, несмотря на ясный день, в полную мощность световая реклама фирмы «Боулдер и К°».

Управляющий конторой *(овладев собой)*. Сейчас, по-видимому, последует заключение сделки. Приготовьте регистрационные бланки, мистер Мак-Кинли, а пока... *(окончательно придя в себя)* кто дал вам разрешение покинуть свои рабочие места, господа?

Люди долго не могут опомниться от подслушанного ими проекта обновления войны.

И сразу небо как бы крепом затянулось в тот погожий денек, а заодно и радость назначенного на вечер обручения. Однако верный данному слову м-р Мак-Кинли по дороге домой покупает орхидейку в целлофановой упаковке: для избранницы! Дома он переодевается в парадный, неизменно черный костюм... и тут случайно прошедший под окном взвод солдат вызывает у него подобный удушью упадок решимости. Сдернув галстук с шеи, он валится в кровать, впрочем не спуская глаз с фотографии улыбающейся мисс Беттл.

— Вот уже третий раз вы поступаете со мной нехорошо, мистер Мак-Кинли,— говорит мисс Беттл из своей рамочки, скорее грустно, чем с упреком.

Мистер Мак-Кинли закрывает глаза, чтоб не видеть.

— Я вас дожидаюсь на углу целых восемь минут, а вы еще не выезжали из дому... Конечно, в моем возрасте надо быть терпеливей, но нельзя же напоминать об этом девушке так часто! Ради вас я отказалась от загородной прогулки на пароходе с друзьями...

— Если бы вы знали, мисс Беттл,— мучится угрызаемый совестью м-р Мак-Кинли,— как страшно повторить ошибку собственных родителей... в отношении меня самого!

— Но попытайтесь же совершить хоть один, только один, опрометчивый шаг в своей жизни, мистер Мак-Кинли, — убеждает мисс Беттл, любуясь появившимся у ней на коленях младенцем. — Война уже не вернется никогда. Дайте вашим малышам побегать по зеленым лужайкам!

И, подчиняясь соблазнительной логике мисс Беттл, несчастный счастливец поднимается с постели, чтобы серией последних перед зеркалом штрихов вернуть себе доступную ему мужскую привлекательность. Все готово. Не забыть теперь обручальное колечко! Пряча на груди свой тропический цветок от подсматривающих за ним жильцов,— причем все двери приоткрываются по мере того, как он минует их! — м-р Мак-Кинли спускается по лестнице. Каждая подробность в его внешности с головой выдает попавшего в брачные сети холостяка.

Шепоток на лестнице. Вот наконец-то и наш отшельник прощается со своей свободой! Ишь подрагивает, бедняга, словно голый в воду идет...

В поисках такси жених выходит на соседний сквер, вызывая обычное оживление среди маленьких друзей, и хотя многие из них машут ему руками —

— Хэлло, мистер Мак-Кинли! —

видимо, из детской деликатности ни один не пристраивается за ним следом на этот раз. М-р Мак-Кинли важно приподымает шляпу в ответ на приветствие каждого из малышей.

Проходя мимо местной конторы «Боулдер и К°», он замечает в окне большую фотографию кубастого, с сиреневым румянцем господина килограммов на 115.

Подпись под портретом

«Дальновидный миллионер м-р Дональд Торпер-младший, записавшийся вчера в наш сальваторий на 4000 лет».

Пример миллионерской предусмотрительности погружает м-ра Мак-Кинли в очередное парализующее раздумье, пока не возвращает его к действительности воображаемая мисс Беттл.

— Да станьте же наконец мужчиной, мистер Мак-Кинли!— время от времени произносит ее голос. — Боже, я жду вас здесь семнадцатую минуту!

Такси попадает в уличный затор: часы «пик». Вот уж девятнадцать минут героически ждет своего жениха мисс Беттл; он торопит водителя. Видно издали: мисс Беттл прогуливается по четыре шага в обе стороны на условленном перекрестке. Смешавшись с очередью ожидающих у троллейбусной остановки, м-р Мак-Кинли наблюдает за своей невестой. Она нервничает, озирается по сторонам; м-р Мак-Кинли поворачивается боком, чтобы остаться незамеченным. Он делает вид, что читает через плечо экстренный выпуск газеты в руках господина перед собою. Но, боже, такие же листки в руках буквально у всех на улице! Все поглощены головокружительными новостями дня.

Внезапно звуки улицы пропадают, слышно лишь зловещее шевеление бумаги.

Заголовки в листках

«Талантливый подарок молодого ученого человечеству. Отныне Н-бомба самый воздух выжигает начисто.

Окрестные водоемы в радиусе тысячи километров устремляются в образовавшийся сверхвакуум!»

«Ожидаемая в официальных кругах большая война разыграется не раньше осени».

«По авторитетному суждению м-ра Хаббла с Паломарской обсерватории, в случае чего — мы не исчезнем начисто, а превратимся в звездочку 6-й величины, видимую отовсюду в космосе с почтенного расстояния в сто парсеков!»

Решение принято: отбой! М-р Мак-Кинли поспешно, за спиной у себя, засовывает в мусорную урну жениховскую орхидею, но... как же трудно порвать все нити жизни разом! Он заходит в кафе-бар, оказавшийся по соседству. Заняв угловой столик у окна, он заказывает себе:

— Чего-нибудь покрепче там, на троих! — и поверх взятой газеты с терзаниями совести все смотрит, наблюдает через окно за поведением своей избранницы в уличном потоке. Мисс Беттл толкают прохожие, она встревожена, поминутно поглядывает на часики. Медленные минуты ожидания, а ведь ждет она всего только двадцать шесть минут! М-р Мак-Кинли пьет и, видимо, впервые в жизни столько.

Мы видим его со спины, когда же он время от времени оборачивается взглянуть на часы, повешенные над выходом в одно подсобное помещение, всякий раз у него чем-то иное лицо: хмурое, плачевное, растерянное, безразличное, как у приговоренного к казни, наконец.

Воображаемый голос мисс Беттл. Еще не поздно, мистер Мак-Кинли, ладно, я подожду... Вы же знаете, мне теперь все равно некуда спешить!

Нет, придется, видно, в седьмой раз растоптать свою сердечную привязанность. Напрасно он старается какой-нибудь посторонней мелочью вытеснить ее из сознания... И тут до рассеянного слуха м-ра Мак-Кинли достигает случайный разговор молодых людей в нише за соседним столиком. Похоже, это битники, тамошние ничегонедельцы. Их пятеро, и пятый все время маниакально дирижирует какой-то неслышной музыкой, которая проясняется порой, и тогда мы узнаём ее,— это как раз та усыпительная мелодия из процедурного фильма о сальваториях «BS», которую мысленно теперь поет весь город.

С возрастающим интересом м-р Мак-Кинли вслушивается в беглую, со смешком и навеселе, беседу молодых людей:

— Давно не видно Пита. Надеялся встретить у той танцорки на Лонг-Айленде вчера... так до ночи и не явился.

— Знаешь, он обнищал совсем и духом пал, бедный малый... За что ни возьмется, все из рук валится.

— Ему просто пора найти себе богатую доверчивую старуху.

— Зачем... жениться? Да ты, как видно, сегодня в ударе, Фелси!

— Ну, можно поживиться и без столь мрачных обязательств. Я довольно занимательную книжку читала на днях. Там один — не то молодой чиновник, не то бакалавр, не помню кто,— старуху убил. Она вещи у нищих в заклад принимала. Сейфы до отказа набила, а ему как раз сравнительно пустяков и не хватало... словом, оборотных средств на что-то! Старуха была все равно рвань, ее не жалко... а у него дальний, чистый путь светился впереди!

— И что же, наверно, элегантный и красивый парень? — сочувственно спрашивает подруга Джейн.

— По-видимому... во всяком случае, нетерпеливый очень! Так, знаешь, Эл, он прикрепил топор в петле, у себя под мышкой, вот здесь, и отправился туда вечерком с визитом.

— Почему же так громоздко? Лучше было сунуть ей под подушку пробирку с радиоактивным изотопом, и баста!

— Вот и видно, что ни черта из тебя не выйдет, Эл. С топором-то, да еще под мышкой, в наше время есть шанс сойти за сумасшедшего, а это при неудаче сулит, по крайней мере, половинную скидку в суде.

— Уверена, что очень старинный автор: они это любили в старину, чтоб Ниагара крови, попышнее... кто таков?

— Не помню фамилии... кажется, поляк какой-то!

Вполоборота повернувшись к ним, м-р Мак-Кинли сперва рассеянно, потом внимательнее ловит ухом их непринужденную и откровенную беседу. Он оглядывается справиться об истек-

шем за минувший срок времени. «Всего только час прошел... боже, какая длинная жизнь на земле, если мерить человеческой тоскою!» М-р Мак-Кинли с воровским выражением лица косится в окно: ушла ли мисс Беттл?

Но, верная данному слову, она все еще ждет его, только прислонилась к косяку аптечной двери, чтобы не слишком толкали прохожие. К ней выходит аптекарь: приняв ее за уличную, он просит ее гулять где-нибудь в другом месте.

— Понимаете, мисс... вы несколько сомнительная реклама для моего заведения!

Через окно м-р Мак-Кинли видит, как к его невесте подкатывается лихой и, видимо, слегка на взводе моряк. Судя по жестам, он зовет мисс Беттл в один известный ему поблизости райский уголок с подачей горячительных напитков. Пантомима уговаривания, соблазняющая жестикуляция, как в старинном кино. Мисс Беттл колеблется, отчаянно поглядывая по сторонам. В ответ морячок показывает ей что-то в кармане, кажется, деньги. Лежащие на столе кулаки м-ра Мак-Кинли сжимаются. Он встает и снова садится, едва подавляя в себе потребность немедленного возмездия.

Мы слышим подлинный разговор его мнимого соперника с мисс Беттл на перекрестке:

Морячок. Мне до слез жалко вас, Пэгги... теперь ваш обормот уже не появится. И право, мне пора возвращаться, у меня будут большие неприятности.

Мисс Беттл. Ради бога, подождем еще минутку, мистер Дроот. Я уверена, он где-нибудь наблюдает за нами поблизости: я так хорошо изучила все его хитрости. Ну, выкиньте еще что-нибудь, положите руку мне на плечо, тряхните... нет, посильнее... теперь еще раз покажите мне деньги и тащите меня куда-нибудь! Сейчас он примчится драться с вами...

Происходит убедительная атака морячка, при виде которой м-р Мак-Кинли, кажется, жует палец у себя за столиком, втягивает голову в плечи, смятой шляпой необъяснимо трет себе лицо. Публика в баре не обращает внимания на странности его поведения: верно, у господина болят зубы!

Морячок уводит наконец мисс Беттл, она кокетливо виснет на его руке. За углом они снова останавливаются — в затишье от уличного движения.

Мисс Беттл. Ради бога, постоим еще хоть минуточку, а то он не найдет нас...

Морячок. Неужели вы собираетесь ждать его здесь до вечера, Пэгги?

Мисс Беттл. Боже, хоть до завтрашней ночи!

Морячок *(после паузы)*. Лучше дайте мне его адресок, я пойду и успею нанести небольшое увечье этому потрошителю, чертову выродку, этой кособокой скотине...

Мисс Беттл *(со слезами, стуча кулаками в его грудь)*. Не смейте так! Это, может быть, самый-самый из всех вас, кого я только знаю... самый честный человек!

Мистер Мак-Кинли планомерно, с видом бесстрастия и и без спешки допивает свою горькую чашу, а также часть напитков на столе, потом очумело бредет домой. По дороге он машинально останавливается у витрины — абажуры, кровати, топоры, тесаки и прочие стальные хозяйственные изделия. Пройдя десять шагов, он возвращается взглянуть еще разок на подсознательно запавшую теперь в его воображение мясницкую утварь всяких образцов... И вот уже опять знакомый сквер, и детишки окликают его, не очень устойчивого на ногах, а он своеобычно салютует малышам мятой шляпой.

Диктор. В назначенное время мистер Мак-Кинли получил обещанное приглашение осмотреть в составе Государственной комиссии один из филиалов фирмы «Боулдер и К⁰».

Семь парадно одетых джентльменов, государственных деятелей второго разряда, направляются по пустынному, за чугунной оградой, двору к приземистому и сумрачному зданию крематорного стиля; последним поспешает за ними м-р Мак-Кинли.

Их встречает главный управляющий филиалом. Пока один бой в фирменной униформе отбирает у посетителей верхнюю одежду, другой вручает взамен белые халаты с фирменными инициалами на спинах и мягкую, неслышную обувь.

Мистер Мак-Кинли задерживается возле клерка, регистрирующего фамилии высоких посетителей.

М а к - К и н л и *(важно)*. Я — Мак-Кинли, из Высшего Лицензионного Совета. Что-то довольно пустовато у вас сегодня!

К л е р к. Главный съезд начинается с наступлением темноты... Нам запрещен дневной прием, во избежание беспорядков.

М а к - К и н л и. Грабежи?

К л е р к. Слишком много желающих попасть в сальваторий бесплатно. *(Понизив голос.)* Как раз нищие районы кругом,—взгляните, что там у нас делается!

Во всю боковую длину высокой литой ограды с копьями и монограммами «BS», с той стороны, откуда только и можно подойти, выстроилась молчаливая, недвижная, безликая какая-то, на бесформенное пятно похожая людская толпа. Всех их роднит один и тот же признак — оттенок безнадежности во взгляде; женщины с малышами, старики и самостоятельные, преждевременно повзрослевшие ребятишки.

Остальные члены комиссии слышат разговор Мак-Кинли с клерком:

1 - й ч л е н к о м и с с и и. Почему ж вы не обратитесь в полицию?

К л е р к. Мы не можем... Они не нарушают порядка, не мешают работе, они только г л я д я т.

М а к - К и н л и *(обернувшись в сторону ворот)*. Но вот как раз и дневные клиенты к вам!

К л е р к. О, эти, очевидно, прямо с аэродрома... за последний месяц наплыв из Европы увеличился вдвое, хотя у них там имеется своя сеть комфортабельных сальваториев.

2 - й ч л е н к о м и с с и и. По-видимому, сказывается дурной опыт от прежних войн!

К л е р к *(горестно)*. Да, в случае неприятностей Европа превратится в вулканический кратер средней активности. Простите, господа...

Вполголоса клерк отдает распоряжение служащему помоложе, чтобы тот встретил новоприбывших.

Через двор к главному зданию сальватория шествует, с пледом через руку, по моде прошлого века, престарелый, надменного вида господин, возможно даже лорд, во главе своего

семейства: паралична жена в кресле на велосипедных колесах, незамужние, подсохшие от времени дочери, личные секретари, домашний врач и единственный внук. Ливрейный лакей несет в руках аквариум с рыбками, также поступающими на долговременное хранение. Владелец их, задумчивый хилый мальчик, тащит вдобавок своего любимца, сидящего в обруче носатого тукана. Кроме того, ведут под уздцы ветхую, но, значит, дорогую по воспоминаниям верховую лошадь. Гувернантка с двумя шпицами в поводке замыкает шествие, отдаленно напоминающее погребальную процессию.

И самое любопытное: приезжие проходят по аллейке как раз мимо напряженно созерцающей толпы, им не стыдно.

— Пожалуйте, этим путем, сэр! — кланяясь, принимает почетных клиентов главный администратор, передавая их помощникам пошустрее.

Комиссия спускается в скоростном лифте в подземные помещения сальватория. Что-то бешено мигает в контрольном окошке кабины, и вспыхивают бесчисленные лампы и номера этажей: 13... 22... 36... Заглушаемый легким свистом падения, управляющий успевает ввести гостей в курс текущих дел и очередных соображений фирмы. Здесь уместно отметить поразительную четкость поведения и речистость всех служащих фирмы «BS».

Управляющий. После недавних просчетов наших конкурентов мы предпочитаем для своих сальваториев предельные глубины порядка семи-восьми километров. Дальнейшее погружение в земную кору чрезмерно повышает стоимость шахтной проходки и, следовательно, каждого кубометра полезного объема... в особенности из-за повышения глубинных температур.

1-й член комиссии. Ну, уж себе-то вы, наверно, присмотрели тут уютный и безопасный уголок?

Управляющий. К сожалению, для нас это недоступно, сэр. Боксы стоят довольно дорого, а заливать кокильоном коммуникационные коридоры, что, конечно, устроило бы служащих, запрещает главная инспекция.

2-й член комиссии. Уж для своего-то персонала фирма могла бы предоставить места со скидкой.

Управляющий *(уклончиво)*. У меня большая семья, сэр.

М а к - К и н л и. Дети?

Управляющий. Шестеро, сэр. Нет, им придется переждать наверху... пока все наладится. Обратите внимание на исключительную свежесть воздуха на подобной глубине...

Некоторое время спуск продолжается в полном молчании. Лишь потрескивают в счетном окошечке проскакивающие номера этажей: 278... 291... 323.

2-й член комиссии. Но ведь прошли слухи о значительном удешевлении мест с нового года. В каком приблизительно размере предполагается это снижение?.. И сколько сейчас стоит надежная кабина на одну персону?

Управляющий. На какой срок?

2-й член комиссии. Скажем, лет на триста.

Управляющий. От восьми тысяч долларов до пятидесяти, в зависимости от твердости породы и, следовательно, степени безопасности. Имеются люксы, те значительно дороже... я также уполномочен показать их вам. Мы только что приобрели патент на быстроходные электронные буры в гранитах...

Кажется, посетители уже успели привыкнуть к этому все продолжающемуся полету в бездну. Уже — 660... 797... 948. В лице у м-ра Мак-Кинли замечается странная борьба с каким-то непреодолимым, почти мальчишеским желанием. Наконец он не выдерживает.

Мак-Кинли *(небрежно-развязным тоном)*. А скажите, что можно приобрести у вас на сумму в пределах... ну, долларов этак семисот?

Управляющий. Простите, как, как?.. Я не расслышал, сэр!

Мак-Кинли. Я хотел спросить... *(Не выдержав пристального взгляда.)* Нет, это я просто так, шутка.

Управляющий. Очень заметное оживление происходит в последние дни в связи с готовящимся перевооружением держав. На прошлой неделе получен большой заказ от княжества Монако... Чем богаче люди, тем больше они любят бессмертие!

1-й член комиссии *(вполне серьезно)*. Что же, предполагается устройство рулетки под землею?

Управляющий. Нет, сэр. Фирма категорически против азартных игр в сальваториях... да они и вряд ли осуществимы там! Ну вот и прибыли, господа. Прошу вас...

Циклопические своды и крепления перекрытий дают приблизительное представление о защитной толще грунта и бетона над головою. Осмотр бесшумных вентиляционных установок, обеспечивающих кондиционную температуру холодильников и химических цехов, изготовляющих таинственное вещество антитления: кокильон.

Изредка по округлым, местами полированным стенам и таким же низким потолкам скользят колдовские отсветы, бегут навстречу и тают молчаливые отражения и тени служащих.

Управляющий. Не могу еще раз не обратить ваше внимание... мы на глубине семи с половиной километров, а воздух как в лесу, и нигде ни капли подпочвенной воды.

3-й член комиссии. По-моему, даже ландышем пахнет?

Управляющий. Ночная фиалка, сэр.

Гости у квадратного с жалюзи иллюминатора. Видно, как вдалеке все те же знакомые нам сальваторные девушки, похожие на царственных монахинь или опечаленных богинь, производят свои манипуляции над какой-то полуголой миловидной дамой, поступающей на длительное хранение в сальваторий. Знакомая волшебная мелодия перекрывает доносящийся оттуда щекотный смешок усыпляемой. Разговорчивый член комиссии тотчас прилипает к иллюминатору.

Управляющий *(довольно решительно взяв его под руку)*. Ну, здесь, джентльмены, вам не стоит утомляться... У нас мало времени и довольно много впечатлений впереди, уважаемые господа!

Длинный коридор, куда впадают широкие трубы смежных, слабее освещенных тоннелей. Это наиболее комфортабельные катакомбы местного сальватория. Квартал владык и богачей.

Плоская стена с круглыми, накрепко завинченными и замурованными крышками. На них, как и на плитах в полу,— герцогские короны, тиары со скрещенными светильниками, фабричные марки известных по расхожим товарам фабрикантов.

Управляющий *(доверительно)*. Так сказать, отборпые любимчики судьбы... к примеру, как раз под нами апартаменты одного экваториального принца с гаремом на пятьдесят персон... Прошу не курить! Нам предстоит теперь в специальной вагонетке, господа, проследовать в завершающий сектор, откуда после воскрешения и укрепляющей обработки наши клиенты будут выпускаться по прибытии на место. Но прежде я покажу вам регистрационный зал с картотекой, где автоматически отсчитывается купленное время каждого из наших клиентов. Так сказать, дверь из небытия во второе рождение...

Все заходят в эллиптическое, вроде колумбария, помещение со множеством небольших квадратных ниш по стенам, где постукивают вперебой отсчитывающие механизмы, сливаясь, пожалуй, в теперь слишком уж знакомую нам мелодию усыпления... Входят все, кроме м-ра Мак-Кинли.

Он спрятался в нише за толстой колонной, опоясанной спиралями охладительных, видимо, трубок, и, как только голоса его спутников затихают, покидает свое убежище. Время от времени справляясь с чертежами и пометками, сделанными на просмотре документального фирменного фильма, он крадется по пустынным и, кажется, нескончаемым коридорам Подземного Города, полным всевозможных ловушек и превратностей, пока через служебный ход не достигает уже известного нам по фильму начального отделения, где по сдаче контрольных карт и бланков клиенты раздеваются для поступления на подготовительный процедурный конвейер.

Ближайшая к нему богиня в фантастическом крахмальном головном уборе указывает м-ру Мак-Кинли кабинку, откуда тот вскоре и выходит в цветном, с пелериною, хитоне. Теперь его намерения совершенно ясны нам: на дармовщину проникнуть в желанное будущее; и надо отдать должное глубокой продуманности его плана. Ни одна черта в лице м-ра Мак-Кинли не выражает его смятенного состояния, никто из служебного персонала не подозревает происходящего обмана. Молчаливые девушки начинают свои плавные магические волхвования над

телом м-ра Мак-Кинли, который лишь приятно поеживается — с тем же, впрочем, каменным лицом! — от этих восхитительных прикосновений.

Уже наш герой прошел несколько начальных операций: омовения, очистки жидкостями и токами, массажа в ультразвуковых установках, уже он положен на легко скользящий по полу сверкающий стол, чтобы нырнуть в свою мечту... но вот приходят двое таких же, как и все они в этом подземелье, двое статных, царственно невозмутимых молодцов в комбинезонах и, обменявшись печальными взорами со здешним персоналом, молча влекут тележку со встревоженным и озирающимся м-ром Мак-Кинли в обратную сторону от рая.

Его доставляют в плохо освещенный, шибко второстепенного назначения коридор с дверцей в стенном массиве, за которой оказывается круглый вонючий зев какого-то люка. М-ра Мак-Кинли довольно небрежно вставляют туда, головой вперед, на пружинный челнок, следом суют его одежду, вывалившуюся из карманов мелочь, закрывают герметическую крышку на засов и включают донельзя, до зуда в зубах противное, визгливое устройство.

Следует сифонное сипение с перекатом какого-то тяжелого тела по коленам широкой трубы, оказавшейся пневматическим мусоропроводом. Затем мы сразу видим концевой его выход наверху, и нам приходится немножко переждать, прежде чем м-р Мак-Кинли на большой скорости вылетит из этой неблагообразной дыры наружу, подобно ведьме, окутанный посторонними бинтами и тряпками, прямо на свалку — без видимых телесных повреждений из-за случившейся на месте падения мягкой подстилки. Лежа в несколько неудобной позе под роскошным звездным небом, он пытается философски и без спешки осмыслить свое положение. Подобное приключение, несомненно, хоть кому испортит настроение, однако овладевшая м-ром Мак-Кинли маниакальная мечта отныне придаст ему вдвое отваги и хитрости на гораздо большие свершения.

Диктор. Что делать, не везет нам, дорогой мистер Мак-Кинли! Теперь придется отправляться на поиски подходящей старухи...

Отыскав в потемках разлетевшиеся части своего туалета — все, кроме одного проклятого ботинка, м-р Мак-Кинли на минутку скрывается за подвернувшейся трансформаторной буд-

кой, сменить пришедший в негодность фирменный хитон, и вскоре появляется почти в прежнем, до своей неудачи, виде... Полностью стемнело. Справа чернеют ступенчатые, монументальные постройки сальватория. Вдалеке возникают странные звуки, напоминающие шум крупного уличного происшествия; чуть позже становятся различимы и отдельные возгласы. М-р Мак-Кинли вполне невозмутимо, лишь слегка прихрамывая, отправляется на шум, чтобы выяснить причины беспорядка в такой ничем ранее не скомпрометированной местности.

Из мрака ночи, оглашаемой далеким нестройным, на ветер похожим пением, надвигается странное сияние, которое вскоре становится тысячью факелов, другая тысяча людей движется наугад, руководствуясь единственно чутьем ярости. Это ночной поход, видимо, не только окрестного населения на сальваторий Боулдера. Безумная толпа, не уместившаяся на шоссе, течет и по его обочинам. Они движутся с поднятыми головами, то ли призывая бога из звездной пучины неба, то ли опасаясь налета воздушной полиции. М-ру Мак-Кинли, стоящему под откосом, видно сквозь поднятую пыль лишь множество шагающих ног,— он взбирается к ним по крутизне. В процессии — фермеры, какие-то старухи, даже одна оборванная монахиня, выкрикивающая нечто несообразное своему сану, обоего пола подростки. Они несут развернутые, всех образцов полотнища с самодельными надписями:

«Мы запрещаем в а м зарываться в землю».
«Сгорайте вместе с нами!»
«Мы убьем вас, вояки, во имя наших малюток».

Какой-то осатанелый кряжистый старик с хохотом вдохновенного гнева кричит сверху попавшемуся на глаза м-ру Мак-Кинли:

— Пойдем с нами, кривошейй, вырвем главному ноги из... чтоб не успел удрать от нас, своих птенцов!

Видно, как, закругляясь в сверкающее, волшебное полукольцо на вираже шоссе, мчатся с противоположной стороны полицейские машины; становится слышно их равномерное угрожающее гудение. При сближении оттуда летят в процессию какие-то пламенные порхающие мотыльки, и вот толпа уже ползет на коленях, давясь, корчась от безудержного по всему телу зуда и сдаваясь.

Диктор. Подобные же беспорядки прокатились и по другим странам, где наиболее дерзко и успешно на виду у населения происходила деятельность концерна «BS».

На экране — образцовая, снятая в потемках уличная свалка со вспышками выстрелов, неразбериха катящихся и падающих тел. Это один очередной погром сальватория — где-то в предгорьях Швейцарских Альп. Не менее сильное впечатление оставляет эффектный ночной пожар в датском филиале «Боулдер и К^0». Как правило, всюду убытки фирмы крайне малы: надземные постройки сальваториев почти ничтожны в сравнении с недоступными подземными помещениями под броневыми плитами. Зато при удачном поджоге изнутри вырывающиеся из земных недр столбы дымного пламени, с соответствующим отражением на облаках, напоминают небольшие вулканические извержения. Газ кокильон чудесно горит.

Диктор. Наиболее популярный и доходный бизнес века тем не менее всюду вызывал у населения гневное, не выясненной пока окраски, но явно политическое противодействие. В сенат поступила совместная — Биржи, Центрального Перспективного Института и Конгресса Промышленности — петиция с требованием расследования деятельности концерна «BS».

Надпись

Ввиду чрезвычайной важности ожидаемых выводов на заседание личным дружеским посланием президента был приглашен сам глава и основатель фирмы Самуэль Д. Боулдер.

Газетные оповещания

«Больного Боулдера тянут к ответу».

«Новый Моисей нашего времени! Земля Обетованная — всего в семи километрах под нами».

«Успеет ли старик достроить свой новый сальваторий в Венесуэле?»

«Последние минуты. Боулдер при смерти».

«Он будет погребен в Пантеоне».

Д и к т о р. То печальное и памятное заседание сената, завершившееся увечьем многих достойных джентльменов и частичным повреждением красивейшего здания в столице государства, произошло 28 августа, одновременно с другим, важнейшим для нашего героя событием.

Переполненный публикой и сенаторами Круглый зал заседаний. В разгаре обсуждение деятельности концерна «BS». На трибуне произносит речь взволнованный мужчина в совершенном расцвете сил. Вибрирующий голос, властные жесты трибуна, жгучие взоры и жесты обвинения в адрес неспроста отсутствующего Боулдера, особо ядовитые обороты речи и, наконец, благородная испарина умственного напряжения на челе. Когда оратор отворачивается от микрофона, чтобы было слышно и сидящим позади, зал наполняется гулким радиобульканьем.

О р а т о р. ...Теперь нам надлежит подвести итоги перечисленным фактам и цифрам, и я крайне огорчен, господа сенаторы, что вынужден сделать главный вывод обвинения в отсутствие виновника, известного всем вам в качестве создателя концерна «BS», этой позорной и могущественной организации всемирного дезертирства. По счастью, преступление еще не доведено до конца, еще есть время вмешаться нам, консулам отечества. Но не секрет, господа, что всё более широкие круги заражаются непозволительным соблазном бегства из современности. *(Обернувшись назад.)* Где ваш уважаемый помощник, директор-распорядитель Меридиональной Авиалинии и заодно ваш зять, господин председатель? В земле. Где мужественно призывавший нас к христианскому сопротивлению достопочтенный архиепископ Стаффорд? Там же. Самое вызывающее, что и ответчика нет среди нас. Нет, он не ждет почтительно там, на дощатой скамье в коридоре, приговора избранников страны... не ждет с подобающим трепетом ваших вопросов, господа судьи! Он силен и загадочен пока, этот некоронованный плут, перед которым ныне заискивают короли и магнаты в надежде на теплую койку в его обширной подземной империи. Да, он боится вас, а ведь степенью трусости как раз и мерится нередко низость побудительных мотивов. Правда, по слухам, в настоящее время он чадно угасает

среди своих запущенных тюльпанных полей в Огайо, новый Цинциннат из Цинциннати... и, надо думать, дьявол, который сейчас выковыривает из него стамеской его грешную душу, ужасно морщится от своей вонючей работы. Но даже мертвый, он должен был предстать перед сенатом отечества, чтобы трепеща объяснить истоки своей коварной и сомнительной деятельности.

Голос с места. Это тебя тот ракетный Ластиг, фабрикант покойников, купил, пройдоха, мазать грязью мертвеца?..

Оратор. Бывают настолько черные репутации, господа, что им нечего страшиться посмертной грязи!.. Итак, мы собрались здесь, чтобы принять великие решения... и раз уж так случилось по воле творца и собственному нашему недомыслию, что мы собрались тут лишь в самый роковой миг у кормила свобод и цивилизации, то, прежде чем попустительством малопочтенного мистера Боулдера мы все снова растворимся в первозданной огнедышащей стихии, из которой господь ввел нас однажды в этот мир делать наш скромный бизнес, господа, давайте совершим все положенное нам с достоинством, присущим нашему биологическому виду. Пусть на последней странице Человеческой истории будет начертано описание вашего заключительного подвига, господа! Да, мы все стоим перед порогом, когда волна вечности смоет нас... вернее, поднимет на воздух все это зримое... и нечто большее, чем только наши семьи, храмы и банковские вклады, но и незыблемую основу нашего бытия — идею свободной инициативы! На грозном пороге, где мы стоим сейчас, только способность осознать логику своих ошибок отличает человека от животного; воспользуемся же ею!

1-й голос с места. Если вы это болтаете от лица конкурирующей фирмы, то открывайте, какой?

2-й голос. Устав и деятельность концерна «BS» не противоречат конституции свободной страны!

Недружный ропот и шум в зале.

Оратор. А я как раз утверждаю, что эта предательская организация создана в Москве для паники и планомерного подрыва наших государственных мероприятий... путем отнятия у военной промышленности — рабо-

чих рук, умов — у наших штабов и лабораторий, налогоплательщиков — у нашего бюджета! Тем постыднее все это, что столь беспримерное разрушение наших тылов производится на наши же с вами взносы, собранные среди доверчивых клиентов. Поэтому я и предлагаю вашему вниманию...

3-й голос. Вам же известно, что военнообязанные не принимаются в сальватории Боулдера, а рабочим не на что прятаться под землю!

Голоса. Тише, тише...

Как раз в эти минуты, чуть раньше, через центральный, противолежащий трибуне вход вступают человек шесть внушительного вида молодцов — в полувоенной фирменной униформе, со шнурками вместо погон и опознавательными инициалами «BS» на рукавах. Не обращая внимания на происходящее, они деловито осматривают помещение, всё ли тут в порядке. Один, видимо старший, молча кивает другим на приоткрытое за столом председателя окно с цветным символическим витражом.

Старший по охране. И вон того удалить, ребятишки... Что-то мне не нравятся ни ряшка его, ни, правду сказать, волоса.

Несопротивляющегося стенографа с громадной шевелюрой легко, как щепку, перемещают в коридор.

Получивший приказание охранник взбирается за спиной председателя на спинку его кресла.

— Извини, парень, что мешаю вам трепаться. Мне закрыть окошко, а то мы простудим нашего старика.

Молодцы «BS» разговаривают по-хозяйски громко и поступают как им нравится, что окончательно нарушает порядок заседания. Атака сбежавшихся было служителей разбивается о первую же многообещающую улыбку старшего. Общее замешательство. Застигнутый на полуфразе оратор замирает на трибуне. Привстав, сенаторы смотрят на задние входные двери в ожидании еще худшего.

Оттуда появляется неторопливая процессия. В сопровождении врача, двух медицинских сестер-монахинь и пастора,

ввиду возможных случайностей преклонного возраста, вступает сам м-р Боулдер, ведомый под руки двумя молодцеватыми секретарями со скорбно-одухотворенными лицами и атлетического сложения. Старик гораздо старше и сутулей, чем на знакомых нам портретах не менее как пятнадцатилетней давности, почти развалина. Белая борода и такие же нависшие брови, под которыми, как в норах, прячется взгляд, придают ему даже какое-то щемящее душу библейское величие. Смятенная тишина, и в ней только пришаркиванье старческих ног.

Боулдер *(кивая неизвестно кому)*. Ничего, ничего... садитесь, господа. Извините, опоздал... стариковское недомогание, обычные неполадки с желудком... *(Ворчливо, председателю, не глядя на него.)* Все они таковы, эти чертовы старики... травить их... Простите, сверх ожиданий... немножко помешал вам заниматься!

Самуэль Д. Боулдер опускается на откуда-то появившееся в проходе кресло в четвертом ряду, который наполовину к тому времени знаменательно опустевает; свита располагается гнездом вокруг. Монахини роются в своих санитарных сумочках. Врач пытается приложить какой-то медицинский прибор к запястью старика, тот без раздражения отводит в сторону его руку.

Долгое мертвое молчание. Напрасно председатель подает просительные знаки оратору, чтобы тот спасал положение ввиду создавшихся по его вине обстоятельств. Тот незаметно сникает — скорее улетучивается, чем бежит с трибуны.

Председатель. Прежде всего мы приветствуем дорогого мистера Боулдера в нашей деловой среде. До нас дошли грустные вести, что вы прихворнули у себя под Цинциннати, сэр... и мои коллеги искренне сожалели, что ваше нездоровье лишает их возможности послушать от вас лично воспоминания о возникновении поразительной фирмы «BS», которая по высокой мысли ее творца — эвакуировать человечество из потенциальных очагов военных бедствий — представляется всем нам одним из гуманнейших начинаний нашего времени!.. Не найдете ли заодно возможность, сэр, поделиться с нами и вашими соображениями о современности?

Боулдер. Да, я хотел бы, а то у меня время... Но оратор?

Председатель. О, он давно кончил, сэр. Итак, ваше слово, мистер Боулдер.

Предоставляя слово, он оглашает всевозможные, строк на двадцать, титулы и звания великого старика.

Перед публичным выступлением, с опасными в столь преклонном возрасте треволнениями, старшая медсестра подает старику какое-то укрепляющее питье, которое предварительно надо долго мешать ложечкой. Кощунственно домашний звон стекла оглашает тишину законодательного святилища с президентами, генералами, джентльменами в париках, созерцающими из золоченых рам это забавное и неуместное священнодействие.

Боулдера возводят на трибуну секретари, которых он затем с капризцем отталкивает, как костыли. Оратор начинает ворчливо-медленно, порою глотая куски фраз, но угасающий вначале голос крепнет к концу, и в заключение старик окинет свою аудиторию уничтожающим, почти молодым взором из-под насупленных бровей.

Боулдер. Моя фамилия Боулдер, господа. Я получил вашу вздорную повестку и сперва, этово... мне уже вредно, мне нельзя самолет, хе-хе... в небо мне уж дозволительно только с ангелом. Но тут мне дали проглотить что-то такое, продолговатое, и вот... *(Долгая пауза.)* Когда мне не дремалось, то я глядел оттуда сквозь облачную дымку на все эти плывущие внизу города и башни и думал: так почему же оно так прочно? Их жгут века подряд, взрывают, а они всё стоят... я спрашивал себя: почему?.. из камня и стали? Нет. А потому, господа, что оно сделано из живой человеческой души. Из вздоха нашего, из мечты, из надежды... как будто даже из ничего. Вот почему книги живут дольше железа... «Так что же сегодня нужно прежде всего для спасения мира?» — думал я, плывя в поднебесье. Приготовьтесь, я вам скажу сейчас очень смешную, даже непристойную в таком месте вещь: чистая душа, господа... *(Махнув рукою.)* А впрочем, все равно: потом приходит шальной наследник, балбес, голова винтом... и опять пепел, неоплаканный пепел летит по ветру! *(В ответ на шелест переспросов,*

прокатившийся по залу.) Я сказал: по ветру, пепел... господа. *(Длительная пауза, старик что-то жует.)*

В дороге я имел также удовольствие слушать; летел и слушал, этово... ну, ваши огненные речи, господа! И тоже — где я был назван организатором всемирного дезертирства с поля чести, хе-хе, хотя... *(грозя пальцем и с дробным смешком)* хотя у всех вас давно уже куплено по билету в мои сальватории, шельмецы! С пожара первыми убегают те, кто раньше узнал про огонь: поджигатели. Но одно, пожалуй, верно: старик стоит у трапа и неистово торопит всех, чтобы скорее всходили на мой корабль... отплывающий куда-то корабль. Признаться, я и сам не знаю куда! Но почему же он поступает так, этот чертов, совратительный старик? Почему? Может быть, за свою долгую жизнь старый Сэм так полюбил людей, что решил хоть что-нибудь сберечь от предстоящего костра? Сомнительно. Мне слишком много про всех вас известно, чтобы жалеть. Нет... а просто хочу закинуть впрок, по ту сторону завтра, немножко наших идей, памяти о прошлом и еще кое-чего для постройки шалаша на первое время... там. Для кого, я и сам не знаю. К сожалению, у большинства моих клиентов как раз ни мыслей, ни совести, ни даже мужества, а сам я слишком беден, чтобы за свой счет произвести эвакуацию остального человечества... хотя дайте мне ваши военные бюджеты, черт возьми, я попробую! *(Пауза отдышки.)* Нет, мальчики, я работаю не от Кремля. Мне нечего продавать, и меня уже все чаще тянет полежать со скрещенными на груди руками... *(С неожиданным воспламенением обернувшись к председателю.)* А могу ли я прибегнуть к вашему посредничеству, сэр, представить мне того резвого молодого прокурора, который собирался посечь старика? Было бы интересно взглянуть. Он так быстро уступил мне место...

Председатель *(как бы сглотнув фамилию обвинителя)*. Прошу вас, уважаемый коллега... *(Громким шепотом, когда тот мертвенно поднялся с места.)* Желательно поближе: у мистера Боулдера плохие глаза.

Преодолевая робость, оратор подходит к трибуне и застывает с видом провинившегося школьника.

О р а т о р. Я слушаю вас, мистер Боулдер.

Б о у л д е р *(отечески)*. Поверьте старику, молодой человек, я далек от мысли обидеть вас, но грозная пора обязывает нас всех к величайшей точности мышления и действия. Ваша матушка может по праву гордиться своим рекордом: вы поразительный дурак, сэр... я просто горд наблюдать столь незаурядное умственное явление. Ради нашего знакомства я уж приоткрою вам один секрет, поскольку, бывает, для иных и градусник — великое открытие. Нам, с большими желудками, не повезло, господа: мы родились в чертовски неприятное время, когда человечество линяет. Оно меняет свою ветхую шкуру... и ему иначе никак нельзя: ему надо жить и завтра. Его стало на земле слишком много, а мы у себя наверху слишком прожорливы и грешны. И мы слишком часто обращались к дьяволу за консультацией или чтоб прогрел нам трагически остывающую кровь. В сущности, господа, наша хваленая цивилизация достигла той роковой содомской черты, когда в древности на нее ниспосылался огненный дождь. Снова чистая душа требуется миру... и какие бы телодвижения ни совершали мы, завтра планета будет в другой одежде. И не оплакивайте обреченного, господа: к сожалению, главное уже произошло. Оно бывало и раньше, они вымирали не раз, троглодиты и эти... *(ближайшему секретарю)* ну, как их... эти палеозойские водяные блошки?

С е к р е т а р ь. Трилобиты, сэр.

Б о у л д е р. Вот-вот, троглодиты и трилобиты. Со временем из этого образуется толстый на дне океана слой известки, который, будем надеяться, пригодится на что-нибудь путное в дальнейшем. Итак, всё!.. На остальные вопросы ответят секретари... чтоб не скучали, хе-хе, и не зря получали деньги. В сущности, я летел сюда только посмотреть, кто нынче... как это там было сказано?.. кто стоит у кормила всемирной цивилизации. Словом, взглянуть на ваши лица, господа. Благодарю вас, я видел...

В том же безмолвии и последовательности Боулдер и сопровождающие его лица удаляются из зала заседаний, где тотчас открываются оживленные прения с обилием страстных восклицаний и даже, между представителями враждующих фирм, с рукоприкладством.

Диктор. В тот же самый вечер, приняв бесповоротное решение относительно бегства из эпохи, мистер Мак-Кинли произвел решительный смотр своих наличных возможностей.

Предварительно запершись, он собирает отовсюду — из бельевых ящиков и карманов старых пиджаков — затерявшиеся, а может быть, и нарочно рассованные про черный день бумажки и монеты. Он также ставит на стол пяток фигурных копилок со сбережениями и, наконец, из главного тайника с предосторожностями извлекает свой заветный клад. Весь м-р Мак-Кинли с его капиталами виден здесь на просвет.

Следует стук в дверь.

Мужской голос. Хэлло, Мак-Кинли, здесь Аббот, ваш сосед... Вы не собираетесь к хозяевам в гости? У них серебряная свадьба сегодня. Уже все в сборе...

Мак-Кинли. Благодарю, я малость опоздаю... к сожалению, мне поручили одну срочную работу.

Голос. Приходите, когда кончите!

Мистер Мак-Кинли опустошает копилки и, завернув в газету глиняные осколки, чтобы самому вынести из дому, производит подсчет основных средств для осуществления мечты. Неотвязно звучит над головой та самая, повелительная мелодия усыпления и — надежды, надежды! В качестве примерного аккуратиста м-р Мак-Кинли постатейно выписывает образовавшиеся суммы, из которых по сложении получается неожиданно много: 1780 долларов.

Детский голосок за дверью. Мистер Мак-Кинли, папа и мама приглашают вас чего-нибудь выпить.

Мак-Кинли. Спасибо, крошка, мне что-то нездоровится.

Поверх вороха своих богатств м-р Мак-Кинли кладет какую-то, от канзасского дяди унаследованную акцию и фамильные старомодные ценности; судя по записи, сумма увеличивается еще на 130 долларов. Затем он ходит по комнате, прикидывая в уме стоимость каждого предмета из своего небогатого обихода: толстенькие подвижные цифры появляются сами поверх оцениваемых объектов.

Хозяйка стучит в дверь.

Хозяйка. Дочка сказала, что вы заболели, мистер Мак-Кинли. Мы с Гарри очень беспокоимся. Дайте-ка мне взглянуть на вас...

Прежде чем открыть дверь, м-р Мак-Кинли одним жестом сгребает свое достояние в ящик стола. На пороге полная, добродушная, еще в фартуке и раскрасневшаяся от хлопот хозяйка.

Мак-Кинли. У меня просто плохое настроение с утра, миссис Перкинс. Опять невеселые газеты...

Хозяйка. Да, мы тоже читали: какой-то подающий надежды молодой ученый предложил поджечь прилегающий к России Ледовитый океан. Поразительно движется вперед наука: ведь год назад мы и не гадали, что вода прекрасно горит... Тут-то только и выпить с горя!

Мак-Кинли *(нерешительно)*. Мисс Беттл у вас?

Хозяйка. Нет, она куда-то уехала... Надеюсь, только в отпуск!

Мак-Кинли *(незначащим тоном)*. Одна уехала?

Хозяйка. Да... кажется, к тетке. А что?

Мак-Кинли. Ничего! Тогда я приду сейчас... *(Потом вдогонку уходящей хозяйке, выхватив смешной бабушкин браслет из ящика стола.)* А это вам мой маленький подарок.

Хозяйка *(любуясь вещью)*. О, вы просто расточительны, мистер Мак-Кинли! Мы с мужем так хотим вам счастья...

Диктор. Перед тем как полностью отдаться во власть своих безумных, уже полусерьезных мыслей, мистер Мак-Кинли сделал еще попытку осуществить мечтание законным путем, и прежде всего — прицениться к счастью!

Мистер Мак-Кинли в конторе фирмы «Боулдер и К°». Это — огромное, крайне специализированное соответственно потребностям клиентов предприятие. Множество пронумерованных окошечек в отделанной тропическим деревом панели,

и в каждом посажено по белокурому ангелу с фирменными инициалами на каскетке.

М а к - К и н л и. Позвольте мне обеспокоить вас вопросом, мисс. Что и на какую цену могли бы вы предложить одинокому нетребовательному холостяку?

А н г е л. Простите, сэр, в моем ведении как раз только семейные апартаменты с комплектным обслуживанием. Обратитесь в сорок второе окно. Благодарю вас!

Мистер Мак-Кинли у сорок второго окошка.

М а к - К и н л и. Меня интересует, что именно я мог бы приобрести у вас за сравнительно небольшую сумму?

А н г е л. Какой суммой вы располагаете, сэр?

М а к - К и н л и. В среднем... тысячи на полторы, не больше двух.

А н г е л. К сожалению, здесь продаются лишь индивидуальные стабильные секции длительного хранения от десяти тысяч долларов и выше. Пожалуйста, поищите в нижнем этаже мистера Стоккера. Это самый длинный и любезный человек на свете. Благодарю вас!

Наконец в огромном зале полуподвального этажа удалось разыскать указанного длинного Стоккера.

М - р С т о к к е р *(откуда-то сверху, как бы со второго этажа)*. О, в пределах вашей суммы я смогу показать вам некоторые наши новинки, уже получившие в Европе довольно широкое распространение! Прошу вас следовать за мною, сэр! *(Ведя его по коридорам и различным служебным помещениям.)* Вы еще не видали наших переносных кабинок индивидуального пользования? Пресса отметила их как наиболее привлекательное изобретение последнего полугодия. Это маленькие самостоятельные квартиры долговременного пользования, на любые цены, вкус и рост. Они абсолютно герметичны для кокильона и крайне экономичны для желающих перескочить через завтра... Дешевле их, пожалуй, будет только самоубийство! Так вот, идя навстречу широким народным потребностям, наша фирма месяц назад и выпустила их как общедоступные рождественские подарки. Мистер Боул-

дер в своей деятельности всегда руководился самыми демократическими побуждениями. Первые образцы показали себя с наилучшей стороны. Не оступитесь, здесь несколько ступенек, теперь направо... Благодарю вас!

Они вступают в довольно вместительный холл, где по обе стороны, на приподнятых площадках, расставлены самые разнообразные капсулы. Перед нами печально-продолговатые, треугольные, цилиндрические и даже шаровидные — с сидячим местом внутри, также кубические сооружения, рассчитанные на размер сложенного втрое человека, в большинстве ласкающих глаз колеров. В общем, это переносные сальватории хоть бы и на дому: для небогатых. Некоторые с замысловатой загадочной техникой, видимо для автоматического проветривания или рулевого управления, другие же с рессорным приспособлением для поглощения силы удара при падении с вершины термоядерного гриба. Всюду на нескольких языках обозначены номер и символическое название категории, а также самая стоимость. Вокруг, парами и в одиночку, бродят задумчивые покупатели, которые недоверчиво изучают выставленные модели.

Наиболее запоминаются следующие образцы:

«Спящая красавица и семь богатырей» — прозрачная люлька, подвешенная внутри изящных пружинящих обручей с семью шипами, во избежание покушений на спящую внутри девственницу, — наиболее дорогая.

«Солитер-эгоист» — продолговатая, с солидной крышкой штука для зажиточных холостяков, расписанная довольно легкомысленными рисунками.

«Райская кабинка» — для молодоженов, уширенного образца.

«Вечность» — чугунный саркофаг цельного литья с небольшим иллюминатором огнеупорного зеленоватого стекла, опускается непосредственно на дно океана.

«Давайте отдохнем» — продолговатый граненый ящик с крышкой на обыкновенных мебельных винтах; и другие в том же роде.

Слышен разговор молодой супружеской четы, когда подходят Стоккер и Мак-Кинли.

Он. По-моему, это немножко непрактичный цвет, Лиззи. Ты всегда выбираешь в цвет к своим глазам... Но ведь это будет стоять не в гостиной!

Она. Тогда лучше остановимся на давешней, та гораздо комфортабельнее, а для твоей мамы возьмем что-нибудь попроще, ей уже все равно... Однако что же мы выберем для твоего племянника?

Заведующий индивидуально-капсульным отделом настойчиво пытается всучить м-ру Мак-Кинли последнюю из перечисленных выше моделей.

Стоккер. Я настоятельно рекомендую эту... она недорога, крайне гигиенична, почти невесома: можно брать с собою под мышку хоть в театр!.. — ну, разумеется, если сдавать под номер гардеробщику. Обратите внимание на автоматическое спусковое устройство: газ начинает поступать тотчас, едва завинтят крышку. Вам не нравится?.. Или хотите примерить? У нас имеется примерочное помещение с зеркальным потолком!

Мак-Кинли. Нет, видите ли, это вызывает во мне... ну, посторонние воспоминания.

Стоккер. О, это в смысле количества граней? Тогда вот там найдутся более отвлеченные формы. Кроме того, вон та модель даже с музыкой: имеется специальный механизм для проигрывания! Называется «Ладья мистера Харона». *(Они направляются туда.)* Лично я даже предпочитаю капсульное хранение. Гранит... А мало ли что про него откроют впереди! А вдруг гранит тоже взрывчатка? К тому же, если взять капсулу с надежной амортизацией на случай воздушной волны...

Мак-Кинли *(содрогаясь)*. Видите ли, я еще собирался после этого жениться... Благодарю вас, я подумаю.

Они корректно раскланиваются и расходятся.

Диктор. И вот мистер Мак-Кинли оказался в безвыходном положении. Мечта о безопасных семейных радостях не давала ему покоя. Но изолированное подземное помещение было не по карману, а скитание хотя бы в гигиенической шкатулке по раскаленным небесам тоже не

слишком привлекало его. Надо отдать должное мистеру Мак-Кинли: прежде чем решиться на крайние меры, он испробовал все менее преступные средства.

Вот он пытается под проливным дождем ограбить франтоватого пьянчугу по выходе из ночного вертепа. Вмешивается полицейский, и притворившемуся приятелем м-ру Мак-Кинли приходится за свой счет доставлять безденежную жертву по указанному в визитной карточке адресу.

Вот м-р Мак-Кинли мучительно сочиняет вымогательское, под угрозой страшной смерти, письмо владельцу одного нарядного особняка, мимо которого ежедневно ходит на службу. На другое же утро в условленном месте, под кустарничком, красуется подозрительно толстый пакет, а по противоположной стороне прогуливается классический, в канотье и полуторного роста, детектив.

Диктор. В довершение всего оказалось, что даже в таком богатом христианском городе занять недостающие для счастья 8220 долларов под честное слово христианина — безнадежное дело. Тогда мистеру Мак-Кинли и вспомнилась подслушанная в кафе история про иностранного бакалавра с топором... Пора было приступать к поискам какой-либо малоценной старухи.

Скитания м-ра Мак-Кинли по городу в поисках подходящего объекта.

Он на вокзале, среди провожающих: нету! Он на скачках в публике. Казалось бы, выбор здесь вполне достаточный, но ни одна из подходящих кандидаток в увлечении игрой просто не замечает его усилий завязать близкое, с солидными намерениями знакомство.

Мистер Мак-Кинли в молитвенном доме, где множество малозажиточного вида старух с вытянутыми гусиными шеями тянут гимны под управлением такого же прозрачного на просвет проповедника. Изучая каждую порознь, м-р Мак-Кинли местами подпевает им слегка, потом скептически морщится и уходит.

Он забредает также в косметический институт. Адское стрекотание массажных, вибрационных и прочих омолодительных аппаратов, но даже и сквозь этот шум могуче прорываются такты той, райской мелодии. Происходит очередная панто-

мима: под предлогом удаления родинки где-то за ухом м-р Мак-Кинли вступает в нудное объяснение с главным магом-оператором, образцово-показательным мужчиной пронзительной ассирийской внешности. Тот сокрушенно качает головой, в мимическом смысле: «Тут никак нельзя ковыряться, опасно: слишком близко к мозгам!»

Тем временем м-р Мак-Кинли поочередно обследует взглядом букет перезрелых дам, чающих возвращения молодости. Кажется, одна — долговязая, тощая, носатая до сходства с грифом — совершенно подходит для намеченного мероприятия. На ней показное множество драгоценностей,— значит, богата; она жаждет нравиться,— значит, при умелом обращении уязвима для мужских чар; она в трауре,— значит, одинока, что в особенности благоприятствует успеху дела.

Диктор. Не теряйте времени, мистер Мак-Кинли. Забирайте в охапку вашу удачную находку!

С видом прожигателя жизни м-р Мак-Кинли шествует за своей жертвой. В переполненном, на людной улице, кафе ему удается настигнуть ее наконец. Жестом он просит разрешения воспользоваться пустым местом за ее столиком.

— Я не запомню такого тропического августа... — говорит м-р Мак-Кинли, садясь и приподымая шляпу в благодарность за позволение. — Впрочем, у нас в Оклахоме, помнится, случалось, в детстве, и не такое пекло!

— Зато, наверно, будет ранняя и дождливая осень... — охотно откликается будущая жертва.

Миссис Шамуэй рассеянно кивает, занятая какой-то довольно калорийной пищей. Такие, по уверениям сведущих лиц, обожают всякие зверские зрелища!

— Вы сидите на самом выгодном месте во всем кафе. Я тоже давно облюбовал этот столик,— отважно приступает к своей тяжелой работе м-р Мак-Кинли, касаясь полей шляпы. — Отсюда выгодней всего наблюдать все несчастные случаи... По городской статистике, большинство их происходит именно на этом перекрестке и в этот час. По отзывам одного знакомого репортера, перед вами наиболее богатый происшествиями перекресток в мире.

Кстати, третьего дня произошло очень милое столкновение двух автомашин.

Что-то в наружности миссис Шамуэй располагает его к импровизации такого рода.

— И много крови было? — интересуется миссис Шамуэй.

— Да, и, по моим наблюдениям, она поразительно медленно сохнет... даже в такую погоду!

Не без сожаления м-с Шамуэй расплачивается с официантом и уходит. Но, значит, выстрел охотника попал в цель: на следующий вечер уже сама миссис Шамуэй подходит к столику, предусмотрительно занятому м-ром Мак-Кинли.

— Ну как, ничего не произошло пока? — приветливо и уже тоном сообщницы осведомляется она, запросто присаживаясь на свое место. — Я тоже большая любительница наблюдать... ну, всякие *такие* пестрые уличные бытовые сценки!

— Вот, терпеливо жду пока... — тоном бывалого рыбака говорит Мак-Кинли, приподымая шляпу. — Но только при вашей врожденной нервности... я бы предписал вам воздерживаться от чрезмерных впечатлений!

— О, вам делает честь такая наблюдательность! Вы врач?

— Немножко. Мне и в прошлый раз показалось, у вас были не то чтобы заплаканные, а как бы в дымке давней печали... глаза. Простите, ваше состояние дает мне право, пусть на непрошеное, сочувствие. Скажите... у вас большое горе?

— Три дня назад я предала земле близкое мне существо, — тронутая проникновенным тоном м-ра Мак-Кинли, признается приручаемая жертва.

— Мне также знакомо такое опустошение, эта сверлящая после ночной бури тишина, — с опущенными глазами платит откровенностью за доверие м-р Мак-Кинли. — Вот уже два года с лишним, как я напрасно пытаюсь найти какую-нибудь привлекательность в своем одиночестве...

— Зачем?

— О, чтобы привыкнуть и смириться!

— Нас всех, путников по земле, роднят одни и те же земные горести да еще, пожалуй, тоска по небу... — искоса рассматривая меню, со вздохом произносит миссис Шамуэй.

Мистер Мак-Кинли смотрит на свою старуху страшными, бархатными глазами.

— Простите мою навязчивость, миссис...

— О, Шамуэй!

— Благодарю вас, миссис Шамуэй... Я Мак-Кинли. Будем надеяться, что там вашему другу будет лучше. Видимо, это было очень отзывчивое, доброе существо, верный рыцарь и умный собеседник?

— Я бы не сказала так... но нас связывали девять лет самой тесной дружбы!

— Вот так же и я!.. До сих пор, проснувшись иногда среди ночи, я отчетливо, как бы в мерцании, вижу наклоненную надо мной любимую головку, — искусно признается м-р Мак-Кинли. — Поразительно, с какою силой человеческое сердце хранит черты дорогих нам спутников. Мы даже перенимаем у них некоторые черты для себя... Вы не замечали, миссис Шамуэй?

— По счастью, — благодарно и не без волнения отвечает та, — у меня, кроме воспоминаний, сохранилась и фотография. Как странно! Точно предвидя несчастье, мы снимались всего на прошлой неделе.

— Я был бы счастлив познакомиться с вашим бедным другом! — просит м-р Мак-Кинли.

С увлажнившимся взором м-с Шамуэй шарит в сумочке портрет любимого покойника. М-р Мак-Кинли замечает там вполне достаточную для пролития крови пачку денег и чековую книжку, которую та некстати роняет на пол. М-р Мак-Кинли возвращает ее владелице и получает взамен фотографию в кожаном паспарту́ для осмотра. На ней голый и гладкий, с какой-то огнедышащей мордой дог.

Кивая со склоненной набок головой, м-р Мак-Кинли долго рассматривает карточку. «Какое милое, интеллектуальное лицо!..» — как бы говорит он всем своим видом.

— По-видимому, он был уже стар? — с участием осведомляется м-р Мак-Кинли.

— Представьте, совсем нет; он погиб под междугородным автобусом. Его сгубила любознательность. Он что-то там заметил под колесами и полез удостовериться. У него было чудесное здоровье: никогда не болел...

— Мы так неосторожны становимся с годами... и тем более нуждаемся в строгой взаимной опеке! — через силу делает еще один шаг к поставленной цели м-р Мак-Кинли. — Но, кажется, у вас самой тоже завидное здоровье?

— О, муж побаивался меня при жизни, а бабка до восьмидесяти трех лет не пропустила ни одного лыжного состязания, пока сама не поскользнулась на горной тропе... — хвастается м-с Шамуэй, запирая сумочку, и улыбается вызывающе, кокетливо, как девочка.

Мистер Мак-Кинли снова смотрит на нее оценивающими, ласкательными глазами. Правда, эта пожилая ужасная дама прочна, как плаха на эшафоте, над ней придется потрудиться. Что делать, в его положении на что только не пустишься ради осуществления мечты!.. Впрочем, как и многие философы, м-р Мак-Кинли с его придирчивой душевной чистоплотностью не очень уверен пока, что буквально все дозволено во имя детей, в природе пока не существующих. Поэтому по ходу повести ему потребуются еще и еще доводы — убедиться, что это как раз та самая старуха, которую совсем не грешно принести в жертву какому-нибудь особо возвышенному и неотложному идеалу.

Однако пора идти, м-р Мак-Кинли торопится отодвинуть стул м-с Шамуэй. Расплачиваясь, он, как и впоследствии всегда, не скупится на чаевые официанту, который сгибается в поклоне подобострастного удивления. Мелочь эта не ускользает от внимания польщенной миссис Шамуэй. «О, по-видимому, обтрепанные обшлага у этого чем-то весьма привлекательного джентльмена — только черты чудачества, нередкого на Западе у людей с достаточной рентой». Украдкой, искоса она посматривает на м-ра Мак-Кинли, проверяя свои догадки: «Но, боже, кто же вы, однако, кто?»

Они выходят вместе.

Диктор. Так началась самая жестокая и захватывающая в жизни мистера Мак-Кинли игра, где ставкой служило всего лишь скромное семейное счастье, как буд-

то нельзя было достичь его другим путем. А сбережения его стали таять с каждым свиданием.

Всякий вечер по возвращении домой с прогулок со своей избранницей м-р Мак-Кинли отмечает карандашом на косяке двери оставшуюся в его распоряжении после очередного урона сумму сбережений. Она катастрофически падает: 1750, 1711, 1628, 1592.

Наша пара находится на большом состязании по рестлингу: второй ряд. Полутемный спортивный зал до потолка набит публикой, которая по-детски беснуется и переживает все фазы происходящей драки. В особенности нежно в этот вечер звучащая мелодия мечты (всякий раз на разных инструментах!) тонет в плеске свистков, выкриков и брани: болельщики! Два жирных медлительных борца в звероподобных масках на потребу зрителя усердно делают вид, будто калечат друг друга, выламывают конечности третьему противнику, сообща и всласть бьют его головой о чугунную штангу, без заметных, впрочем, повреждений организма: завтра снова придется выступать!

Вся подавшись вперед в порыве наслаждения, м-с Шамуэй выражает свои переживания чуть ли не громче всех. Она раскраснелась, с губ ее то и дело срываются слова, неожиданные для ее пола и возраста, господину в переднем ряду приходится пускаться на всякие хитрости, чтобы защитить воротник от ее цепких рук... Все это время м-р Мак-Кинли, откинувшись к спинке сиденья, смотрит — не на ринг, однако, а чуть вкось, куда-то пониже затылка своей дамы. Впоследствии мы еще неоднократно увидим это малопримачивое местечко на шейке м-с Шамуэй — на экране, каждый раз все с бо́льшим увеличением.

Внезапно ощутив его взгляд или просто устыдясь своей непосредственности, она оборачивается к своему спутнику.

М-с Шамуэй. Я не шокирую вас, мистер Мак-Кинли? С детства обожаю все эти схватки, драки, поединки, дешевую уличную кровь, будь то солдаты, пьяные, мальчишки, петухи! Я ужасно азартный человек,— в отца. Подумайте, старик полсостояния проиграл на пари, а был почти самый богатый в штате. Нас всех, в нашем роду, как-то пленительно бодрит игра, обманы, смертельные опасности, горные кручи... Вам не утомительно со мною, дорогой?

Мак-Кинли. Зато я полная противоположность вам. Я согреваю свое сердце в вашем присутствии. Вы как раз тот милый спутник, который нужен таким, как я... Хотите мороженое, оранжад?

М-с Шамуэй. Нет... Рядом с вами, Мак-Кинли, я ощущаю всегда странный, даже пьянящий прилив молодости... и словно в чудесном сне: кто-то ловит меня, караулит за углом, а я бегу, ускользаю... становлюсь такая гибкая, быстрая, как в юности! *(С загадочным блеском в глазах.)* Отчего все это?

Мак-Кинли *(влюбленно)*. Это означает лишь, что сама судьба велит нам до смерти быть вместе!

М-с Шамуэй *(кокетливо прищурясь)*. ...до вашей или моей? Ладно, оставим наши грустные мысли и давайте веселиться. Улыбнитесь же мне, мистер Мак-Кинли.

Мистер Мак-Кинли пробует сделать это как-то наискось, одними губами. Миссис Шамуэй признательно и наугад тискает его руку, затем снова обращается к рингу, где как раз господин в маске без заметного успеха пытается еще одним способом лишить жизни своего партнера.

М-с Шамуэй *(вдохновенно)*. А ну, грязный негодяй, пусти еще соку из этой падали!

Показ одной примерной сцены — как м-р Мак-Кинли, готовясь к очередному свиданию с избранницей, одевается, репетирует перед зеркалом приемы своих несколько отускневших мужских чар, производит классически-пантомимные жесты: отвращения, преклонения, восторга, огорчения и, конечно, обожания. Потом, в уголке, чтоб не видно было в замочную скважину, неожиданно и безобидно-домашним предметом производит примерный полноценный удар по чему-то воображаемому, после чего отходит, озираясь.

Вправив цветок в петлицу, м-р Мак-Кинли украдкой от жильцов и то чинно, то опрометью спускается по лестнице. Черт возьми, так и есть: вечно торчит на дороге эта худосочная ведьма!

Нижняя жилица, пожилая любезная женщина, исполняющая какую-то должность во дворе, сочувственно здоровается с проходящим мимо принаряженным соседом.

— У вас кто-нибудь умер, мистер Мак-Кинли?

Очередная встреча на улице.

Мак-Кинли. Так куда же мы отправимся сегодня?

М-с Шамуэй. Мне все равно, но... я почему-то ужасно голодна, дорогой! Весь день ушел на беганье по лавкам. Женщины так несчастны, когда у них много лишних денег!

Мак-Кинли. Я тоже толком не позавтракал с утра.

М-с Шамуэй. О, берегитесь, сегодня я разорю вас!

Мак-Кинли. Хотел бы вечно служить вам.

М-с Шамуэй. Вы профессиональный обольститель, мистер Мак-Кинли. Не бойтесь, я люблю слушать про это! Признавайтесь, сколько женских жизней у вас на совести?

Они направляются к такси мимо газетного продавца. Кричащие заголовки на свисающих листах:

«Рекордное ограбление банка. Банкноты в луже крови. Исчезнувший полисмен!..»

М-с Шамуэй. Ни за что не согласилась бы хранить свои деньги в банке. Я считала: это восемнадцатый налет за неполный месяц, а еще неделя впереди.

Мак-Кинли. Деньги и драгоценности лучше всего держать почти на виду... в склянке для крупы на кухне. Естественность — лучшая маска для обмана. Сам я держу их просто под подушкой... а вы?

М-с Шамуэй *(уклончиво)*. Ну, я предпочитаю в разных местах!

Время от времени ею овладевают подозрения; тогда нос у нее становится острей и хищнее взгляд — при вытянутой, удлиняющейся шее. Сидя в ресторане, например, она, по внезапному вдохновению и очаровательно улыбаясь, меняет бокалы. Какое железное терпение приходится с ней иметь, хотя бы и во имя великой цели!

Мак-Кинли. Неужели и в самом деле вы еще не любили ни разу, миссис Шамуэй?

М-с Шамуэй. О, никогда!

М а к - К и н л и. Тогда что же связывало вас с мужем?

М - с Ш а м у э й. Я даже не помню, как случилась наша свадьба: кто-то посоветовал это нам в шутку, и потом вдруг стало поздно. Мы вообще редко виделись с моим супругом, разве только когда соседи собирались играть в покер. Он обожал лошадей и целые дни проводил на конюшне... или уезжал в Европу за своими историческими подковами...

М а к - К и н л и. Пардон... за чем, за чем?

М - с Ш а м у э й. Он собрал всемирную коллекцию подков всех стран, эпох и образцов. Это была его смешная страсть... Даже так и умер с подковой в руке! Ничто не изменилось в моей обстановке, когда я стала вдовой.

М а к - К и н л и. Почти невероятно!.. Оставлять дома молодую прелестную жену, чтоб рыскать по свету в поисках старого железа! Бог и должен был наказать его за это. И вам не удавалось задержать его при себе?

М - с Ш а м у э й. Для чего?

М а к - К и н л и *(вкрадчиво и благоговейно)*. Дети! Неужели вам не нравится божественный шум, который производят дети?

М - с Ш а м у э й. Я никогда не задумывалась об этом. Своих у нас не было, а любить чужих... О, мне всегда казалось это даже безнравственным. Покойный муж подозрительно относился ко всем, кто хотя бы разговор заводил на эту тему. Он говорил, что все выдающиеся маньяки и революционеры в своих кровопролитиях всегда ссылаются на бедствия детей... причем не своих, заметьте, а именно чужих, чужих!

М а к - К и н л и. Мне тоже приходилось слышать про существование такой теории: что все простительно во имя детей... даже преступление.

После этого разговора м-р Мак-Кинли почувствовал, что сковывавшие его дотоле цепи религиозных, моральных и иных ограничений стали значительно легче. Несомненно, небесное правосудие уступит ему эту старушку по сходной цене!

Как привередливо, с видом балованного знатока он выбирает сегодня меню и вино!

М а к - К и н л и. Простите, у меня так мало времени было изучить ваши причуды, миссис Шамуэй!

На сравнительно близкой эстраде появляется привлекательная, в сверкающей наготе, с довольно двусмысленными жестами танцующая мулатка. Подрагивающая музыка опять смешивается с магической мелодией мечты. Галерея напряженных, совершенно неприличных мужских лиц: «Как бы чего не пропустить!» Один Мак-Кинли смотрит не на девицу, а прежним, бархатным, без всякого выражения, созерцающим взором все в ту же точку на желтой, дряблой шее своей старухи. Медленно наползающий объектив раздвигает на весь экран этот ненавистный квадрат старой кожи — с порами, складками, завитком седых волос. Губы у м-ра Мак-Кинли почти пропадают в волевом нажиме, что позволяет судить, насколько созрело, оформилось одно сокровеннейшее решение у этого мечтателя. Да, он совершит свой роковой шаг, не дрогнув, разве только с содроганием отвращения! Видимо, при таких мыслях человеческий взгляд приобретает почти вещественную тяжесть,— точно прочтя их у своего спутника, миссис Шамуэй с каким-то напряженным лукавством оборачивается к нему.

М-с Шамуэй *(после долгого пристального взгляда)*. Скажите мне, мистер Мак-Кинли... но сперва дайте слово сказать только правду и не отводя глаз!..

Мак-Кинли. О, я готов.

М-с Шамуэй. Признайтесь, о чем таком нестерпимо ужасном вы подумали сейчас?

Ни единая черточка не дрогнула в лице м-ра Мак-Кинли.

Мак-Кинли. Я подумал, что почти всегда мы трагически упускаем подходящий момент уйти из жизни.

Ее глаза щурятся в поиске правильной разгадки.

М-с Шамуэй. Ваше сожаление, Мак-Кинли, распространяется и на меня?.. Мне даже почудилось, что вы хотите немножко помочь мне в этом.

Мак-Кинли *(бесстрастно)*. Оно распространяется на всех. Для себя я уже решил. На днях я навсегда прощусь с вами. *(В ответ на ее недоверчивый испуг.)* О нет, пока еще не то!.. Я просто решил уйти в сальваторий.

М-с Шамуэй. Что же, это так модно сейчас... как в прошлом веке уходили в монастырь! У меня две ближайшие подруги уже с месяц **там**. *(В раздумье.)* Вообще вам нельзя отказать в благоразумии, мистер Мак-Кинли. Конечно, если застигнет большая война, это новые налоги, сборы на калек, даже, говорят, очереди за маслом, как в Европе! *(Странная идея загорается у нее в глазах.)* А может быть, нам сделать **это** не откладывая и вдвоем?.. И мы с вами пролежали бы ближайшие триста лет вместе, где-нибудь на дне океана, как влюбленные голубки! Если бы вы согласились, мы могли бы завтра же и записаться...

Мак-Кинли *(печально качает головой)*. Это исключено, дорогая миссис Шамуэй. На двоих и чтобы не валяться где-нибудь без присмотра, в дрянной, наспех высверленной норе,— на это нужна сравнительно значительная сумма, а я не смогу реализовать свои ценности в столь короткий срок. Разумеется, если бы вы захотели доверить мне необходимую сумму, я бы мог все оформить завтра же... даже пока вы спите.

М-с Шамуэй. Ну, в таком случае разумнее было бы сходить туда вдвоем!

Мак-Кинли *(холодно)*. Простите... Что вы имели в виду, миссис Шамуэй?

Миссис Шамуэй медлит, двусмысленная саркастическая усмешка змеится по ее губам. Ее, видимо, ужасно возбуждает начавшаяся острая игра. У нее сейчас торжествующие, точечные, ненавистью сверлящие зрачки. Наверно, призраки невинных жертв вот с таким же выражением впоследствии навещают по ночам своих палачей. М-р Мак-Кинли надеется, впрочем, что за двести пятьдесят лет пребывания в целебном кокильоне подобная гадость как-нибудь выветрится из памяти!

М-с Шамуэй. Я думаю, затем хотя бы, что ведь потребуется личное присутствие при заключении контракта... *(Пауза.)* Между прочим, знаете, какой смешной случай мне рассказала на днях моя компаньонка, мисс Брэйк? Один аферист купил на женины деньги два места в самом роскошном сальватории и, представьте, за-

муровался **там** со своей любовницей. Правда, жена кинулась было за ним вдогонку, но где их там найдешь, в этих так называемых безднах непроглядного времени!

Следует поединок взглядов. Едва приметная скорбь разочарования читается в бесстрастном лице м-ра Мак-Кинли.

Диктор. Вот видите, мистер Мак-Кинли, а вы еще колебались, жалели старую чертовку, надеялись обойтись без **этого**. Среднему человеку трудно добиться удачи в условиях современной цивилизации! Теперь остается только запастись инструментом и засучивать рукава...

Мистер Мак-Кинли торжественно поднимается, складывает на столе салфетку, молча сует под нее очень крупный банкнот и, поклонившись своей даме, печально движется к выходу. Лакей провожает его в благоговейном полупоклоне. М-с Шамуэй кусает губы, она почти несчастна: ей страшно утратить, может быть, единственный в ее бездарном существовании шанс на счастье, которого в конечном счете она так и не узнала никогда. Не столько раскаяние, как боязнь прогадать толкает ее вослед ушедшему м-ру Мак-Кинли.

Ей удается догнать своего нового друга лишь на улице. Ночной мокрый город, и никого вокруг. Льет полноценный дождь: уж осень. Мак-Кинли уходит пешком, полный оскорбленного достоинства: это самая крупная и острая ставка в его жизни. Некоторое время м-с Шамуэй, такая же промокшая, почти умоляющая, молча, как девчонка, бежит сбоку.

М-с Шамуэй. Простите меня, мистер Мак-Кинли, если я заподозрила... лучшие из ваших побуждений. Столько дурных людей кругом, а я так суеверна, так перепугалась в тот раз, когда вы спросили меня о моем здоровье, только виду не подала! Ну, простите, пощадите же меня, если хоть немножко успели меня полюбить...

Без единого слова м-р Мак-Кинли переходит наискосок пустынную в этот час ночи огромную площадь. Если взглянуть сверху, то комично и даже трогательно видеть эту пару, шагающую прямо по лужам, под проливным дождем, которого оба они до самого конца не замечают. Значительно выше своего спутника, м-с Шамуэй всеми средствами пытается пробить-

ся в его трагическое безмолвие — задержать за рукав, заглянуть в глаза, встать ему на дороге.

М-с Шамуэй. К тому же я еще не заплатила вам того своего двойного проигрыша на скачках. И вот так всю жизнь, представьте: в нужную минуту у меня не оказывается с собою мелких денег... Ну, хоть взгляните на меня, дорогой друг!

Но м-р Мак-Кинли неумолим, хотя возможно, что, промочив ноги, чего терпеть не может, он и в самом деле не слышит сейчас чертовой старухи.

Диктор. Нет-нет, прищеми ведьме хвост, помучь, не сдавайся! Впрочем, поторопись: тебе еще надо заранее обзавестись ключом от ее квартиры, изучить расположение комнат, иначе ты просто не сможешь ни проникнуть к ней, ни разыскать потом что-нибудь в потемках!

М-с Шамуэй. Мне, право же, и самой так досадно за свою ошибку. Но поймите, я так одинока... Кроме приятелей покойного мужа, вдового кузена да вот еще компаньонки мисс Брэйк, у меня буквально никого на свете. Я одинока, трусиха, всего боюсь! Мои опасения тем более понятны в наш век, когда все кругом рвут свое счастье зубами прямо из рук судьбы...

Мак-Кинли *(глядя прямо перед собой)*. У вас болезненная фантазия, миссис Шамуэй. Вам надо найти более выносливого друга. У меня нет других женщин на примете... и, к сожалению, я не слишком пригоден для таких диких сцен ревности.

М-с Шамуэй. О бессердечный человек, вы и теперь еще можете вскружить голову любой женщине... Хотя, правду сказать, именно это качество с самого начала сделало вас для меня человеком-загадкой! Ну, проводите же свою Энн, мистер Мак-Кинли, в знак того, что вы перестали сердиться. Я живу совсем недалеко...

Мак-Кинли. Нет, только не сегодня, Энн. Не просите.

Промокшие и молчаливые, они еще одну улицу бредут рука об руку, давая время зарубцеваться душевному шраму, нанесенному этой размолвкою.

Все уладилось; и вот, как прежде, наши герои проходят мимо объектива — в парке, по набережной на закате,— держась за руки, как робкие любовники. Их диалог похож на воркование еще неплохо сохранившихся голубков.

Диктор. И многие, глядя на сентиментальную пару, вздыхали при мысли, сколько им пришлось преодолеть препятствий, прежде чем отыскали друг друга в сутолоке жизни.

При сменяющихся, как указано, пейзажах происходит один и тот же сквозной разговор.

М-с Шамуэй. Так почему же все-таки вы не женились раньше, милый Мак-Кинли?

Мак-Кинли *(со вздохом)*. Иногда друга приходится искать всю жизнь, прежде чем найдешь.

М-с Шамуэй. Как жаль, что мы не встретились с вами раньше, тогда! Я была моложе и, по общим отзывам, гораздо лучше. Говорят даже, у меня была красивая спина. Некоторые намекали даже, будто со спины я напоминаю...

Долгое, соединяющее их молчание.

Мак-Кинли *(тихо и кротко)*. Так кого же вы напоминали со спины?

М-с Шамуэй. Не настаивайте, это лишнее.

Мак-Кинли. Я умоляю вас!

М-с Шамуэй. Но, боже, зачем, зачем вам это?

Мак-Кинли. Ну, просто так... чтоб знать.

М-с Шамуэй. Мне стыдно, пожалейте меня, Мак-Кинли!

Мак-Кинли. Я хочу.

М-с Шамуэй. Мне так трудно выговорить то слово! Боже, помоги мне! *(Умирающим голосом.)* Ну, на Джоконду...

Благоговейная пауза.

Мак-Кинли. Так вот, запомните, Анна: вы для меня и сейчас такая же, какою были тогда!

М-с Шамуэй *(трепетно)*. О, имейте в виду, несчастный Мак-Кинли, я жадная! Вам придется доказывать это всю жизнь!

За время этого диалога, где слова перемежаются вздохами или пожатием рук, день постепенно сменяется вечером, и вот уже совсем к ночи м-р Мак-Кинли со своею дамой добираются до старого добротного здания, видимо, с дорогими квартирами и в фешенебельном квартале. Пользуясь пустынностью улицы, поздним часом и отсутствием уличных свидетелей, можно и задержаться чуть дольше положенного у подъезда.

М-с Шамуэй. Ну, вот я здесь и живу... довольно уединенная улица, правда? Покойный муж не терпел уличного шума... людского в особенности. *(Продолжая ранее начатый разговор.)* Но успокойте же меня! Значит, вы полагаете, что, пока мы с вами будем дремать у себя в сальватории, за двести пятьдесят лет эти ужасные вояки утихомирятся наконец на земле?

Мак-Кинли. Безусловно. При нынешних темпах военного прогресса к тому времени на земном шаре уж ровно ничего не останется. Нечего станет разрушать, некого покорять, нечему завидовать.

М-с Шамуэй. Где же мы станем жить тогда? Бегать наподобие бездомных кошек посреди гадких руин?

Мак-Кинли. Ну, к тому времени успеет заново отстроиться очередная за нами цивилизация.

М-с Шамуэй. Мне нравится ваш оптимизм, мистер Мак-Кинли. *(Мечтательно.)* И все же больше всего, больше, чем войны, я боюсь, пожалуй, старости, которая однажды тихо постучится в дверь!..

Мак-Кинли. Мы встретим ее у камина вдвоем!

М-с Шамуэй. Благодарю, милый друг! *(Со вздохом.)* Ну как жаль, что мне пора, а то мисс Брэйк увидит нас из окна.

Мак-Кинли. Который у вас этаж?

М-с Шамуэй. Четвертый... *(В ответ на попытку своего кавалера взять за руку, войти в подъезд вслед за нею.)* О, ради бога, не надо, только не сейчас! Вот в средине будущей недели мисс Брэйк уедет на месяц к родным на Запад. И я останусь одна, совсем одна... и в вашей власти... *(Шепотом.)* Тогда!

Мак-Кинли *(страстно)*. Но почему вы огорчаете меня, почему нельзя сейчас... почему?

М-с Шамуэй. Ну как вам сказать, дорогой... Мне просто хочется спасти вашу душу!

Вследствие краткой и безмолвной борьбы за обладание дверной ручкой миссис Шамуэй неосторожно выпускает из руки свою сумку, часть содержимого разлетается вокруг — бумажки и туалетные вещицы.

М-с Шамуэй. Вот и доигрались...

Мистер Мак-Кинли на коленях у ее ног: собирает рассыпавшиеся по тротуару мелочи своей дамы.

Диктор. Не зевай, Мак-Кинли, ключ от двери лежит прямо под тобой... нет, ступенькой ниже. Временно наступи на него ногой, пригодится. Так... ура, сдвинулись наконец! Шепни ей понежнее «спокойной ночи», обожги ее жарким взором на прощание!

Следует корректный мужской поклон в ответ па воздушный, несколько затянутый жеманный поцелуй миссис Шамуэй. Она уходит, печально оглядываясь.

Оставшись в одиночестве, м-р Мак-Кинли роняет перчатку, чтобы иметь предлог, не вызывая подозрений со стороны возможного наблюдателя, нагнуться за роковым ключом. Некоторое время затем он стоит с почтительно поднятой головой и без шляпы, устремив взор на этаж своей дамы.

Диктор. Ладно, сматывайся к черту, артист... Чего доброго, ее компаньонка заприметит твое лицо. Теперь пора подумать и о топоре!

Надпись: «В ту же ночь...»

По дороге домой он мимоходом, как бы по рассеянности, остановился у знакомой витрины с разложенными там топорами, тесаками, косарями и другими надежными инструментами для убоя и разделки туш.

Надпись: «В ту же ночь...»

Перед тем как лечь в кровать, уже раздетый, м-р Мак-Кинли тщательно пересчитывает оставшуюся в карманах наличность. Раздумчиво поглядывая на мигающую в окне рекламную иллюминацию сальваториев, он припоминает дневные расходы, потом переправляет записанную на дверном косяке оставшуюся сумму сбережений — 930 на 792.

Надпись: «В ту же ночь...»

Он спит, и ему опять снятся охваченные пламенем деревья, бегущие солдаты, вокзалы в пору эвакуации, убитые с затоптанными лицами, и еще дети, дети... заплаканные малютки везде. Проснувшись, он сидит впотьмах, вслушиваясь в жалкий и тянущий за душу неизвестного происхождения детский плач.

Диктор. В общем, выпала хлопотливая неделя: до заключительной развязки времени оставалось в обрез — подкопить мужества и обзавестись кое-каким необходимым для задуманного предприятия инвентарем...

Тот же облюбованный железо-скобяной магазин, и в нем стенд со всевозможными мясницкими приборами. М-р Мак-Кинли пропускает все это через свои руки, выбирая топор поухватистей, даже, пользуясь отсутствием свидетелей, прикинул один под мышку. Нерешительность: может быть, взять вон тот, удобный, исторически испытанный стилет из арсенала староанглийских подкалывателей? Нет, топор верней! Когда поднял глаза, на него посматривает сбоку чрезвычайно проницательный приказчик.

Продавец. Боитесь, что несколько тяжеловат? А попробуйте еще вот этот, вскиньте на руку!

Мак-Кинли. Мне хотелось бы что-нибудь полегче, но вместе с тем...

Продавец. Зато наша сталь высшей марки, без износу: никакая кость не устоит. *(Иронически.)* Если угодно, в подвале у нас найдется пробный чурбак для подобных вам скептических покупателей...

Диктор. В непогожие вечера наш герой занимался холостяцким шитьем на досуге, приспособляя сезонную одежду к потребностям текущего дня.

Вечер и дождик в окне. Сидя на кровати по-портняжьи, с поджатой ногой, машинально посасывая то и дело прокалываемый палец, м-р Мак-Кинли производит какую-то перешивку в своем пальто. Для надежности в ход пущена особо толстая нитка, почти дратва. Нет, портной из вас, м-р Мак-Кинли, никогда не получится! С непривычки грубая, почти кулевая игла трудно входит в толстый драп, приходится протаскивать ее плоскогубцами. Крупным планом видно все рабочее поле: м-р Мак-Кинли прикрепляет к подкладке у плечевого шва широкую тряпичную петлю. Затем, с помощью надетой на лампу картонной коробки убавив свет, предусмотрительно став спиной к объективу, м-р Мак-Кинли примеряет что-то в углу, затем снова терпеливо шьет, машинально высвистывая мелодию мечты.

Девчоночий голосок окликает его из-за двери.

Девочка. Мама спрашивает у вас, мистер Мак-Кинли, не надо ли помочь вам? У нее нашлась игла потоньше.

Мак-Кинли. Спасибо, маленькая, я уже пришил свою пуговицу!

Девочка. У вас такая толстая пуговица?

Мак-Кинли. Нет, но очень ценная, и я боюсь ее потерять!

Наконец непривычное дельце совсем улажено. М-р Мак-Кинли примеряет пальто и все так же, украдкой от объектива и замочной скважины, вправляет в петлю под мышкой какой-то неудобный продолговатый предмет. Затем — пример странностей человеческого поведения наедине с собой: м-р Мак-Кинли застегивается, извлекает зачем-то из короба в углу, верно, от отца сохранившийся черный котелок и в этой необъяснимой маскировке не подходит, а скорее как-то сбоку вдвигается в доступное нам поле большого поясного зеркала. При этом задетая ногой за шнур лампа со стеклянным дребезгом, десятикратно усиленным в воображении, разбивается о пол. О, теперь уж не до нее! Освещенный подрагивающим рекламным светом из окна: мрак — свет — мрак, м-р Мак-Кинли с головою набочок глядит на нас из черноты зеркальной рамы, и, возможно, это наиболее страшный момент в предполагаемом фильме.

По припухлому бугорку возле подмышки слева угадывается обушок спрятанного орудия, которым в конце недели будет распахнута наконец желанная дверь в будущее.

Когда, вот так же под вечерок однажды, м-р Мак-Кинли двинулся наконец привести в исполнение свой план, все это, столь чудовищное вначале, имело теперь вполне обжитой вид, даже вызывало несколько легкомысленный отклик у подсматривавших за ним соседей.

Чувствуя на себе чужие глаза, м-р Мак-Кинли, как всегда, несколько торопится, спускаясь по лестнице.

> Диктор. Теперь уж не спешите, мистер Мак-Кинли, не навлекайте на себя лишних подозрений. Шагайте спокойно и торжественно... ну как если бы на банкет к шефу по случаю юбилея или... мало ли там куда ходят солидные мужчины ваших лет!

И вот м-р Мак-Кинли приметно замедляет походку.

> И не старайтесь прятать этот предательский выступ у подмышки. В вашем возрасте самая статная мужская фигура имеет свойство несколько портиться — в уплату за уважение, достаток и покой!

Двери в этажах приоткрываются тотчас по проходе злосчастного холостяка, и вот уже между этажами в пролете лестницы происходит оживленное, громким шепотом обсуждение невероятного происшествия.

Перекличка жильцов:

— Видали, как вырядился? Чистый индюк! Свататься пошел.

— Пришла очередь и за нашим праведником!

— Да, бедняжка, не иначе как прямиком направился в свой капканчик.

— Вот бы на приманку-то посмотреть... Святые обожают худеньких: худенькие — не так грешно!

— А пойдем полюбуемся, если время есть...

Мак-Кинли отправляется по теперь уже ему и нам известному адресу, но сперва, кажется, он нарочно кружит, делает

петли по всем правилам конспирации, пока на глухой, безлюдной улице не удостоверяется наконец, что он предоставлен самому себе.

Тем временем наступил вечер, а в пустынном районе у м-с Шамуэй гораздо ранее, чем в других местах, наступает ночное затишье. Пора было бы, пожалуй, и к делу приступать, но м-р Мак-Кинли медлит, потому что идет т у д а странным кружным путем сомнений и колебаний не приспособленного к такому акту человека.

Отрывочные, противоречивые и вперебой мелодии сопровождают его скитания, как и мысли. Боже, какой это громадный город, если брести наугад! В самом деле, судя по медлительным стрелкам всех встречных циферблатов — церковной колокольни, вокзала и вот здесь, прямо под рукавом,— время в нем практически до безумия бесконечно, если не тратить его особо крупными купюрами.

Иногда Мак-Кинли останавливается в самых неожиданных местах, даже среди шумного движения улицы, и тогда происходит беглый диалог с совестью, со здравым смыслом или с кем-то повыше, пока прикосновение полицейского либо осатанелый автомобильный гудок не возвратят его к действительности.

Д и к т о р. А может быть, и впрямь не стóит, Мак-Кинли?.. Не поискать ли более подходящее взамен?

М а к - К и н л и. А что... боишься — бог? Я и сам все время думаю о том же... Надо полагать, он разберется в моих обстоятельствах!

Д и к т о р. Не в этом дело: на худой конец, отвернется, будто не заметил, как он обычно поступает при всех очевидных непорядках на земле. Тут другое.

М а к - К и н л и. Значит, тебе жаль старуху... или что?

Д и к т о р. Да нет, как раз и старуха для твоей цели первый сорт, но... пока строговато на этот счет, а, как правило, такие грешки непременно раскрываются в конце концов, и можно вместо сальватория, черт его побери, попасть в тюремный крематорий.

М а к - К и н л и. Ты, кажется, намекаешь, что следует отложить?.. Надолго?

Д и к т о р. О, навсегда, дорогой Мак-Кинли! Лучше выпей себе большую рюмочку на сон грядущий, и пусть над тобою исполнится судьба большинства. Да и на кой

черт они тебе в конце концов — вольному гражданину свободной страны — малютки, хлопоты, тревоги... *(совсем вкрадчиво)* да и самая эта хлопотливая жизнь зачем?

Надоумясь, м-р Мак-Кинли заходит в шумный бар и, сквозь толпу протолкавшись к стойке, продолжая ту же мысленную беседу, жестом заказывает себе нечто среднего размера в подкрепление духа.

Диктор. И вообще насчет крови... Ее и с рук-то до конца не смоешь, а уж если счастье ею пропитается...

Мак-Кинли *(вслух)*. Я и сам про нее все думаю... кровь. Но покажи мне туда другую дверь!.. И почему медленно можно, а сразу — нет? *(Он бросает бармену монету и уходит, забывая про оплаченное питье.)*

Двое рабочего вида, соседи по стойке, молча переглядываются после последней реплики незнакомца.

— Слыхал?.. Видно, не в себе. Чего-нибудь натворит в эту ночь.

— Придется приглядеть за ним. Как у тебя со временем?

— Пошли...

Двое отправляются по пустой улице за Мак-Кинли, каждое, чем-то алогичное движение которого подтверждает их подозрения. Слежка проходит удачно, пока внезапно, из-за угла, не появляется до ослепительности красивая, необычная в каждой подробности своей ночная девица. Она проходит мимо почти впритирку, опаляя взором, такая искусительная, что добровольные сыщики околдованно провожают ее глазами до ближайшего перекрестка,— когда же вспомнили про Мак-Кинли, того и след простыл.

Снова один в поисках решимости м-р Мак-Кинли бредет по городу,— поразительные картинки ночи попадаются ему по дороге. Вот насквозь промокшая в непогоде, оплывшая от дряхлости старуха газетчица неопрятно, руками и с расстеленной на коленях бумажки ужинает на своей скамеечке, под сенью кричащих, с голыми девками, журнальных обложек. Вот проехала тюремная автокарета с качающейся головой узника или жандарма в решетчатом окне. Вот у витринки ноч-

ного варьете подросток с руками по локоть в карманах разглядывает выставку образцово совратительных красоток. И снова мимо Мак-Кинли дважды, и, как ни странно, в одну и ту же сторону, проходит давешняя, зловеще развеселая, в фантастическом наряде, ночная девица.

А то еще м-р Мак-Кинли, опершись о перила набережной, наблюдает цветные огни плывущей по реке самоходной баржи. Вот, свесясь за ограду виадука, он бессознательно считает цистерны проходящего под ним длинного товарного состава.

— Каждый имеет право на счастье в своей неповторимой жизни... — куда-то в последний клуб пара роняет Мак-Кинли.

Диктор. Но ты собираешься добывать его самовольно... в свободном обществе, где и без того все направлено к этой цели... правда, с соблюдением разумной очередности. Не бойся, твое страдание не пропадает: не оплаченное на этом свете заносится на наш текущий счет там.

Мак-Кинли. Значит, добро состоит в примирении со злодейством?

Диктор. Ну, знаешь, поищи себе собеседника посильней. В этой вечной путанице сам черт ногу сломит... Да не он ли и подсунул нам с тобой эту вредную старуху? Помяни мое слово, она еще непременно выкинет какую-нибудь подлую штуку. Черт любит потешаться над бедными.

Мистер Мак-Кинли бредет, не подымая головы, пока глаза не натыкаются на тяжкие, гранитные, во всю ширину взгляда, ступени. Он поднимает голову — перед ним храм, ни души вокруг. Неожиданно м-р Мак-Кинли поднимается в этот торжественный и гулкий полумрак; скамьи, алтарь, немногочисленные свечи перед статуей Марии. Он заходит в тень от колонны и понуро опускается на край скамьи.

Мистер Мак-Кинли горбится, отчего виднее становится выпирающий близ лопатки, слева, обушок топора. Так вот куда привели его разногласия с самим собою!

Некоторое время спустя появляется священник. Кто подал ему сигнал о ночном госте? Неслышно и как бы колеблясь, он зигзагами приближается к сидящему Мак-Кинли. Благообразная внешность и ясный взор придают его молодому лицу и фигуре осанку старшинства.

С в я щ е н н и к. Я давно слежу за вами. Если вы пришли молиться...

М а к - К и н л и *(вздрогнув)*. Я пришел думать.

С в я щ е н н и к. Думать в храме — значит просить совет у неба, а вы смотрите вниз, во тьму. Могу ли я помочь вам?

М а к - К и н л и *(заносчиво)*. Э, знаете что... вам лучше не ходить со мною в ночной лес, отец!

С в я щ е н н и к *(с улыбкой)*. Для тьмы у нас имеется испытанный светильник. Так о чем же ваши недоумения?

Судя по всему, м-ру Мак-Кинли непривычно вести такие разговоры.

М а к - К и н л и. Я искал: должно ли зло непременно предшествовать злу или...

Мучительная для м-ра Мак-Кинли пауза.

С в я щ е н н и к. Что и л и? Уточните свои обстоятельства, сын мой, чтобы мне скорее найти вас в ваших потемках.

Д и к т о р. Он стесняется, ваша милость... брякнуть боится что-нибудь неподходящее в таком строгом месте.

С в я щ е н н и к. Ничего, откройтесь... Дайте свету войти в вашу душу!

М а к - К и н л и *(впервые так волнуясь на протяжении фильма)*. Ладно, вот... Я солдат, прошел сквозь огонь, кровь, любое дерьмо. И я, заметьте, смирный солдат, за мной не числится особых подвигов, но у меня главная медаль... я бы сказал, за кроткое поведение. Я всегда считал, так меня учили: значит, богу нравится, чтобы каждый из-за дерева подстерегал ближнего с дубиной... Но я полагал, что в грозную, последнюю минуту он пощадит детей. Нехорошо, святой отец, что малышам так часто приходится оплачивать зверство старших. И хотя уж давно стало очевидно, куда покатился мир, но я все твердил себе: «Рано, рано, погоди...» Все путался: становится душа злою лишь по совершении зла или от одной мысли о злодействе? И вот я пришел спросить: надо ли непременно ждать и позволить злу убить законное число детей, чтобы затем получить право обезвредить его?

Бесстрастное дотоле лицо священника оживает, зрачки его чернеют, властнее становятся руки, привычные к наслаждению — усмирять разбушевавшиеся стихии...

Священник. Вы имеете в виду зло, происходящее от частных лиц, финансовых корпораций или всей нашей... нередко порицаемой социальной системы в целом, сын мой? О каких именно правах думаете вы?.. и о каких способах предварительного пресечения подразумеваемого зла? *(Указав взглядом на мадонну.)* Не будем омрачать святую тишину и пречистый лик произнесением слова, обозначающего кровавое и неправомерное насилие меньшинства. И возьмете ли вы на себя ответственность, даже в ваших нынешних сумерках, безошибочно отличить ложь от истины? И не легче ли для вас доверить суд и возмездие в этом вопросе богу своему и государству?.. Почему вы замолкли?

Диктор *(несколько солдатским тоном виноватого смущения)*. Он думает сейчас, ваше преосвященство, что нынешнее государство соблюдает не мораль, а лишь бухгалтерский расчет да полицейский порядок...

Мак-Кинли *(неожиданно страстно)*. И вообще оно вмешивается лишь по совершении зла. Значит, добро должно слышать детский крик, призыв на помощь — и ждать, терпеливо ждать за дверью, пока не созреет зло?

Священник. Да... иначе ваше добро само становится злодеянием! Во всяком случае, кто смеет различать их назначение и присвоить себе высшее знание, которое в полном объеме принадлежит лишь единому существу во вселенной?

Мак-Кинли *(раздумчиво подняв на него глаза)*. Вы полагаете, он получает, по крайней мере, наши земные газеты?.. Вот бы узнать, что он думает, к примеру, о водородной бомбе!..

Долгая пауза. Священник стоит с закрытыми глазами.

Священник *(холодно и строго)*. Это вечный наш искуситель мучает вас на сон грядущий. Придите со своим бременем завтра, при солнце: уж ночь...

Мак-Кинли. Э, дорогой отец, завтра у меня хлопотливый день, будет некогда и, может быть, уже беспо-

лезно. *(Поднимаясь.)* Но, впрочем, мне пора, и вы достаточно убедили меня, святой отец.

Лишь по его уходе священник бросается вслед.

Священник. Остановитесь там, человек, не бегите!.. В чем, в чем я убедил вас?

Священник выбегает на паперть. Мокрый после недавнего дождя, теперь совсем уже осенний ветер тотчас обминает рясу на его длинном, сухощавом теле. Поздно, никого нет... Только сверкающую от дальнего фонаря световую дорожку на сырой брусчатой мостовой пересекает все та же, что трижды попадалась м-ру Мак-Кинли, разряженная, с вихляющими бедрами блудница. Все мокро кругом, все шевелится от пронзительного ветра, кроме нее одной. Что-то бесконечно древнее в финикийском разрезе ее глаз, изобилии перстней на пальцах, в громоздкости головного убора. Торжествуя и косясь на священника, прищемив локтем приподнятые, как бы вспенившиеся юбки, она прикрепляет к подвязке высокий, под самое бедро, сквозной чулок.

Священник. Повелеваю тебе, вечный враг, верни мне немедля эту заблудшую душу!

Он, как в заклятии, простирает вперед свою властную, костлявую руку. Девица медлит с ответом, усмехаясь в знак очевидного равенства.

Дьявол. О, как ты надоел мне, святой отец! Я же и без того уступил тебе очередь... Так чего ж ты чикаешься с ним целый вечер? — раздраженно произносит он сиплым мужским голосом и исчезает с небольшим, допустимым в двадцатом веке дымком.

Отсюда м-р Мак-Кинли уже без задержек направляется к месту заключительного действия, не размахивая руками на ходу, вследствие спрятанного под мышкой постороннего режущего предмета. Он даже слегка наклоняется на виражах, его точно несет туда адская воля. Впрочем, временами наш нерешительный убийца останавливается, чтобы прислушаться к шагам ночного полисмена или перезвону башенных куран-

тов. Должен быть налицо весь положенный для подобных происшествий старинный романтический ритуал.

Добродушный, под хмельком, верзила осведомляется у м-ра Мак-Кинли, какая это улица, и вдруг, наполовину отрезвев, шарахается назад от его блуждающего взора. Мало ли на что наткнешься ночью и спьяну в богатом и грешном современном городе!

Наконец-то знакомый дом со старухиным сокровищем. Минуя лифт, м-р Мак-Кинли поднимается на четвертый этаж с паузами не то предосторожности, не то одышки. Прежде чем открыть своим ключом дверь, он, к великой нашей неожиданности, надевает на лицо заправскую маску. В первую очередь надлежит удостовериться в отсутствии компаньонки! Правильно, старуха не лгала: мисс Брэйк в отъезде. Несколько дольше дозволенного м-р Мак-Кинли возится в потемках прихожей: видимо, высвобождает топор. Трещит какой-то шов, и слышно тихое, сквозь зубы, чертыханье. В каждом движении м-ра Мак-Кинли сквозит вопиющая неопытность: как-никак он осуществляет подобную операцию впервые!

По потолку, слабо освещенному мерцающим рекламным светом, крадется его кургузая тень, вооруженная топором, который до сих пор целиком так и не был еще показан. Короткое колебание: куда же теперь, направо или налево? М-р Мак-Кинли приоткрывает на пробу одну из дверей. Чутье не обмануло: оконные шторы наглухо закрыты, но спинка старухиной кровати впотьмах отчетливо мерцает позолотой.

> Д и к т о р *(шепотом)*. Вот именно, в постели: и ей и тебе удобней! Лучше было бы без пальто, легче работать, но... все равно. Теперь смело вперед, дорогой Мак-Кинли, и, пожалуйста, не промахнись, а то крику с бабой не оберешься.

Однако еще до взмаха топором, то ли из опасения промазать в потемках, то ли от скверного предчувствия, м-р Мак-Кинли предварительно шарит рукой подушку. Неожиданный поворот: кровать пуста. Кошка спрыгивает прямо под ноги. Мак-Кинли едва успевает отпрянуть назад, и это становится причиной долгого, расслабляющего сердцебиения.

> Д и к т о р. Что я тебе говорил?.. Оказывается, она еще не возвращалась, твоя подружка. Вот и гадай, с кем,

с кем же она, чертова баба, закатилась на всю ночь. Этак не мудрено и рога раньше срока заработать!..

Крайне огорченный случившейся заминкой, м-р Мак-Кинли тем не менее совершает пробную, до возвращения хозяйки, разведку. Ни в туалетных ящиках, ни в странно беспорядочном ворохе бабьих тряпок, сваленных у стены, нигде не видать и следа мало-мальски пристойных ценностей. Верно, где-нибудь в полу, на потолке?.. Жаль, нет пока времени выстукивать стены.

В бывшем, по соседству, кабинете покойного супруга м-с Шамуэй также отсутствуют какие-либо дорогостоящие предметы. Опасно зажигать свет: м-с Шамуэй может заметить с улицы при возвращении. Все же м-р Мак-Кинли примечает внушающий надежду стенной шкаф до потолка. Раздернутые, на роликах дверцы с визгом уходят в положенные им щели. Там во все пространство знаменитая коллекция этих дурацких подков — наиболее редкие в коробках, на вате. Все пронумеровано, снабжено ярлыками с датами, именем владельца, обстоятельствами происхождения. Подвешенные на шнурках издают мелодичный перезвон. Шикая на них, м-р Мак-Кинли потерянно берет одну — «подкову Буцефала, коня Александра Македонского», потом другую...

Надпись на ярлыке: «Левая передняя — с коня, на котором Магомет II по взятии Константинополя въехал в залитый кровью храм Софии. 1453».

Из богатой рамы в простенке за странным поведением м-ра Мак-Кинли наблюдает упитанный, с абстрактным, как коленка, лицом джентльмен в жокейском кепи с козырьком,— видимо, сам лошадник, малопочтенный м-р Шамуэй.

Диктор. Хорошо еще, что ты не повредил топором подушку... Это сразу насторожило бы твою красавицу. Но теперь она может вернуться каждую минуту. Марш пока в чуланчик, только тише!

Мистер Мак-Кинли возвращается в прихожую и мужественно пристраивается в душном стенном шкафу, на вместительном, в латунных обручах, кофре, с неразлучным теперь инструментом на коленях, под ворохом навешанной одежды.

Ба, да он еще и фонариком запасся вдобавок; как добросовестно все предусмотрено у привыкшего к аккуратности клерка,— буквально все, кроме ничтожных мелочей!.. Постепенно теплое пальто и теснота помещения становятся источником изнурительных страданий м-ра Мак-Кинли. Весь в поту, вконец измученный, он выбирается наружу — избавиться от пальто и парой гимнастических приемов поразмяться кстати. Но, боже, как же проголодался он за один этот час ожидания, да и от прогулки по городу, как видно! По счастью, кухня рядом, так что он вполне успеет подкрепиться чем бог пошлет и затем добежать с топором до прихожей, едва заслышит звук ключа в замке. И тут вместе с носовым платком — вытереть досадную испарину со лба — на плиточный пол со звоном вылетает украденный ключ. Снова шикая и держась за словно обезумевшее сердце, м-р Мак-Кинли созерцает лежащую под ногами улику.

Диктор. Перестань!.. Ведь не в канаве же спала твоя старуха всю эту неделю! Значит, на другой же день она просто обзавелась другим ключом! Ничего, подкрепись пока... Она может вернуться, и вдвоем с каким-нибудь верзилой. Впрочем, раньше утра не заявится теперь.

Пользуясь световыми бликами с потолка, м-р Мак-Кинли разогревает себе старый кофе. Повезло: в шкафчике поблизости нашлась черствая булочка, молоко, еще какая-то снедь. Бессонное, бездельное сидение — худшая мука на свете. Хорошо еще, что на полке виднеется крохотный радиоприемник... Как трудно иногда под старость устоять перед даже таким ребячьим соблазном. Что ж, всякий пожилой человек имеет право на какие-то сравнительные удобства! Проголодавшаяся кошка трется о ногу м-ра Мак-Кинли, он наливает ей в блюдечко молока.Так он проводит в темноте бесценное в его возрасте время, с головой набочок и придерживая наготове свой убойный прибор. Слабая музычка, подобно живительной росе, сочится в его истомленную ожиданием душу. Пожалуй, лучше всего сопроводить его переживания этюдом «Блуждающие огни» Листа. Стрелки кружатся по циферблату... И вот гран-гиньоль превращается в заправскую буффонаду.

Тем временем рассвет уже глядится в окна. Вдруг желанный и пугающий звонок... Бросай, пора на работу, дорогой Мак-Кинли!

Диктор *(шепотом и сбиваясь с дыхания)*. Только не спеши, ради бога, дай ей войти в прихожую, а то она у тебя вывалится наружу, а потом хлопочи!.. Лучше переждать. И берегись: это злонамеренное существо непременно выкинет очередную гадость в последнюю минуту!

Изготовившийся м-р Мак-Кинли терпеливо, с поднятым топором ждет старуху за портьеркой.

Диктор *(в раздумье)*. А впрочем, за каким чертом и, главное, кому же, кому было ей звонить, раз у нее имеется запасной ключ, а мисс Брэйк уехала в отпуск? Ну-ка, высунь нос наружу, кто еще там?..

Через дверную щель м-р Мак-Кинли осторожно выглядывает на лестничную площадку. Там стоят три бутылочки с молоком.

Мистер Мак-Кинли машинально плетется с ними в спальню миссис Шамуэй — еще раз удостовериться в чем-то, на всякий случай. В самом деле, обреченная миссис пока не возвращалась. В томлении духа он раздвигает оконную штору: воздуха!.. За окном роскошное пробуждение осеннего неба, города и, в туманном просвете между сорокаэтажными громадами, не очень далекой реки. Хороши работяги-буксиры в утренней дымке! Лишь теперь, изнуренный бессонной ночью и ожиданием, герой примечает на туалетном столе прислоненное к зеркалу письмо со своим именем на конверте: послание от м-с Шамуэй. Он вскрывает его трясущимися руками. Смутным подозрением прищуренные глаза пробегают строку за строкой, и потом память монотонно и голосом самой беглянки повторяет их слово в слово окончательно раздавленному м-ру Мак-Кинли.

Некоторые слова звучат неразборчиво, произнесенные бегло и как бы издалека.

Письмо

«...но я все объясню вам. Меня искренне привлекли некоторые очаровательные странности в вашем всегда таком загадочном поведении, особенно ваш глубокий, бархатный взор, каким смотрят в могилу какого-нибудь осточертевшего лица. Подобно вам, я увлеклась азартной

игрой постоянно находиться в смертельной опасности и благодарна вам за восхитительные минуты высшего ужаса в ту ночь, у подъезда, когда вы так страшно наступили на подброшенный мною ключ. Я рассчитала, что раньше среды вы не соберетесь убивать меня; и, как ни хотелось мне пережить мгновение заключительного страха, мой ревнивый друг не позволяет мне этого маленького наслаждения... Словом, уже два дня я нахожусь с ним в одном из тихоокеанских сальваториев: говорят, под толщей воды безопасней всего! *(Чтение письма прерывается могучим стоном м-ра Мак-Кинли, который искренне полагает себя ограбленным.)* Сожалею также, дорогой, что не успела уплатить вам свой безумный проигрыш на скачках: мой друг торопит меня, а оставлять деньги в пустой квартире я не имею привычки, чтобы не развращать прислугу. Но я дала распоряжение адвокату, и вы можете взять себе в возмещение и благодарность оставленную мне мужем единственную в мире коллекцию подков...»

Раздирающий мужской вопль душевной скорби и обманутых вожделений оглашает квартиру, после чего м-р Мак-Кинли опускается на кровать и разражается почти детскими слезами о жестоко поломанной игрушке.

Диктор. Какая досада в самом деле!.. И главное, кто же он, твой соперник, кто? Тот проповедник со сладким голосом и вставными зубами?.. смазливый коммивояжер, который однажды подозрительно переглянулся с м-с Шамуэй на церковной паперти?.. нахальный официант с глазами, как вишня в мадере?.. или боксер, на которого она целый вечер поглядывала, как девчонка на лакомство?

Все эти возможные соперники чередой проходят на экране и в памяти м-ра Мак-Кинли. Вслед за тем он вскакивает и с безумной энергией, навзрыд выкрикивая, почему-то по-французски, «канайй», «канайй», что означает в переводе «мошенница», «каналья», начинает образцовый погром в квартире обманщицы. Он проходит вихрем по квартире, опрокидывает зеркало, топчет интимные дамские принадлежности беглянки, каминными щипцами протыкает господина в жо-

кейском кепи, приводит в непоправимый беспорядок коллекцию подков, сокрушает своим топором ценный диван... Потом стоит с опущенными руками, истерзанный и постаревший, в позе крайнего утомления,— ограбленный грабитель.

Весь тот гиблый, черный свой день м-р Мак-Кинли дотемна проводит на улице. Это первый прогул в его жизни... То и дело он оказывается в самых неподходящих местах, откуда его выдворяют не всегда вежливо. Наполовину уже бродяга, он ест пирожок в сквере. Дремлет, прислонясь к мачте с проводами высокого напряжения. А то, подобно пьяному, виснет на перилах набережной, зачарованно смотрит с виадука на соблазнительный, грохочущий под ним в этот час поезд.

Настроению м-ра Мак-Кинли вполне соответствует и погода: холод, слякоть, дождь. Уж вечер, и м-р Мак-Кинли бредет наугад по парку, сквозь усилившийся к ночи туман. Его никто нигде не ждет, он не нужен никому на свете, так что у него уйма свободного времени. Навстречу ему попадаются лишь такие же отчаявшиеся искатели шальной удачи и, взглядом оценив по достоинству шансы на ничтожный от Мак-Кинли барыш, тают за спиной в плывучей мгле.

Только ветер, неотступный покровитель бродяг, волочит за м-ром Мак-Кинли кучу палой листвы — постель бездомных. Порою листья с дружным шелестом перегоняют его и ждут впереди, чтобы дальше тронуться вместе. Неразличимые в отдельности, они сливаются в сплошное грязное пятно, за исключением лишь одной, белеющей поверх вороха, непонятной пока бумажки. Остается впечатление, что последняя в особенности ластится к м-ру Мак-Кинли, непременно хочет пригреться в тепле его ладони. Вот он дремлет — и она терпеливо ждет возле его ботинка, двинется в путь — она не отстает.

Потом происходит сюжетно обоснованное, потому что с последующей отменой, чудо. М-р Мак-Кинли замечает наконец и поднимает неотвязную: билет государственной лотереи!.. И м-р Мак-Кинли устремляет благодарный взор к непогодному небу. Сверка с помещенной в газете таблицей при рассеянном свете фонаря, хотя заранее ясно, что билет выиграл и сумма выигрыша — в обрез на покупку места в сальватории... И тут все должно обернуться праздничной стороной. Но м-р Мак-Кинли никуда не торопится пока, он все сидит на своей мокрой скамье в безлюдном парке, недоверчиво поглядывая на подсунутую судьбой бумажку.

Диктор. Вот видишь: провидение раскаялось! Все они там страсть любят помучить, прежде чем наградить... если только не собираются испробовать на тебе еще более сумасшедшую затею. Все равно, убегая от несчастий, выпей во второй раз в жизни самую большую рюмку за предстоящее тебе будущее!

Держа в кармане квитанцию на свое чем-то сомнительное счастье, м-р Мак-Кинли спускается в ярко освещенный бар, вертеп на средний вкус и цену. Он бредет среди полупустых столиков, привлекая всеобщее внимание своим необыкновенным видом: чего стоит одна его бесповоротно испорченная шляпа! Среди полупустых столиков он выбирает себе укромное местечко в углу: здесь стол большой, как двуспальная кровать, есть на чем справить победу. Подошедшему официанту м-р Мак-Кинли без выражения в лице заказывает вино, много вина, поочередно все названия из прейскуранта, повешенного в рамочке на стене. По необъяснимой прихоти новичка в этом деле некоторые он заказывает даже в двойном количестве — самое название ему нравится, форма ли бутылок или цвет жидкостей в них?

По мановению его руки гарсон разливает вино в бокалы — и вот их уже целая шеренга, цветных и полных доверху. Заказав музыку необыкновенно повелительным жестом, м-р Мак-Кинли пьет свое вино покамест только равнодушными, тоскующими глазами. Несмотря на удачу, у него неспокойно на душе.

Постепенно м-р Мак-Кинли становится центром внимания, загадкой данной ночи. Прислуга и оркестр из четырех подозрительных персон услужливо ловят его желания, чтобы с каким-то изуверским восторгом и немедля выполнить их: обычно подобные господа щедро оплачивают свои ночные фантазии. Такие же подпольной внешности молодцы откровенно обсуждают у заднего выхода фарт и достоинства м-ра Мак-Кинли. Уже певица, тянущая в микрофон очередную порцию мунлайта, смотрит на возможную жертву влажным взглядом, полным практических предложений пополам с обещанием самых волшебных причуд... И хотя оркестр играет свое, м-р Мак-Кинли слышит только одну и ту же, бессчетно повторяемую, отоваренную наконец музыкальную формулу блаженства и бессмертия «BS».

Он сутуло сидит с полузакрытыми глазами, с головой набочок, почти неживой, словно его вовсе и нет здесь.

Тогда с улицы приходит потаскушка. Ее не гонят, она вполне прилична, даже шикарна — издали. Только мокрая немножко — в такую подлую погоду не убережешься — и не слишком молода. Ее независимая прогулка между столиками, как бы в поисках места. У ниши с группой уныло веселящихся молодых людей она задерживается на мгновение.

— Мальчики, вам нравятся блондинки? — осведомляется она, щурясь и лаская их покровительственно-распутным взором.

Молокососы разом замолкают; уж она-то хорошо понимает причину их испуга! Ей самой предпочтительней клиенты постарше, которым хмель несколько позастлал глаза на второстепенные подробности и у которых немощи как бы уравнены с ее отцветшей прелестью. С трагическим величием она движется дальше, пока не замечает царственно-изобильный стол м-ра Мак-Кинли. Прикидываясь, будто красит губы, она косит глаза, ждет, когда владелец обратит на нее внимание. Это длится долго, она терпит, сердится, нервничает... но вот столь ожидаемый ею взгляд. Нет, он не гонит, а молчанием в таких делах обычно выражается позволение! Женщина шумно присаживается, закуривает с помощью подоспевшего гарсона, презрительно разглядывает ярлыки бутылок, а на самом деле ей профессионально требуется хоть вкратце охватить историю душевной болезни этого подбитого маньяка, характер его несомненной беды, чтобы разведать по-паучьи, где у него тоньше кожа.

С вопросительной для первого знакомства улыбкой женщина тянется к одному из налитых бокалов м-ра Мак-Кинли. Да, он парень покладистый, надо становиться здесь на якорь. Только ее немножко пугает неизлечимая тоска в его глазах.

Женщина. Сколько всего, а не тронуто! Почему не пьешь?.. Сердце, жена, придирчивое начальство?

Мистер Мак-Кинли молчит, и та пренебрежительно пожимает плечами: «Хорошо, я справлюсь пока и одна... Дай знак, мигни, когда потребуюсь!»

Судя по непроизвольным, чуть не каждую минуту содроганиям, эта женщина до костей прозябла на своем углу в гадком

и гнилом тумане. Один за другим с волчьей дерзостью она опустошает два бокала из уже налитых, взялась было за третий... Но нет, и с двух успела захмелеть непозволительно быстро для своей профессии.

Женщина. А может, ты собираешься смешивать в себе для опыта все это? Смотри не взорвись! Ты кто, слушай, ты не химик? Я тоже не специалистка, но мне все кажется, что самая-то главная, водородная бомба составляется из людского горя, согласен? Так какое же торжество ты справляешь так буйно?.. Поминки, проигрыш, рождение сына? Ха, от любовника разумеется!

Диктор. Поговори с ней, Мак-Кинли, скажи ей что-нибудь ободрительное... Она ужасно озябла и трусит, что ты ее прогонишь.

Мак-Кинли *(спокойно)*. Видишь ли, я прощаюсь с этим миром.

Женщина. Собираешься умереть?

Мак-Кинли. Нет, я уезжаю.

Женщина. О... И далеко? *(Пряча под развязной усмешкой страх за допущенную смелость и немножко зависти.)* Верно, секрет... извини. Но когда же?

Мак-Кинли. Завтра.

Женщина. Так скоро?.. А ничего: у нас с тобой пропасть времени, успеем до драки надоесть друг другу! *(Несколько мгновений она смотрит на дымок своей сигаретки, потом с каким-то детским нахальством.)* Не хочешь ли взять и меня с собой... разумеется, если тебе нравятся блондинки, правда с несколько печальным житейским опытом? Ладно, забирай меня с собою хоть в собаки. Не хочешь? А то, знаешь ли, так осточертело все кругом. И куда-нибудь подальше забирай, где уже нет ничего — ни людей, ни горького тумана этого... ну, и меня тоже в том числе!

Мак-Кинли. Видишь ли, я уеду еще дальше...

Женщина *(догадавшись)*. О!.. Но зачем тебе туда, безумный? Гори здесь...

Диктор *(с ожесточением)*. Ну же, доверься, откройся кому-нибудь хоть раз в жизни, непреклонный человек с фамилией Мак-Кинли!

Мак-Кинли. Видишь ли... Мне непременно надо попасть в будущее.

Женщина. Понятно, в сальваторий. Здесь скоро будет шумно. Ты трус?

Мак-Кинли. Нет, я хочу завести детей.

Женщина *(со смешком на такое чудачество)*. Тогда зачем же... ты можешь заняться этим и здесь. Ты еще ничего. Если тебя побрить, недельки полторы подержать у моря, я уверена, у тебя еще вполне могут получаться дети.

Мак-Кинли. Здесь их убьют. Самой большой бомбой, которую ученые построят завтра. Одною на всех детей мира. Для экономии. А я, знаешь, не выношу глядеть на мертвых детей. Можно умереть от одной совести. Лучше сбежать заблаговременно.

Женщина. Вот я и говорю, что трус, раз бежишь от драки. Значит, шибко испугался!.. Но, знаешь, ты не горюй: подлецы тоже живут. Иные даже поправляются с этого. *(С интересом.)* Ты что же, в самом деле богач?

Мак-Кинли. Почему ты так думаешь?

Женщина. Ну как тебе сказать... Видишь ли, богачи всегда дальновиднее бедных... *(Доверительно и уже заплетающимся языком.)* Но я тебе раскрою твой секрет... Ты, малый, просто никогда никого не любил, если трусишь даже за детей, которых еще нет. Любовь — это знаешь что?.. Это — чтоб как в омут. Впоследствии, конечно, от всякой большой любви непременно изжога: раскаиваемся, проклинаем, плачем... но, ах, это все потом, потом! А самое счастье любви начинается с безумия. Если ты согласен немножко поверить шлюхе, то знаешь... я даже держала свою долю вот здесь, в этих ладонях... только сволочи так и не дали мне ее отхлебнуть. И он, веришь ли, был до черта красивый мальчик, с ума сойти. Механик по счетным машинкам. И у него была такая красивая синяя жилка вот тут, на плече... Но затем подоспела какая-то очередная война, его взяли, сожгли, продырявили чем-то...

Мак-Кинли *(нащурясь)*. Из огнемета продырявили?

Женщина. А-ах, какой ты!.. у тебя везде порядок! Нет, милый, сперва его проткнули штыком, а потом этой длинной рыжей струей... ну, как из паяльной лампы, я в кино видала.

Пауза.

Мак-Кинли. Слушай, у меня есть к тебе предложение!

Женщина, не отвечая, глядит на свет, у нее блестят глаза, одна блестинка зигзагом скользит по щеке.

Женщина. Что ж, ты прав... уж эти, наши не утихомирятся, пока не дожуют мир до конца. Как странно: сами же сперва зажгут, потом убегают... А интересно бы взглянуть, как они там устроятся! Извини, ты этот тоже пить не будешь?.. верно, боишься билет потерять?

Диктор. Ну, Мак-Кинли, чокнись с ней за свое безумное путешествие!

И тот подчиняется совету, потому что лучшее средство от его противоречивых переживаний вряд ли представится ему впереди.

Мак-Кинли *(колеблясь)*. Слушай, а почему бы и тебе не отправиться туда?

Женщина *(раздумчиво)*. Думаешь, что и там будут в ходу блондинки? Кабы помоложе... видишь ли, милый, с годами я стала как-то меньше зарабатывать: на эту штуку мне может не хватить!..

Мак-Кинли. А если бы я тебе уступил свой билет? Он у меня почти в кармане, куплено отличное местечко в одной хорошей, теплой и толстой горе... Возьмешь?

Женщина *(растерявшись)*. Это в обмен на что же?.. Не знаю, как-то щекотно. Может, ты и есть дьявол с мешком,— мне мать рассказывала,— скупаешь падшие души по кабакам? Душа хоть и рвань у меня, но, знаешь... все-таки боязно продешевить. Кроме нее, пожалуй, у меня вот только что на себе...

Мак-Кинли. А если просто так отдам, в подарок?

Женщина. Что же, тогда спасибо... *(Недоверчиво и почти соглашаясь.)* Но послушай, неужели у тебя, кроме меня, никого, никого больше нет в целом свете?

Мак-Кинли. Была одна. Ее увел моряк.

Женщина. Тогда налей мне... э, все равно чего! *(Трудная борьба с собою, в течение которой она суту-*

леет и тускнеет у нас на глазах.) Нет, иди сам туда, один, в свою адскую дыру... Не хочу, мне туда не надо. Я желаю дотла сгореть здесь. Весь сор жизни должен выгореть здесь. И потом — одна очень несчастная, молчаливая, прекрасная такая женщина... ну, та самая, которая меня, между прочим, и на свет родила, она была... впрочем, теперь все это уж не важно! Она меня всегда учила, девчонку, когда выпьет, что настанет однажды страшный светлый суд над злом. Сомневаюсь, правда, что мне хоть малость перепадет от этого небесного переполоха, но, знаешь, мне непременно надо видеть, господин дьявол, как она полыхнет, вся эта жирная грязь — и мои клиенты, и вот тот усатый в том числе. Я с ним вчера... была. *(Подавшись к м-ру Мак-Кинли через стол.)* У меня, знаешь, даже какая-то странная мечта: вот так, накрепко, прижать его к себе, этот мир, чтобы он впился весь в меня, всеми своими колючками... да и сгореть вместе с ним, в обнимку, с проклятым. Ух, какой он! Хоть и скверный со мною, даже подлый иногда бывал, но, знаешь, какой-то порою трогательно милый... Я когда еще девчонкой была, то до слез его, ужасно как полюбила. *(Навзрыд и сквозь зубы.)* Да дайте же мне, голые вы все дураки, прикурить кто-нибудь!..

Все молча, с негодованием или с издевкой глядят на нее, нарушающую благопристойный порядок бара. Происходит быстрая и решительная перемена: что-то собачье, побитое появляется в облике внезапно протрезвевшей женщины, даже ростом становится меньше. С минуту она сидит, стараясь справиться с собой, привести себя в порядок, потом виновато вылезает из-за стола и, не подымая головы, семенит к выходу.

Женщина *(обернувшись с полдороги, прищуренному бармену за стойкой)*. Извините меня, Эд, вы же знаете, у меня не в обычае пить натощак, но, понимаете, этот негодяй мне всю душу растравил. Клянусь, больше никогда это не повторится, никогда!

Прежде чем исчезнуть в склизком, зеленоватом тумане за дверью, женщина останавливается спиною к нам — подкрасить губы. Когда она снова оглянется перед уходом — на всякий случай, не потребуются ли все же кому-нибудь блондинки,—

уже гремит музыка и кружатся две-три пары. Женщина печально усмехается, царственно пожимает плечом на пьянство и невежество остающихся мужчин и уходит — прежняя, шикарная, даже загадочная издали.

Так, простившись с городом, с нескладной жизнью, с самим собой наконец, м-р Мак-Кинли возвращается домой: спать. С утра начнутся хлопоты, хоть и приятные до некоторой степени, но все же тревожные, потому что связаны с отъездом, как-никак в трехсотлетнюю неизвестность.

Надпись

И вот началось: если накануне еле текло проклятое время, на другой день оно понеслось вскачь.

Кассир привычным летучим жестом вскидывает лотерейную квитанцию на просвет, потом выкладывает кучу денег одетому с иголочки м-ру Мак-Кинли, который расписывается, кивком благодарит за поздравление и уходит.

Теперь новоиспеченный счастливец — в конторе «Боулдер и К°».

Мак-Кинли *(небрежно)*. Вы считаете, что нет необходимости повысить срок пребывания у вас в подвале, скажем, до четырехсот лет?

Очередной ангел в окошке *(оформляя ему документы)*. Все статистические прогнозы показывают, что вашего срока, сэр, вполне достаточно. Да еще неизвестно, какие моды и порядки будут там, чтобы попасть в ногу с потомками!

Мистеру Мак-Кинли вручается толстая контрактная книжка со множеством пунктов на всех языках мира. Оплата марками государственного налога. Почтительные поздравления служащих. О, если бы и на кладбищах так же приятно было поступающим навечно постояльцам!

Мак-Кинли. Благодарю вас. Сроки моего вселения указаны здесь?

Ангел. Начиная с полудня даты подписания контракта.

Мак-Кинли. Я буду вечно помнить вашу исключительную любезность...

Ангел в окошке. Покойной ночи, сэр.

Под вечер, перегруженный покупками, м-р Мак-Кинли возвращается домой для прощания с семьей квартирной хозяйки, которая заботилась о нем, как о родном, столько лет!

Мистер Мак-Кинли проводит свой последний вечер в семейном кругу своих хозяев. Это добрые, небогатые, честные и душевные труженики. Происходит вручение подарков остающимся, сверх того на стол, уставленный скромной снедью, м-р Мак-Кинли ставит принесенную им бутылочку вина, на прощание. И едва жилец присаживается к столу, тотчас трехлетняя хозяйская девчурка, не дожидаясь позволения, карабкается к нему на колени, как на горку. Пока идет застольный разговор, она деловито обследует содержимое карманов м-ра Мак-Кинли и вот извлекает из нагрудного на пиджаке кармана длинную золоченую святочную конфету. Она принимается за нее с удовольствием, однако без особого удивления, что такой продолговатый предмет умещался в столь тесном и коротком пространстве. Впрочем, так оно и должно обстоять у солидных волшебников.

В последующих кадрах, где представлены крупным планом участники прощальной беседы, девочка нам не видна. Кроме перечисленных лиц, проводить хорошего человека в путь пришли и некоторые другие запомнившиеся нам ранее жильцы дома.

Кто-то произносит комичную речь в честь отбывающего в вечность Мак-Кинли, чтобы и **там** он высоко держал светильник свободы, частной инициативы и демократии.

Тост оратора. За героя нашего времени, мистера Мак-Кинли, и его отвагу! Это все равно что лететь в спутнике на Луну... разве только в другую сторону!

Хозяин. Теперь, раз хлопоты закончены и документ получен,— значит, можно и выпить за благополучное путешествие. *(Наливая жене.)* Вот видишь, и в нашу сторону заглянуло счастье... Ну-ка, дайте нам хоть взглянуть, счастливец, на что он похож, этот самый пропуск в рай земной!

Мак-Кинли *(отдавая отрывной талон)*. Вот, это стоит десять тысяч долларов!

Хозяин. Даже трудно поверить, что в этом клочке все надежды мира! И что же вам полагается за эту сумму?

Контрактная книжка и фирменные проспекты с картинками идут по рукам гостей. Приглашенные на проводы с сомнением разглядывают вид сальваторного тоннеля с узкими люками в стенках.

Недоверчивый жилец. А вы убеждены, мистер Мак-Кинли, что порядочный... — ну, в смысле взрослый, человек — сможет поместиться целиком в этой дурацкой червоточине?

Жена его *(заглядывая сбоку)*. Вероятно, их при этом крышкой легонько поджимают в пятки, чтобы поместилось!

Недоверчивый жилец. Ну, разве только с согнутыми коленками!

Хозяйка. А правда, смелый же вы у нас, мистер Мак-Кинли, что не боитесь постареть сразу на двести лет.

Хозяин. У него квитанция на двести пятьдесят. Но я, коснись меня, для верности заказал бы еще больше... Знаете, будущее — это такая неопределенная вещь.

Хозяйка. Да мне и за восемьдесят-то бывает страшно заглянуть. Страшнее смерти!

Мак-Кинли. Фирма «BS» обеспечивает не только полную сохранность, но и, по крайней мере, десятипроцентное помолодение своих клиентов.

Жена жильца. Так что при желании можно приехать в завтрашний день мальчиком, и, глядишь, вам даже придется ходить в школу! *(Вдруг.)* А если газ за это время прокиснет, скажем, испортится?

Доверчивый жилец *(авторитетно)*. Это у них там все проверено на кроликах и на этих... ну, как их? На автоматах!

Жена жильца. Боже, как далеко мы ушли на протяжении одной жизни!..

Доверчивый жилец. Тут действует специальная механика, о которой вчерашняя наука и представления не имела.

Пауза почтения перед всемогущей наукой.

Хозяйка. Нет, я в другом смысле боюсь за вас, мистер Мак-Кинли... А не страшно вам оказаться вдруг на краю света без друзей, на незнакомой улице, где даже

не к кому забежать вечерком? Так иногда во сне бывает: заблудишься вроде в неизвестном городе, и все чужое кругом, и все бегут по своим делам, точно бешеные, и слова какие-то машинные у них. Даже пот проступит, а проснуться пока не позволено! Мы к вам так привыкли за эти четырнадцать лет!..

Мак-Кинли *(раздумчиво)*. Конечно, я вас понимаю, миссис Перкинс. Немножко жутко за человека, который остается один на один, совсем наедине и навек со своим счастьем!

Хозяин. Не обращайте на нее внимания, мистер Мак-Кинли. Никакое воронье карканье не может остановить прогресса. Ну, за здоровье отъезжающих!

Снова все чокаются с восклицаниями, какие у них там приняты.

Хозяйка. А я бы ни за что!.. Может, и здесь удалось бы чего-нибудь совместными усилиями против войны добиться, если крепко захотеть? Умереть-то всегда можно и нынче, если ничего не получится на худой конец. А вдруг климат там другой окажется и будущие ребятишки ваши все простужаться начнут?

Мак-Кинли. А здесь их просто убьют, миссис Перкинс.

Хозяйка. В том-то и горе людское, мистер Мак-Кинли, что каждый отец не чувствует себя отцом всех детей на земле. А детские слезы заразительны: стоит погромче заплакать одному, все другие откликаются хором. В слишком тесном доме люди стали жить. Сквозь стенку слыхать. Вот и вы: за своих малюток тревожитесь, а вот за остающихся — кто?..

Пауза молчания. Объектив отступает, и все, привстав, долго и сурово смотрят на хозяйскую девочку, задремавшую у м-ра Мак-Кинли на коленях. Она безмятежно спит со своей початой конфетой в откинутой руке, вздыхая во сне о своих детских горестях, и в ту минуту становится понятным тезис м-ра Мак-Кинли, что нет ничего прекрасней и мудрей ее во всей вселенной.

Наконец, оставшись наедине с собою, наглядевшись на свой драгоценный талон, м-р Мак-Кинли укладывается спать

в полосатой пижаме; и, судя по всем внешним признакам, вопреки страхам миссис Перкинс,— какое же это блаженство остаться наконец наедине со своими манящими видениями!

Ему снятся разные сны многосемейного содержания.

На следующее утро в завершение своих земных томлений м-р Мак-Кинли опускается в подземное святилище Боулдера и поступает в соответственную обработку перед отправлением за горизонты возможных завтрашних несчастий. Он шествует в стерильном хитоне по сверкающему кафельному коридору в окружении блистающих красотой и гигиеной фирменных богинь. Все с тем же неподвижным лицом, несмотря на состояние помрачительного физического блаженства, он ежится от перламутрово-мыльной пены, пронизываемой искрящимися очистительными электротоками. Наконец, развалясь на элегантной рессорной тележке, м-р Мак-Кинли под слегка надоевшую нам райскую мелодию направляется в свое долговременное уединение.

Диктор. Итак, до свидания, мистер Мак-Кинли... *(Со вздохом зависти.)* До свидания, любимчик судьбы! Вспоминайте нас, которым, видно, придется здесь бороться с горем своими, домашними средствами.

Надлежаще обработанного м-ра Мак-Кинли вставляют в круглое, среди прочих в стене, отверстие, завинчивают гайки огромными французскими ключами, и вскоре все плавно погружается в приятное, волнообразное от сгущений и разрежений чего-то мерцание, расчерченное волшебно пробегающими, как на экране осциллографа, кривыми и искрами. Вероятно, так же увлекательно будут выглядеть некоторые самые заурядные электрохимические процессы в мозгу, наблюдаемые в не изобретенный пока микроскоп ощущений. Одновременно как бы гремит спускаемая якорная цепь, и сквозь ее оглушительный лязг проступают сперва шаркающие шаги взбирающегося по лестнице сердитого великана, переходящие затем в учащенное сипение набирающих скорость паровозных поршней, а все вместе это мучительно напоминает тоскливое, со всхлипом дыхание насмерть загнанного человека!.. Его почти предсмертную задышку, в свою очередь, наотмашь оборвет крик птицы, похожий на скрежет кремня по стеклу. Все это отголоски недавних впечатлений в гаснущем человеческом сознании, невы-

носимо тесном по диаметру, но как бы с высоким и гулким — тройного и больше эха — куполом над головой.

На экране сперва какая-то тряска запавших однажды в память, прыгающих картинок, ужасов и загадок, начиная с детства. Бык хочет забодать мальчика Мак-Кинли, но чья-то благодетельная, во весь экран, видно отцовская, рука закрывает поле зрения. Страшная черная тетя с чудовищным клетчатым мешком проходит впритирку близко от ребенка. Песчаная башня рушится, какие-то люди бегут мимо, беззвучно разевая рты, большой костер полыхает, и дым чудесно преображается в роскошные густолиственные деревья. Вдруг сразу откуда-то два нарядных, под геометрически равными углами порхающих над уютным бочажком мотылька в настороженной пока тишине, которая звучит затухающей виолончельной нотой.

По мысли автора, как звуковое, так и зрительное изображение дальнейшего становится возможным лишь посредством искусственного вмешательства в фонограмму: рисованной, в динамике темы, причудливой графикой. Вероятно, это будет долгое, сообразно контрактному сроку м-ра Мак-Кинли, скольжение по бесконечному тоннелю с уклонами то вправо и влево, то по вертикали, с неизбежным в живой, хоть и спящей психике преодолением возникающих преград, падений и круч. Впоследствии все это станет как бы завинчиваться в глубь окончательного мрака и ненадолго погаснет вовсе, кроме роящейся где-то в поисках выхода и подобной шмелю вибрирующей музыкальной ноты. Приближение к заказанному м-ром Мак-Кинли полустанку бытия обозначится качанием световых пятен одновременно с нарастанием смутной и тревожной мелодии, обычной перед пробуждением. Последнее видение — отвлеченный, без всяких подробностей пейзаж с восходящим из-за горизонта неярким солнцем.

Несколько металлично и гулко, как на вокзальной платформе, прозвучит первый по прибытии т у д а человеческий голос:

— Проснитесь, мистер Мак-Кинли. Вас поздравляют с возвращением к жизни...

Вынутый из своей гранитной кабины м-р Мак-Кинли покоится на тележке, с закрытыми глазами. Он ровно дышит, и в такт колеблются стрелки гигантских пульсомеров у его

изголовья. Щедрая растительность, покрывающая его щеки, подтверждает расчетную экономию на парикмахере.

Диктор. Ну, довольно нежиться, мы и так задержали чужое внимание. Приступайте к счастью, Мак-Кинли! Парикмахер ждет вас...

Едва он открывает глаза, его уже окружают почти такие же, как раньше, корректные и строгие богини, лишь, пожалуй, малость поневзрачнее и ростом помельче. Они привычно пересаживают в кресло весьма полегчавшего клиента, подключают к нему профилактические электроды, а парикмахер, время от времени справляясь со старой фотографией м-ра Мак-Кинли, быстро возвращает клиенту его сравнительно прежний вид.

Естественно, м-ру Мак-Кинли очень хотелось бы теперь взглянуть через окно на обетованную землю его мечтаний, но большинство стен почему-то до потолка глухие, а неопределенного назначения просветы в них задернуты, кроме занавесей, тяжелыми металлическими жалюзи.

Приветливая богиня с чуть заплаканными глазами тотчас же подносит ему довольно скромный, после двух с половиной векового воздержания, завтрак.

Мак-Кинли *(как-то невпопад весело)*. Ну, как, на ваш взгляд, мисс, еще гожусь я теперь в женихи?

Та кроткой служебной улыбкой отвечает на шутку клиента, и едва тот успевает разделаться со своим договорным, подозрительно быстро исчезающим завтраком, уже приглашает на очередную выпускную процедуру.

— Пожалуйста, здесь, сэр,— говорит ближайшая богиня, механично указывая на дверь.

Непонятно, как там у них происходит дело, но почти немедленно м-р Мак-Кинли выходит к нам из помещения в фирменном, полосатом, пижамно-каторжного образца костюме.

— Теперь вас просят сюда, сэр,— говорит другая, приглашая к прилавку, где клиенту отсчитывают руками десяток тощих и отвратительно кривых сигарет с добав-

кой сомнительных денег, похожих на карамельные обертки.

К прискорбию, м-ру Мак-Кинли никак не удается с кем-нибудь потолковать, расспросить, поделиться собственными впечатлениями о ненавистной старине, оставшейся, слава богу, позади. Ему кажется даже, что эти люди просто не слышат его.

— Пожалуйте сюда, сэр,— говорит третья, указывая на явно вестибюльную дверь.

Неприличная поспешность, с какой персонал сальватория стремится выдворить своего клиента, да еще в столь легкомысленном облачении, внушает м-ру Мак-Кинли глубочайшее негодование, и лишь высшее благоразумие голосом диктора призывает его смириться перед обычаем чужого века. Соблюдая личное, оскорбленнейшее теперь достоинство и воздерживаясь от излишних слов, м-р Мак-Кинли покидает сальваторий, не желая даже обернуться на столь многозначительные сейчас лязг и дребезг за спиною.

Меж тем своеобразный колорит и мрачноватый облик открывшейся перед м-ром Мак-Кинли слегка покатой местности тоже способны омрачить самое идиотски-безоблачное настроение. Если не считать множества странных, разбросанных по скату канализационного типа сферических крышек, которые, видимо, и есть крыши нового, целиком подземного теперь города, да разве еще обугленного дерева впереди, с мольбой воздевающего к небу свои черные головешки, во всем пейзаже ни черта больше не имеется вплоть до самого горизонта. Не слыхать также ни желательного пения птичек, ни детских песенок, никаких знакомых звуков — ничего, если не считать вдруг поднявшегося ужасающего воя сирены в духе недоброго старого времени.

Итак, ловушка: бегство не состоялось! Заветная мечта м-ра Мак-Кинли завершается обыкновенной воздушной тревогой, только в несколько обновленном, каком-то устрашающе трубном стиле, с замирающим стоном в конце. Тотчас необычайные перемены наступают кругом. На глазах у м-ра Мак-Кинли надземные строения сальватория плавно погружаются в землю, а небо начинает зловеще темнеть, и вот уже ни расселины нигде, ни подворотни или норки, ни живой души кругом. Только обезумевшая от смертного ужаса кошка

дикими скачками и зигзагами мчится между крышек, пока высунувшаяся наружу меткая хозяйская рука не хватает ее на скаку и не втаскивает под слегка приподнявшуюся крышку, которая с грохотом падает в свое гнездо.

В тот же момент вереница страшных, визгливых и плывучих огней показывается из-за черного горизонта. Одни, как бы в разведке, забегают вперед и возвращаются, другие блуждают в небе, подобно громадным светлякам, высвечивая себе добычу... Но вот различили одинокую фигуру м-ра Мак-Кинли, взяли в вилку и, подпрыгивая, отовсюду с воем устремляются к нему. Новичку выдержать это никак нельзя — м-р Мак-Кинли с воплем бросается ничком на мерзкую, обожженную землю своей мечты, и потом все заволакивается спасительным небытием.

Когда же тьма, как всё на свете, понемножку рассеивается, то вокруг распростертого, с раскинутыми руками м-ра Мак-Кинли проступают очертания знакомой нам комнаты, его кровать и незамысловатая мебель. Он лежит у себя дома, в своей пижаме, на полу, с крестообразно раскинутыми руками... Значит, сон? Правда же, и богини в сальватории выглядели чуть подозрительно, все как-то на одно лицо, чего не бывает в действительности, да и парикмахер тоже... Ну разве можно побрить человека, помахивая метелочкой по заросшим хуже войлока щекам? Уже утро, и стрелки на будильнике подсказывают, что можно запросто опоздать на службу, и вот милый детский голосок утешительно звенит за дверью.

Девочка. Мистер Мак-Кинли, мама зовет вас кофе пить... И чтобы не опаздывать сегодня!

Мистер Мак-Кинли не слышит: все стоит посреди, не может оторвать глаза от сальваторного талона «BS» на ночном столике. Машинально он тянет руку за этой столь емкой и драгоценной бумажкой,— однако нельзя предсказать пока, как он собирается поступить с нею. Видно лишь, как давнишняя мечта борется в нем с кошмаром минувшей ночи.

Девочка *(вернувшись к двери)*. Ой, опять забыла сказать доброе утро... а то мама ругается. Доброе утро, мистер Мак-Кинли!

Мак-Кинли *(рассеянно)*. Доброе утро, милый утенок...

Мистер Мак-Кинли открывает форточку и, зажмурясь, высовывает наружу руку со своей бумажной драгоценностью. Кажется, ему жаль чего-то... Но вот, собравшись с силами, ветер вырывает и уносит листок. Если проследить, тот сперва долго порхает по воздуху, потом несется над парком и вот оседает как раз на валик катящейся по ветру листвы. Снова талон на отдельное, эгоистическое счастье движется по дорожке, как бы выбирая себе удачника из прохожих. Так судьба неотвязно преследует какого-то недогадливого старичка с зонтиком и в старомодном котелке, забегает вперед, заигрывает, как котенок, пока тот не поднимает с земли своей находки. Мы видим, как постепенно сбегает с его лица появившееся было восторженное выражение. Нет, пожалуй, уже грешно и ни к чему теперь покидать свою старуху! Он прикрепляет бумажку к спинке скамьи, на очередного удачника, и уходит, не без коварства оглядываясь.

За это время м-р Мак-Кинли успел одеться и теперь занят утренним завтраком. Миссис Перкинс, его милая хозяйка, перетирает посуду на кухне, переговариваясь со своим жильцом через дверь... Словом, можно еще жить на белом свете!

Хозяйка. Вас не разбудила ночная буря, мистер Мак-Кинли? Я даже побоялась, как бы стекла не выдавило ветром...

Мак-Кинли. О, я сплю без пробуждений, миссис Перкинс!

Хозяйка. Зато потише и посуше стало к утру. Как я и предсказывала, такая приятная погода установилась на улице... Верно, к зиме. По моим приметам, Рождество будет отличное в этом году.

Мак-Кинли. Вы у нас домашнее метеорологическое бюро, миссис Перкинс.

Хозяйка *(со вздохом)*. Мои предсказания так дорого мне обходятся, что я не пожелаю вам того же, мистер Мак-Кинли. *(На грохот в соседней комнате.)* Что ты там делаешь, дрянная девчонка?

Девочка. Я падаю...

Мистер Мак-Кинли поднялся было бежать на помощь.

Хозяйка. Не волнуйтесь, пейте свой кофе, мистер Мак-Кинли. Это ее личное дело, берегите силы на главное.

(Притворясь, будто забыла о планах своего жильца относительно сальватория.) Кстати, что вы делаете сегодня вечером?

Мак-Кинли *(со значением)*. Видите ли, миссис Перкинс, я не решил пока...

Хозяйка *(не давая досказать)*. Вот и отлично. Тогда не занимайте вечера... Попозже обещала забежать мисс Беттл. Очень смешную историю по телефону рассказала, как на последнем своем свидании она пыталась разбудить вашу ревность с помощью одного знакомого морячка. Никак не может понять только, где вы прятались в тот раз?

Мак-Кинли. Там же, в одном баре визави.

И оба, хозяйка и жилец, смеются счастливому завершению дела.

Хозяйка. Ну, мисс Беттл так и догадывалась. Кстати, знаете, она дивно загорела у тетки и похорошела, я едва узнала ее... Приходите!

Мак-Кинли. О, вы всегда бесконечно добры к нам, миссис Перкинс!..

Как всегда, он торопится на службу. Бульвар, летящие листья, играющие дети... И потом само собою образуется торжественное шествие малышей с барабанами и флагами, как бы по случаю того, что м-р Мак-Кинли решил не покидать их на этом свете.

Мистер Мак-Кинли оборачивается к ним, потом увлажнившимися глазами смотрит на обступивших его ребят, как бы впускает их в себя, и вот, впервые за весь фильм, улыбается этому доверчивому множеству невинных и беспомощных глаз и протянутых рук.

Диктор *(растроганно)*. О, я всегда безоговорочно верил в вашу исключительную порядочность, дорогой мистер Мак-Кинли!

Конец

Лето 1960 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

ВЗЯТИЕ ВЕЛИКОШУМСКА

Повесть

Впервые напечатано в журнале «Новый мир» (1944, № 6, 7). Отдельные главы повести публиковались в газете «Правда» (1944, № 164, 165, 167, 170, 179, 187, 195, 197; 9, 10, 13, 16, 27 июля; 5, 14, 17 августа).

Л. Леонов неоднократно выезжал на фронт: на Брянский — зимой 1942/1943 года; в район Ленинграда во время наступления войск Ленинградского и Волховского фронтов, в январе 1944 года; в район Киева (по маршруту: Москва — Сумы — Киев — западнее Киева) в ноябре — декабре 1943 года, в качестве военного корреспондента «Правды». Особенно плодотворным оказалось пребывание писателя в танковой армии П. С. Рыбалко в ходе Киевско-Житомирской операции.

6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта освободили Киев и, развивая наступление, заняли 7 ноября Фастов, 13 — Житомир. Однако уже 8 ноября противник, подтянув резервы, стал предпринимать сильные контратаки. Для этого были привлечены 15 дивизий (в том числе 7 танковых), стянутых в район Житомира из Италии, Греции, Дании. 20 ноября противником был взят Житомир. В итоге полуторамесячных ожесточенных боев гитлеровцы продвинулись вперед всего на 35—40 км и их ударная группировка оказалась обескровленной. 24 декабря войска 1-го Украинского фронта перешли в наступление, разгромив четыре танковые дивизии врага. В этих боях, в частности, отличился 4-й гвардейский танковый корпус во главе с генералом А. Г. Кравченко, уроженцем села Киевской области, где пылали бои. Эта деталь в трансформированном виде была использована писателем при создании биографии одного из главных героев повести —«великого танкиста» генерал-лейтенанта Литовченко.

В повести с необыкновенным, можно сказать, профессиональным проникновением воссозданы военно-технические реалии. По устным свидетельствам очевидцев, после чтения автором «Взятия Великошумска»

в Главном автобронетанковом управлении заместитель командующего бронетанковыми и механизированными войсками Советской Армии В. Т. Вольский сказал Л. Леонову: «Угодно ли вам немедленно получить инженерно-танковое звание?» В знак признательности и благодарности писателю была вручена миниатюрная копия танка под номером 203, созданная в походных мастерских, которая хранится ныне в Литературном музее.

«Однако,— как отмечает критик Е. Старикова,— при всей внимательности Л. Леонова к военным действиям, совершавшимся на 1-м Украинском фронте, к вопросам военного искусства и при всей достоверности произведения с этой точки зрения во «Взятии Великошумска» меньше всего следует искать воспроизведения реальных исторических лиц и событий. Основываясь на фактах действительности, Л. Леонов создал произведение больших обобщений, широкого романтического размаха, смело сочетав здесь приемы реалистического искусства, углубленного аналитического исследования современности с традиционной народно-героической символикой» (Е. Старикова. «Взятие Великошумска».— См.: Леонид Леонов. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 8. М., Гослитиздат, 1962, с. 554).

Сила художественного воздействия повести прежде всего в ее глубинной народности. Под пером Л. Леонова история рядовой «тридцатьчетверки» под номером 203 пронизывается духом былинно-песенного эпоса. Здесь сам танк и его экипаж — бывалый лейтенант Собольков, юный механик-водитель Литовченко (однофамилец славного командира танкового корпуса), недавний повар из штаба, а ныне башнер Обрядин с его живым талисманом Кисó и радист Андрей Дыбок как бы сливаются в облик гигантского стального богатыря, вышедшего в ратное поле для возмездия врагу. Подвиг двести третьей в повести Л. Леонова достигает размаха деяний Евпатия Коловрата с малой его дружиной: «Сии бо люди крилати и не имеющие смерти...»

Уместно отметить, что прообразом учителя послужил Митрофан Платонович Кульков, преподаватель и директор городского начального училища в Зарядье, где учился Леонов (1907—1910). Старик относился к мальчику с особым вниманием и добротой. И пятнадцать лет спустя, по выходе первой переводной книги (в Берлине), автор отправился в свою бывшую школу подарить ее любимому учителю и, к большому огорчению, не застал его в живых.

В 1943 году после поездки в танковую армию П. С. Рыбалко Леонов решил дать вымышленному герою имя Кулькова — как дань благодарности учителю от ученика за оказанные ему в детстве ласку и внимание.

Стр. 34. *...райхи, валлонии и викинги...* —«Райх», «Валлония», «Викинг»— названия отборных дивизий войск СС немецко-фашистских армий, действовавших на Восточном фронте.

Стр. 39. *...униатской мадонны...* — иконы Божьей матери униатской церкви. Униаты — христианское объединение, подчинявшееся папе римскому; признавало основные догматы католичества при сохранении православных обрядов. Самоликвидировалось в 1946 г. с расторжением Брестской унии (1596).

Стр. 41. *Фокке-Вульф* — общее название самолетов одноименной германской фирмы: истребители, тяжелые бомбардировщики и др., применявшиеся во второй мировой войне.

Стр. 44. *...накрыть легонько эрэсами...* —«РС»— реактивные снаряды. В годы Великой Отечественной войны были организованы специальные гвардейские минометные части, вооруженные пусковыми установками БМ-8, БМ-13 и др. с различными вариантами «РС», получившими в народе прозвище «Катюши».

Стр. 46. *Камбре* — город на севере Франции; вошел в историю военной стратегии первым случаем массированного применения танков (378 машин) и зарождения противотанковой обороны во время первой мировой войны (1916).

Сомма — река на севере Франции, в ее районе в той же войне 15 сентября 1916 г. англичане впервые применили танки, которые произвели огромное психическое воздействие на германскую пехоту, сдавшую позиции без боя.

EVGENIA IVANOVNA

Повесть

Впервые напечатано в журнале «Знамя» (1963, № 11). Повесть вошла в 8-й том Собрания сочинений Л. Леонова в 10-ти томах (М., «Художественная литература», 1971).

Замысел повести и ее опубликование разделяют тридцать пять лет. Тема возникла еще в поездке Л. Леонова в Грузию в августе 1928 года, но, собственно, сама работа над повестью была начата лишь в октябре 1934. «В один из первых моих приездов в тогдашний Тифлис,— как позже вспоминал он,— мы сидели с поэтом Тицианом Табидзе и его женой Ниной Александровной в знаменитом духане «Симпатия». Через стол от нас коротал время странный, поношенного обличья человек в крагах и в помятой шляпе, которой не хватало только положенного перышка для сходства с тирольской. Было непонятно, как он попал сюда. Он начисто улетучился из памяти, но, значит, биография его в подсознании

автора выяснялась все последующие шесть лет. В 1934 году Тициан Табидзе с Ниной Александровной повезли нас на праздненство Алавердоба. Любопытно, что в ярмарочной суете, в мелькании огромного числа людей в творческой памяти снова отразилась промелькнувшая однажды тень. Это был запал к созданию Стратонова, и вокруг этого выдуманного Стратонова стала расти и кристаллизоваться повесть».

Небольшая по объему, она означала для Л. Леонова поучительную ступень на пути повышения художественной емкости, когда смысловая нагрузка превышала жилплощадь страницы. Все персонажи этой повести вымышлены, они фантомально вобрали в себя напряженные искания писателя. «Существует такое немецкое слово «Querschnitt»—«поперечное сечение»,— обмолвился однажды в разговоре Л. Леонов. — Можно сказать о героях повести «Evgenia Ivanovna», что все они «квершнитты» самих себя. Так как наиболее главные места художественного произведения — это те, которые прошли роковым образом через сущность автора, то позволительно было бы на основании этого построить его теневую, вторую духовную биографию...»

Повесть пролежала в ящике письменного стола двадцать пять лет,—«пора было замуж выдавать дочку»,— которая на другой день вернулась домой («жалко стало») и лишь через полгода была вновь передана в журнал для печати.

Подобно близким по времени написания пьесам «Метель» и «Нашествие», «Evgenia Ivanovna» сфокусировала в себе нравственно-философскую проблематику того трудного исторического периода. Все три произведения сближаются материалом и родственностью задачи — как ее постановки автором, так и ее решения. «Подразумевается,— заметил между делом Л. Леонов,— что материал в качестве повода к созданию вещи является подобием искры, способной в случае успеха осветить и данный момент, и всю ночь, и даже целую эпоху. Вспоминаются известные строки Я. П. Полонского: «...писатель, если только он — волна, а океан — Россия...», он не может оставаться безразличным к переживаемой ею буре». Таким событием сверхмирового значения стала для автора происходившая в стране революция...

Хочется отметить исчерпывающий для этой проблемы, знаменательный диалог Пикеринга с Евгенией Ивановной, где она сравнила себя с листком, сорванным порывом ураганного ветра. «Противоестественно любить то, что платит вам ненавистью»,— замечает на это археолог, обладающий даром допрашивать тысячелетние камни, перефразируя идею Дидро в том смысле, что если отечество стреляет в вас, вы вправе делать соответствующие выводы. Евгения Ивановна воспринимает это как чужеземное, не наше мышление, жить по зако-

нам которого она не может. Из этого решения и вытекает ее последующая судьба: она умирает.

Касаясь близости тем и конфликтов, владевших автором повести «Evgenia Ivanovna» и смежных с нею «Метели» и «Нашествия», необходимо заметить, что в замысле второй пьесы Федор Таланов не был уголовником, каким он стал в силу тогдашних условий — слишком свежи были воспоминания. К тому же писатель стремился подчеркнуть поведение своего героя в суровой обстановке величайшего поединка. Ту же логику надо отнести и к братьям из пьесы Л. Леонова «Метель», где один из них бежит за границу, в ожидающую его там нищенскую помойку, а другой громадною ценою добивается права вернуться на родину. Вытекающий отсюда смысл отлично резюмируется в итоговой фразе о том, что все попытки русского человека вывезти с собою в горсточке русский снег всегда кончались трагической неудачей.

В этом плане судьба Стратонова, который как раз вернулся на родину, несколько сложнее. Но мировая история изобилует неотвратимыми водоворотами и безднами,—«как будто сердце может примириться с болью, если она неутолима». Сложный ребус психологических взаимоотношений между Евгенией Ивановной и ее бывшим мужем принадлежит к разряду уравнений, не поддающихся благополучному разрешению, и читателю целиком предоставляется внутренняя работа над сущностью отношений, которая остается за пределами повести. Чего стóит один сон Евгении Ивановны о своей любовной прогулке в катафалке вместе со Стратоновым или процедура поисков и надевания стратоновской шляпы, побывавшей под задом шофера.

О горизонтах, открывающихся с вершины этой повести, о самых широких задачах искусства Л. Леонов сказал однажды: «Искусство, мне кажется, может добиться многого также на путях обобщенного изображения. Художникам не надо бояться отвлеченности: поправки на эпоху неминуемо внесет самый материал, из которого соткано событие. Рассуждения на эту тему есть в повести «Evgenia Ivanovna». На Алазанских празднествах к сидящим у костра гостям приводят *мествире* — слепых певцов. Они появляются из темноты шестеро, каждый держась за плечо товарища впереди себя, идут один за другим, «словно нанизанные на вертел». После импровизированного концерта Пикеринг размышляет вслух об искусстве. «Помните, я водил вас смотреть парижскую копию *Слепых* старшего Брейгеля? — говорит он своей *жене*. — Шестеро таких же незрячих, как эти, бредут гуськом, и передний оступился в канаву, и вот уже всем остальным в разной степени передалось неблагополучие с вожаком. Только что на ваших глазах, Женни, в точности повторилось то же самое событие, и подмеченный художником механизм будет действовать в той же последовательности, пока неизменны физи-

ческие координаты, на которых построен мир...» Смысл сказанного в том, что цель искусства не копирование действительности в тесном зеркальце ограниченного мастерства, а осознание «логики явления через изучение его мускулатуры, в поисках кратчайшей формулы его зарождения и бытия. И дело художника уложить событие в объем зерна, чтобы, брошенное однажды в живую человеческую душу, оно распустилось в прежнее, пленившее его однажды чудо!».

Стр. 136. *Ниневия* — древний город и столица Ассирии; разрушен в 612 г. до н. э. войсками вавилонян и мидян. Археологическими раскопками вскрыты дворцы VIII—VII вв. до н. э., многочисленные статуи и предметы быта.

Стр. 142. *Магомет,* или Мухаммед (ок. 570—632) — основатель ислама, в 630—631 гг. — глава первого мусульманского теократического государства (в Аравии); почитается как пророк.

Моавия (ок. 600—679) — халиф, основатель династии Омайядов; с 657 г. провозглашен в Дамаске халифом бóльшей части арабских земель.

Саладин, или Салах-ад-Дин (1138—1193) — египетский султан с 1171 г.; основатель династии Айюбидов; возглавлял борьбу мусульман против крестоносцев в 1187—1192 гг.

Стр. 145. *Хеттская империя* — государство в Малой Азии в XVIII—начале XII вв. до н. э. Соперник Египта в борьбе за господство в Передней Азии.

Богазкёй, или Богазкеой — поселение на месте бывшей столицы Хеттского государства, где археологами обнаружены ценнейшие памятники древнейшей культуры и религии.

...в Урфе, древней Эдессе... — Эдесса — город в северной части Месопотамии, в VIII в. до н. э. был завоеван ассирийцами. В 137 г. до н. э. было основано Эдесское царство, подвергавшееся бесчисленным разрушениям и завоеваниям со стороны римлян, арабов, византийцев, сельджуков. Восстание жителей против мусульманства (1146 г.) привело к новому разрушению Эдессы, после чего ею овладевали то египетские и сирийские султаны, то монголы, то турки и персы, пока в 1637 г. им окончательно не завладели турки, переименовавшие ее в Урфу.

Стр. 146. *Велиар,* или Велиал — в иудаистической и христианской религиях демоническое существо, дух небытия, лжи и разрушения.

Фома — один из двенадцати апостолов, отказавшийся, согласно Евангелию, поверить в воскресение Христа, пока сам не увидит ран от гвоздей и не вложит в них перста (нарицательное имя «неверующего Фомы»). По преданию, явившийся Фоме Христос велит ему отправиться на миссионерский подвиг в Индию, где Фома занимается проповедью

слова божьего, испытывает гонения, муки и погибает от меча жреца-идолопоклонника. В III в. император Александр переносит мощи Фомы в Эдессу, становящуюся с этого времени центром почитания апостола.

Ефрем Сирин. — См. прим. в т. 6 к с. 19.

Траян Марк Ульпий (53—117) — римский император с 98 г., из династии Антонинов, вел широкие завоевательные войны, захватив территорию Дакии, Армении и Месопотамии. При нем была разрушена Эдесса и жителей ее заставили платить дань римлянам.

Адриан Публий Элий (76—138) — римский император с 117 г., усиливший императорскую власть и централизацию государственных учреждений; на границах империи создал систему мощных укреплений. Он облегчил дань и восстановил Эдесское царство.

Каракалла Марк Аврелий Антонин (186—217) — римский император с 211 г.; его политика давления на сенат, казни знати, избиения жителей Александрии, противившихся дополнительному набору в армию, вызвали недовольство и заговор, во главе которого стоял префект преторианцев Макрин. При Каракалле (ок. 216 г.) Эдесса была превращена в римскую колонию.

Макрин Марк Опелий (164—218) — римский император (217—218), совершил неудачный поход против парфян, что вызвало недовольство в войсках, большая часть которых провозгласила императором Гелиогобала. Между враждующими сторонами произошла битва при Антиохии, причем Макрин скрылся с поля боя. Оставленный преторианцами, он был привезен в Эдессу и при попытке бежать был убит.

Валериан Публий Лициний (193—260) — римский император с 253 г., правил совместно с сыном Галлиеном, когда империя испытывала многочисленные нашествия: аллеманов в Италии, франков в Галлии, готов в Дакии, Мизии и Малой Азии, персов в восточных провинциях. Выступив в 258 г. против персидского царя Сапора I (239—270), Валериан, вследствие измены, попал в плен, где подвергался различным унижениям и умер.

...Немвродовых развалин... — Немврод, или Нимрод — упоминаемый в X главе Книги Бытия внук Хама, один из родоначальников вавилонского царства и основатель его городов: Вавилона, Эреха, Аккада и Халнэ.

Атергатис, или Атаргатис — в западносемитской мифологии богиня плодородия и благополучия. В Эдессе существовал культ Атаргатис, о чем свидетельствуют остатки священных прудов, в которых содержались посвященные богине рыбы.

Стр. 147. *Теннисон* Альфред (1809—1892) — английский поэт.

Стр. 149. *...религиозных беспорядков 1906 года в Бенгалии...* — Нахо-

дившаяся под английским владычеством Индия в течение двух веков боролась с колонизаторами. Используя политику «разделяй и властвуй», вице-король Индии Керзон расчленил Бенгалию на Восточную (с мусульманским населением) и Западную (с индусским). Однако это вызвало волну протеста и положило начало подъему национально-освободительного движения, которое, как это случилось в 1906 г., зачастую принимало формы религиозных волнений.

Стр. 151. *Дидро* Дени (1713—1784) — французский писатель, философ-просветитель, идейный вождь энциклопедистов.

Стр. 164. *Симеон Столпник* (356—459) — христианский аскет из Антиохии, изобретший род подвижничества, именуемого столпничеством. Теннисон воспел его деяния в поэме «Святой Симеон — столпник».

Стр. 165. *Прокопий Кесарийский* (ок. 500 г. — после 565 г.) — историк ранней византийской эпохи, автор «Истории войн Юстиниана».

Стр. 167. *Грибоедов* А. С. в августе 1828 г. перед отъездом в Персию в ранге полномочного министра обвенчался с юной княжной Ниной Чавчавадзе, хранившей ему верность после его гибели в Тегеране, во время истребления русского посольства персидскими фанатиками (1829).

Стр. 169. *Подобно Марфе и Марии...* — В христианских преданиях — сестры Лазаря, человека, воскрешенного Христом через четыре дня после его погребения. Марфа, по приказу Христа, отвалила камень от пещеры-склепа с прахом Лазаря; Мария за трапезой в Вифании, на которой присутствовал и воскрешенный Лазарь, помазала ноги Христа благовонным миром.

Стр. 172. *Бека Опизари* — грузинский чеканщик, работавший в средневековом монастыре Опиза (ныне на территории Турции), одном из культурных центров феодальной Грузии.

Стр. 173. *Федор Тирон* (новобранец) — святой великомученик, который перед римскими легионерами сжег капище богини Цибелы и после пыток был сожжен в Амассине в 306 г.

Стр. 180. *Августин* Блаженный Аврелий (354—430) — христианский теолог и церковный деятель, родоначальник христианской философии истории — автор сочинений *«Civitas Dei»* («О граде божием»), где «земному граду», т. е. государству, противопоставлял мистически понимаемый «божий град»— церковь.

Кампанелла Томмазо (1568—1639) — итальянский философ, поэт, политический деятель; создатель коммунистической утопии *«Civitas Solis»* («Город Солнца») — об идеальной общине, руководимой учено-жреческой кастой и характеризующейся отсутствием частной собственности, семьи, государственным воспитанием детей, общеобязательным 4-часовым трудом, развитием науки и просвещения.

Стр. 184. *Чонгури* — грузинский четырехструнный щипковый музыкальный инструмент.

Стр. 191. *Воздвижение креста господня* — праздник, отмечаемый ежегодно православной церковью 27 (14) сентября.

БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-КИНЛИ

Киноповесть

Впервые опубликована в газете «Правда» (1961, № 1, 2, 4, 6, 8, 29, 34, 36; 1, 2, 4, 6, 8 и 29 января, 3 и 5 февраля). Отдельным изданием вышла в изд-ве «Правда» (М., 1961).

Замысел киноповести «Бегство мистера Мак-Кинли» возник у Л. Леонова во второй половине 1959 года. С 16 февраля по 19 марта 1960 года писатель совершает поездку в США, давшую ему новый материал для киноповести, написанной летом того же года.

Это и сатирический памфлет, показывающий, как величайшие открытия человеческого ума становятся орудием злодеяния; и социальная трагикомедия с протестующим в центре ее «маленьким человеком»; наконец, это философская повесть-эссе, отвечающая на самые жгучие вопросы, которые поставил перед человечеством наш век.

«Есть ли у человечества будущее?» — так озаглавил в 1961 году свою книгу английский философ Бертран Рассел. Трагедия Хиросимы и Нагасаки возвестила о наступлении новой эры — возможного человеческого финала. Об этой опасности, о недальновидности научного прогресса, оторвавшегося от мира нравственности и гуманизма, не раз говорил в своих публицистических выступлениях Л. Леонов.

«Натерпевшись от страхов, кризисов и войны, люди на земле ложатся спать с надеждой, что за ночь все устроится к лучшему,— писал он в новогоднем поздравлении 31 декабря 1963 года. — И верно, когда-нибудь завтра решительно все станет по-новому. Возможно, будущие историки назовут двадцатое столетие эпохой генеральной линьки человечества. В таком случае время наше, вулканическая сердцевина века, и в особенности переживаемое нами десятилетие, представляется мне самым главным и смелым переходом по довольно малознакомой местности. Решение основной проблемы современности со всеми вытекающими последствиями целиком поэтому зависит от нашего поведения сегодня. И чтобы не тужить потом, не следует сопротивляться наступающей новизне, ни равным образом шалить с неизвестностью. Ибо, представляется мне, на сегодняшнем повороте истории мало одного оптимизма и удальства, как, наверное, недостаточно и реформаторского вдохновения. Крайне желательно даже высочайшие веления ума поверять

прозрением большого сердца» (статья «Союз ума и сердца»— см. т. 10 наст. Собр. соч.).

Средствами фантастики и гротеска — при резко документальной реалистичности бытовых деталей — Л. Леонов рисует массовый психоз, охвативший жителей могучей державы, готовящейся к термоядерному самоубийству. Для этого изобретается некий «коллоидальный газ», который позволяет погружать человека, так сказать, в состояние сосредоточенного бесчувствия. Эвакуация человечества из современности становится, однако, индустрией спасения богачей, стремящихся проснуться п о с л е неизбежной, по их логике, всемирной катастрофы. Художник призывает науку не уклоняться в сторону от главной нынешней задачи — предотвращения войны. И вот ландшафт того будущего, куда приглашает человечество изобретатель: «...вокруг простиралась безветренная и ровная, глазу зацепиться не за что, н е м ы с л и м а я сегодня пустыня в багровых сумерках, на исходе дня. Кроме раскиданных по местности выпуклых дисков непонятного назначения, ничего примечательного не виднелось кругом...» (Л. Л е о н о в. Последняя прогулка.— Журн. «Москва», 1979, № 4, с. 136). Но ведь этот фрагмент из неоконченного романа, где герои совершают путешествие в в о з м о ж н о е отдаленнейшее будущее, корреспондирует кошмарному видению, которое открылось Мак-Кинли, после его мнимого бегства из современности в рай мистера Боулдера: «Если не считать множества странных, разбросанных по скату канализационного типа сферических крышек, которые, видимо, и есть крыши нового, целиком подземного теперь города, да разве еще обугленного дерева впереди, с мольбой воздевающего к небу свои черные головешки, во всем пейзаже ни черта больше не имеется вплоть до самого горизонта».

Смысл сценария заключается в том, что только абсолютно неотложной борьбой за мир и здравый смысл можно избавить человечество от самоистребления. Или, как сказал Леонов когда-то, «сбежать от современности можно только в могилу».

Стр. 231. *Вельзевул* — в Новом завете Библии имя главы демонов.

Олег Михайлов

СОДЕРЖАНИЕ

ВЗЯТИЕ ВЕЛИКОШУМСКА. *Повесть* 7
EVGENIA IVANOVNA. *Повесть* 127
БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-КИНЛИ. *Киноповесть* 199
Примечания 309

Леонов Л. М.

Л47 Собрание сочинений. В 10-ти т. Т. 8. Повести/ Примеч. О. Михайлова; Худож. М. Шлосберг. — М.: Худож. лит., 1983. — 319 с., ил.

В восьмой том вошли повесть «Взятие Великошумска» — об освобождении от немецко-фашистских захватчиков танковым корпусом небольшого украинского местечка; шедевр леоновской прозы — повесть «Evgenia Ivanovna» — о трагедии хорошего человека, силою обстоятельств оказавшегося за границей, искавшего пути возвращения на родину и не сумевшего его найти, и сатирический памфлет «Бегство мистера Мак-Кинли», показывающий, как величайшие открытия человеческого ума становятся источником зла.

Л $\frac{4702010200\text{-}372}{028(01)\text{-}83}$ подписное

ББК 84Р7
Р2

ЛЕОНИД МАКСИМОВИЧ
ЛЕОНОВ

Собрание сочинений
в десяти томах

ТОМ ВОСЬМОЙ

Редактор О. Афанасьева

Художественный редактор Е. Ененко

Технический редактор Л. Ковнацкая

Корректоры
Г. Ганапольская, Б. Тумян

ИБ № 3036

Сдано в набор 09.02.83. Подписано в печать 21.09.83. Формат 60×84 1/16. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 18,66. Усл. кр.-отт. 19,13. Уч.-изд. л. 20,3. Тираж 200 000 экз. Изд. № III-998. Заказ № 823. Цена 1 р. 60 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15



